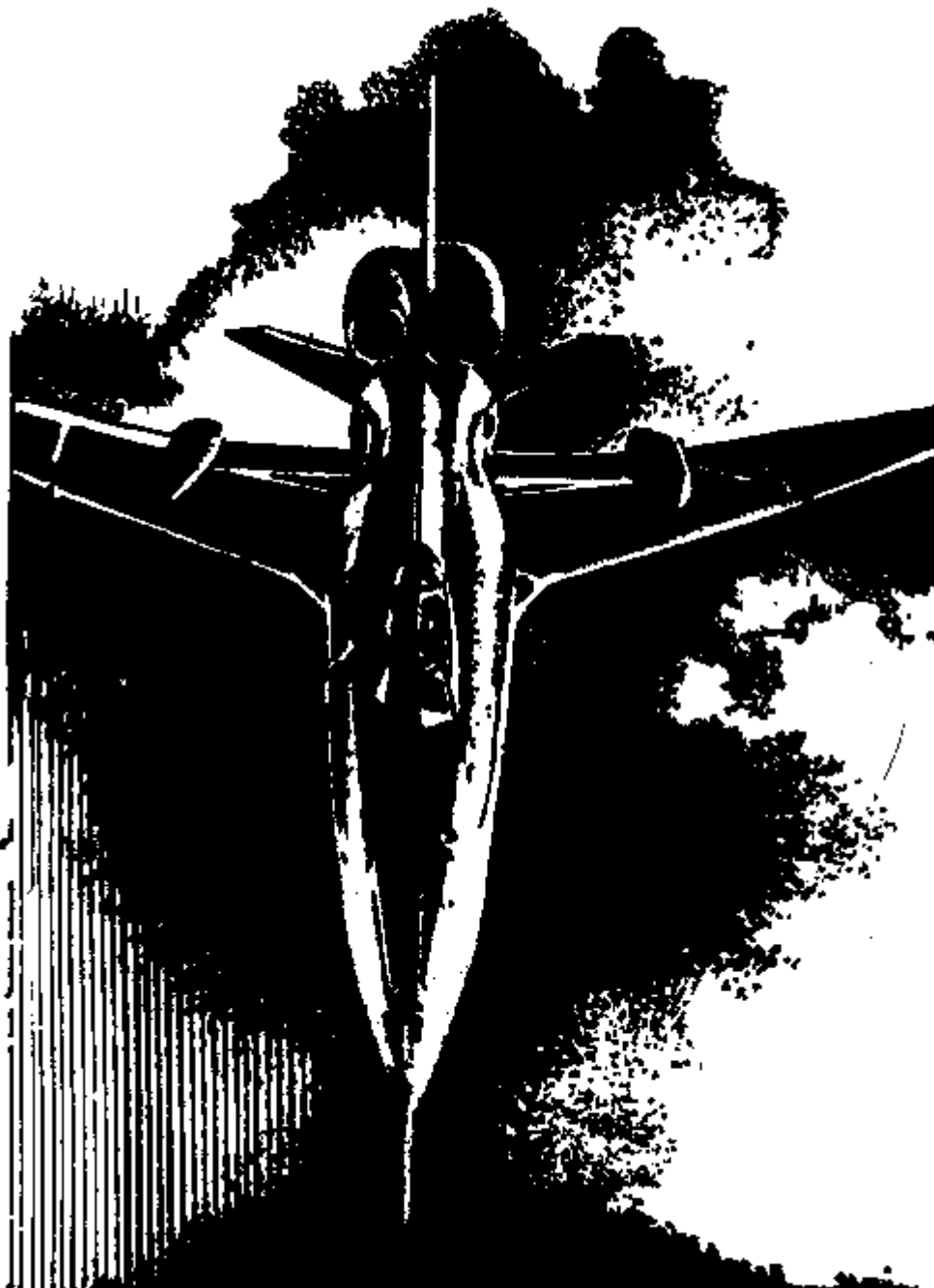


**Александр Бахвалов**  
**Зона испытаний**

*Нежность к ревущему зверю – 2*

*OCR: DOK*  
*«Молодая гвардия, No1, 2»: Молодая гвардия; Москва; 1973*

**Александр Бахвалов**  
**Зона испытаний**



*От жизни человечества, от веков, поколений останется на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все алое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа; его нет, не видно. А что есть? Лучшие страницы лучших книг, предания о чести, О совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы...*

**И. А. БУНИН**

## 1

В Лубаносове поезд остановился на три минуты. Этого едва хватило Долотову, чтобы отыскать вагон, а тут еще человек не дает пройти: встал перед ступеньками и, глядя вверх, не очень трезво обещает проводнику:

– Я до вас доберусь!

– Может, лестницу подать?

– Я и без лестницы!..

– Ишь ты, альпинист... А ну посторонись, дай пройти пассажиру!

И вот после метельной темноты и неразберихи – безлюдный коридор вагона, слабый свет и застарелый запах табака. Почти все купе раскрыты, на глаза то и дело попадаются свернутые за ненадобностью полосатые матрацы. Долотов решил уже, что и в том купе, где его место, тоже никого нет, но там оказалась девушка, сидевшая у столика, в накинутом на плечи пальто с меховым воротником, а поверх него – светлая коса, перехваченная у затылка черной лентой. Когда он вошел, нерасчетливо сильно дернув дверь, с грохотом скользящую в стену, девушка вскинула глаза на Долотова и тут же отвернулась, едва шевельнув губами в ответ на его «извините», и глядела теперь не в книгу, которую читала, а в темное окно.

«Черт, кажется, напугал...» – подумал Долотов, досадуя на себя. Он снял пальто и шапку, положил на полку чемодан и заторопился в ресторан, чтобы избавить пассажирку от своего присутствия до той поры, пока она не заснет.

В ресторане было жарко, оттого и окна толсто заиндевели. Пассажиры занимали не более половины мест и настроились, видимо, на долгое сидение. Так уж водится, в поездах только тем и занимаются, что спят, едят или говорят, а все подолгу, сверх всякой меры.

Долотов присел за свободный стол и оглядел соседей. За столом справа сидели две милые старушки, уступчиво делившие пополам порцию винегрета, а впереди устроилась пожилая большелицая женщина. На руках у нее копошилась крохотная белая болонка, и, когда кто-нибудь вставал или проходил мимо, собачка принималась коротко, злобно взлаивать: «Вэк! Вэк! Вэк!..»

Долотов заказал белого массандровского вина, и вино оказалось очень хорошее – с тонким, не вдруг дающимся, как бы притаившимся ароматом.

«Толстая коса на спине и бант... Светло-русые волосы...» Долотов мысленно перебирал знакомых и случайно виденных девушек, но ни одна из них ничем не напоминала пассажирку. «А может, просто по-старинному красиво все это: и коса и бант, я давно не видел, и в этом все дело?»

Кто-то, ранее сидевший на его месте, отогрел пальцами круглый глазок в ледовом панцире окна, через который можно было разглядеть плотную массу несущегося мимо снега.

«Из-за этой погоды Лютрову, наверное, так и не пришлось слетать за меня», – подумал Долотов.

И, вспомнив о Лютрове, о том, что благодаря ему он смог получить отпуск, Долотов, не привыкший чувствовать себя обязанным, испытывал теперь светлое, ничем не омраченное расположение к Лютрову. Впрочем, не только к нему. Возвращаясь в Энск после двухдневного пребывания в Лубаносове (где он некогда жил в приемных сыновьях у старой учительницы и куда приезжал каждый год в день ее смерти), Долотов находился в том радостном примирении со своей совестью, которое у людей его склада является главной душевной потребностью, и

потому все, что он думал о Лютрове, о погоде, о девушке из купе, о вине, которое пил, – все имело отпечаток этого его душевного состояния.

Впереди справа, спиной к Долотову, устроилась женщина в пушистом светло-оранжевом свитере, и по нетерпению, с каким она двигала плечами, нетрудно было догадаться, что разговор с лысым соседом очень занимает ее. Это подтверждалось еще и тем, что время от времени она коротко выговаривала беспокойно стоявшей у стола толстой девочке, румяной и капризной, в очень коротком платьице, грешно обнажавшем недетски полный задик в тесных штанишках. Состояние женщины, которой девочка мешала разговаривать, на минуту увлекло Долотова, и он не сразу заметал на себе взгляд ее соседа. И только когда тот поднялся, пристально глядя в его сторону, Долотов узнал Анатолия Одинцова, однополчанина времен службы на востоке. На сильно увеличенном лысиной лице приятеля не было уверенности, что человек, которого он видит, знаком ему.

– Прошу прощения, вы?.. – начал Одинцов, наклоняясь к столику, во Долотов перебил его:  
– Я. Садись.

Одинцов долго тряс обеими руками руку Долотова и восклицал:

– Надо же! Ночь, поезд! Скука второй день! И вдруг – ты!.. Как воздаяние за невзгоды. Рад, Боря, диким манером рад!

На нем был светло-коричневый костюм какого-то особенного покроя и того тусклого оттенка с налетом дымки, какой придает цвету замша. Между лацканами пиджака проглядывала полоска золотисто-зеленого галстука, несильно стягивающего воротничок белой рубашки. Весь он был основателен, спортивно тяжел, даже монументален, но какое-то, то ли виноватое, то ли приниженное выражение на его лице подсказывало, что Одинцов готов признать Долотова если не старшим, то более значительным, что ли.

Они были не настолько близкими друзьями, чтобы при любых других обстоятельствах потратить па встречу более десятка слов и двух рукопожатий, и если теперь обрадовались, то прежде всего неожиданности события, возможности не худшим образом скоротать нудное поездное время.

В училище Одинцова считали поэтом – по праздникам он писал стихи в стенгазету и легко, как разговаривал, читал в подлиннике «Слово о полку Игореве». Но в летных науках был нерадив, да и на службе с ним то и дело случались ляпы, именуемые «предпосылками к аварии»: то ему чудился дым в кабине, и он возвращался с задания и суетливо садился с большим перелетом, то врач обнаруживал у него повышенное давление, заторможенную реакцию или еще какое-нибудь «отклонение». И Одинцов не стеснялся говорить об этом. В его впечатлительной, капризной, легко возбудимой натуре было что-то женское, какая-то кокетливая уверенность, что все его слабости извинительны. Еще и теперь в нем проглядывало что-то от прежнего Одинцова, несмотря на возраст. Может быть, неприкрытое любопытство, живо отображавшееся на его лице; острое желание узнать, каков теперь Долотов, сравнить его с собой, найти нечто занимательное в этом сравнении, убедиться в значимости и верности или незначимости и неверности своих представлений, взглядов, своего понимания людей, жизни, наконец.

Заговорили о службе, и Одинцов стал рассказывать о тех событиях, которые произошли уже после того, как Долотов был откомандирован в школу летчиков-испытателей; о катастрофе, в которой погиб командир части дважды Герой генерал Духов, завещавший похоронить его в братской могиле на Украине, где погребены его фронтовые друзья.

– И не велел ставить никакого памятника... Да ты лучше меня знаешь! – заключил Одинцов, имея в виду, что дочь генерала – жена Долотова.

Долотов кивнул. Он узнал о гибели Духова еще до своей женитьбы, незадолго до окончания школы и направления на работу в Энск, где жила семья генерала.

Инструктором Одинцова в училище был Андрей Трефилов, тот самый, с кем Долотов отказался летать на «семерке». И почему-то именно Трефилов пришел им на память теперь. Долотов напомнил Одинцову о его эпитаграммах на бывшего инструктора.

– Ты не знаешь, как он расплачивался со мной! – весело отозвался Одинцов. – Во время полета на спарке высунет свой конец переговорной трубки навстречу потоку, а воздух мне в уши. Шум, свист, больно... Подонок. Он где-то у вас работает?..

– Отработался. Ушел на серийный завод. Но и там набурбил. Выгнали, кажется... Кто это? – спросил Долотов, обеспокоенный одиночеством недавней собеседницы Одинцова.

– Что?.. А, – Одинцов неопределенно взмахнул рукой. – Соседку встретил, живем в одном доме.

– Женат?

– Обхожусь. – Он сощурил глаза и ернически прибавил: – Чтобы женщина волновала, связь с ней должна быть немного преступлением!

– Служишь?

– Нет.

– Летаешь?

– Бросил, как и жену. Даже по весьма схожим причинам.

– А если серьезно?

Одинцов опять сощурил глаза, и Долотов решил, что это новая привычка у него.

– С тобой иначе нельзя, я же помню тебя. Ты все принимал всерьез, желаемое за сущее! А меня всегда воротило от слишком озабоченных физиономий.

– Проще не можешь?

– О себе говорить просто никто не может.

– Отчего бросил летать?

– Увлекся другой материей, – ответил Одинцов с такой улыбкой, когда не поймешь, шутит человек или нет. – Вот и подался на гражданку в шестьдесят первом. А то бы выгнали.

– За что? Фальшивые деньги?

– Не совсем! – Одинцов принял шутку и не хотел оставаться в долгу: – Бог истратил на предмет моего увлечения одно ребро полноценного материала! И обернулось ребро женщиной. – певуче добавил он, окидывая взглядом проходящую мимо даму с девочкой.

В глаза бросались негроидные черты лица женщины: губы были пухлы, ноздри приплюснутого носа широки, вся она была мила какой-то опрятной прелестью.

– Я не прощаюсь с вами! – сказал Одинцов, и она с выражением вынужденного согласия – что-де с вами поделаешь! – едва приметно кивнула, легонько подталкивая в спину заглядевшуюся на мужчин девочку, напоминая ей:

– Идем, ты же спать хотела.

Мечтательно глядя в сторону закрывшейся за женщиной двери, Одинцов раздумчиво произнес:

– Ей и самой неведомо, что являет она глазам.

– Тебе ведомо?

Теперь Одинцов глядел с легкой насмешливостью, как если бы они коснулись той области, где кончается превосходство Долотова.

Одинцов закурил и, глядя па догорающую спичку, устало улыбнулся, затем посмотрел на Долотова оценивающе, будто решал: удостоить ли откровения?

– Ты умный парень, Боря. И великий летчик. Это не похвала и не открытие. С тобой нельзя было равняться. Комэск так и говорил: я в сравнении с Долотовым – барбос рядом с гончей. Но... – И опять на его лице тенью промелькнуло выражение нерешительности, замаскированное затем нарочитым оживлением. – Но, как и многие из нашего брата, ты лишен таланта видеть женщину. – Одинцов улыбнулся, и нельзя было понять – чему: бесталанности Долотова или собственным словам. – Не ту женщину, что показывают на обложках журналов, на экранах кино или в залах музеев. Все изваяния – ложь и глупость! Глядеть – не владеть, как говорят на Руси.

– Сильна как смерть любовь, сказал царь Соломон! – усмехнулся Долотов.

– Не верь Соломону. Чепуха. Смерть – примитив... Госка, боль и неведение. И приходит всего один раз. Скучно. Зато женщина неизменно возвращается... – Протянув руку, Одинцов с осторожным изяществом надломил сигаретный пепел на краю пепельницы.

А Долотов рассматривал крупную голову Одинцова, слушал гладко произносимые фразы с ударением на незначущих словах – манера умничанья – и все более убеждался, что внутри этого парня все распалось, рассыпалось, а он и не заметил разрушений и потому бодр, рассудителен, бьет на внешнее впечатление и даже вот сожалеет, что Долотов не постиг

каких-то бабьих загадок. «Все не так, – думал Долотов. – Не из-за этих художеств ты бросил летать... Просто открыл однажды, что куда спокойнее постоянно держать на поводке свою теплую жизнь и быть уверенным, что каждый следующий день твой, и чем больше их будет, тем лучше. Все они позарез тебе нужны и хорошо прилажены к твоему гладкому телу, такому чуткому на радости. В этом все дело...»

– Небось думаешь, что у меня не жизнь, а сплошные заблуждения? – более утвердительно, чем вопросительно произнес Одинцов, невольно, может быть, давая понять, что он не переоценивает способностей Долотова к сложным выводам.

Долотов пожал плечами:

– Каждый по-своему с ума сходит.

– Думаешь. – Одинцов прикурил погасшую сигарету. – Может быть, ты и прав. Хотя... Видел – в музее авиации висят крылья? Человек делал их шесть лет, скрупулезно копировал журавлиные, хотел взлететь, как это делают птицы. Ювелирная работа, шедевр, но – заблуждение! А разве оно не великолепно?.. Кто знает, что есть жизнь истинная – пути праведные или потемки заблуждений? Человек себялюбив, Боря, его писаная история вся состоит из ряда постижений, открытий, находок. А разве это так? Подлинная история всех вместе и каждого в отдельности на семь осьмих состоит из неудач, провалов, глупостей, порой изумительных.

– Это утешает? – усмехнулся Долотов.

Одинцов кивнул, но не в ответ на вопрос Долотова, а чему-то, о чем подумал, пока, затянувшись в последний раз, гасил сигарету.

– Я же говорил, ты человек серьезный. Из таких, по словам поэта, можно делать гвозди. Я, увы, непригоден для скобяного товара.

Он помолчал, как человек, который высказался не лучшим образом, но не потерявший надежды исправить дело.

– Раньше я был убежден: ты, другой, третий можете быть, а можете и не быть особенными, это случайность. Но я – я! – не могу не быть особенным! Мне все доступно! И все потому, что я – это я!.. Но когда я возвращаюсь к прошлому, чтобы понять его, то, оказывается, мне было вполне достаточно одной уверенности, что я – могу. А убеждать кого-то в своих способностях... Зачем? Долго и скучно. И теперь я не только не удивляюсь, но равнодушен ко всякой последней мысли, воплощенной в книгу, в машину, в кинодраму, потому что за всем этим вижу попытки скучных людей найти себе место на тумбе номер один, потешиться своей особенностью.

– Так уж все и метят на эту тумбу?

– А куда еще?

...Просидели до закрытия ресторана. Выходя, Одинцов сунул руку во внутренний карман пиджака и подал Долотову квадратик жесткой белой бумаги, держа его между указательным и средним пальцами.

– При нужде звони...

На бумажке было каллиграфически прописано: «Одинцов Анатолий Александрович, корреспондент еженедельника «Транспортная авиация»; шрифтом помельче указывался адрес и телефон.

– Ночью, а вернее – утром мне сходить в Юргороде. Начальство прослышало о не состоявшейся там планерной школе. Так что до Энска не увидимся.

Вагон, в котором ехал Одинцов, был рядом с рестораном. В приоткрытую дверь купе Долотов увидел давешнюю женщину. Она сидела в ногах спящей девочка и рассматривала журнал с картинками мод, уже переодетая в халат. Блекло-розовый, точно выгоревший на солнце он делал ее по-летнему нарядной, какой-то уютной. Из купе исходил запах духов, пахнувших нежно и молодо.

Добравшись до своего вагона, Долотов медленно, стараясь не лязгнуть дверью, открыл ее и вошел в купе.

Все так же светила лампа па толстой ножке, но девушка уже не читала книгу, а лежала лицом к стене, как была – одетой, прикрыв ноги пальто. Судя по тому, как расслабленно покачивалось ее тело, она спала.

Долотов снял пиджак и тоже прилег.

Глухими дублетами постреливали колеса, поколыхивался вагон, подрагивал абажур на лампе. Иногда налетал шум встречного поезда, ошалело громыхающего всем своим железом, и снова успокоительно стучали колеса.

«Он все-таки глуп, – думал Долотов. – Говорит много чепухи. Глуп той последней глупостью, что подчинила себе накопленную жизнью, приспособила к себе все чувства, и теперь навсегда».

Долотову не спалось. Он вставал, выходил в коридор, научившись бесшумно открывать и закрывать дверь, подолгу стоял там, курил, глядел в окно, за которым не переставая метался снег.

«О себе просто говорить никто не умеет», – пришли на память слова Одинцова. – Вот он и выбрал, как позатейливее сказать правду. И в затейливости этой скрыто желание хоть как-нибудь приглушить беспокойное подозрение, что жизнь не удалась. Но ему не откажешь в последовательности: не понравилась работа – взялся за другую, по сердцу; разлюбил жену – и ушел от нее, чтобы жить в согласии с самим собой. Странно, однако: прожить в согласии с самим собой и остаться недовольным прожитым...»

Поезд остановился возле маленькой станции, заснеженной и безлюдной. Мимо вагона прошел всего один человек – озабоченный железнодорожник с белыми усами, то ли седыми, то ли запорошенными снегом. Затем станция начала уплывать, один за другим приближались фонари, ощупывали окна и удалялись, и свет их был плотно забит мотыльковой тучей снежинок.

Полязгав на стрелках, поезд набирал путевую скорость. По коридору деликатно, плечом вперед, прошагал проводник, от которого пахло морозным духом...

«Запах снега!» – Долотов вспомнил наконец все то, что не давало ему покоя с той минуты, как он увидел девушку, ее русую косу, ее бант на затылке.

Хлопотливый перестук вагонных колес казался теперь по-древнему милым, а в душе наступило время сосредоточенного покоя, как в опустевшем на ночь деревенском храме, где тишина благостно смешана с лунной полутьмой.

...Тогда был полдень, но так же густо сыпал снег, и, когда твоя спутница скатывалась с холма, тебя томило боязливое чувство, хотя ей всего лишь на минуту удавалось скрыться за снежным занавесом, потеряться в ста шагах от тебя в своем белом свитере. Ты быстро нагонял ее.

И слышал смешливое дыхание, видел русую косу, спускавшуюся из-под вязаной шапочки в ложбинку между выступающими под свитером лопатками, следил, как скользят, чередуясь, ее золотистые лыжи...

Вы с ней добирались к даче, где она жила летом, – три километра от пригородной платформы. Ей было шестнадцать лет, тебе – на год больше, ты последнюю зиму жил в спецколе.

Шел снег, легко и неслышно скользили лыжи, неслышно лежала холмистая земля, неслышно темнела островерхая еловая роща.

Тебе почему-то не хотелось, чтобы перестал идти снег, чтобы окончился путь, а она торопилась, торопилась!..

Иногда оборачивалась – только для того, чтобы посмотреть на тебя, и, опираясь на тонкие палки, улыбалась, забавно морщась от щекочущих снежинок.

И снова убегала вперед, немного скованно передвигая ногами, как все девушки, если они не спортсменки. Ты шел, не отставая, подстегиваемый предчувствием чего-то необыкновенного, что ожидало тебя там, на даче, в конце пути.

Когда оставалось совсем немного, у ее лыжи на левой ноге ослабло крепление. Ты укоротил растянувшийся сыромятный ремень и как следует закрепил ботинок. Щиколотки у нее были тонкими, нога покорно слабела, когда ты прикасался к ней. Но как только крепление было налажено, спутница твоя погрустнела. Что-то произошло с ней, ты не видел ее лица до конца пути. Зато там, на даче, все стало по-иному. Ты отряхнул лыжи – ее старательнее, чем свои, – и с каким-то тайным умыслом поставил их вплотную друг к другу. После лыж легко ходилось. Вы излазили все сугробы вокруг дачи, заглядывая в окна – ключа у вас не было, – и,

прижимаясь лицом к стеклу, она с восторженным удивлением показывала тебе старое кресло, большую синюю вазу с отломанным верхом, ветхую кушетку, на которой спала летом, плюшевого мишку, сидевшего, свесив ноги, на резном буфете, и все, что только попадалось ей на глаза.

Снег пошел слабее, дрогнул ветер. Прогнувшиеся ветви сосен высвобождались от снежной тяжести и, будто вздыхая, роняли сыпучие вороха, иногда – на ваши спины, но от этого становилось лишь веселее. Вы истоптали весь участок, пока добрались до большого сарая. Он был не-заперт, пуст и без окон, а на пол сквозь щели в стенах надуло горбатые лучики снега.

Тут было тихо и так укромно, что вы замолчали. Она прислонилась спиной к стене и принялась разглядывать ботинки, в которые набился снег. И ты опять, словно это было поручено тебе и само собой разумелось, расшнуровал ей ботинки, снял, вытряхнул снег, снова надел, затянув веревочки плотно, но не туго. Ступни ее ног в белых шерстяных носках были сухими и теплыми, и, прикасаясь к твоим ладоням, она шевелила пальцами... Когда ты поднялся, она спросила, не холодно ли тебе, и добавила, что ей жарко, хоть раздевайся. – И сразу простудишься, – сказал ты, еще полный заботливости после хлопот с ботинками.

Она отрицательно покачала головой, а ты вдруг заподозрил что-то в ее побледневшем лице, в пересиливающей эту бледность чуть надменной улыбке, в кругло раскрытых влажных глазах. Потом эта улыбка дрогнула, сменилась выражением нежности и любопытства и отозвалась в тебе предчувствием сладким и тревожным.

– Хочешь поцеловать меня?

Ты кивнул, замороженный ее липой, совершенно уверенный, что твое сердце вот-вот разорвется.

– Ну?.. Что же ты?..

И тут дохнуло ветром, в раскрытую дверь плеснуло белым вихрем, и твое первое прикосновение к девичьим губам пахло снегом. Потом вы зачарованно глядели друг на друга, а может, это ты ее в силах был отвести свои глаза от ее взгляда.

Льжню вашу замело. Обратно вы шли рядом и молчали, потому что каждый мысленно возвращался на дачу. Иногда она останавливалась, говорила «погоди» и то поправляла на тебе шапку, то укладывала поудобнее шарф, делаясь в эти минуты превосходительно-строгой, а ты – послушным.

Забравшись в электричку, вы сели рядом, а не напротив друг друга, как утром, и она прижалась щекой к твоему плечу.

...Сыплет снег. Сыплет нескончаемо, будто рушится и никак не иссякнет само ночное небо. Мягко стучат колеса.

Почему столько лет тебя не покидает воспоминание об этой девочке с бантиком? Не потому ли, что твоей женой стала совсем другая девушка? А может, все дело в том, что ты мечтал о дочери – маленькой женщине, которая будет любить тебя всю жизнь?

Когда во время полета на спарке Долотов спросил у Лютрова, любит ли он детей, то сам удивился вопросу, потому что впервые ни с того ни с сего заговорил с посторонним человеком о своей семейной жизни.

Сразу же после свадьбы теща сказала, что врачи настоятельно рекомендовали ее дочери повременить с детьми. «У нее поздно формируется, знаете ли, женское. Годика два, а там с богом...» Но прошло шесть лет, а Лия и слышать не хотела о детях. Она дорожила своим здоровьем, как ее мама коврами, мехами, хрусталем, нужными знакомствами, тетками, поставляющими молоко. И зятем, у которого зарплата министра... И при этом ухитрялась делать вид, что ее дочь для него – награда не по чину.

Черт с ней, с тещей. Надеяться, что в один прекрасный день она заподозрит в людях какое-то существенное отличие от себя самой, – все равно, что верить в переселение душ. Но жена...

В обиходе свойство краснеть – примета человека скромного, стеснительного. Такой жена Долотова представлялась тем из друзей, которым довелось познакомиться с ней. Она умела смущаться, как школьница, охотно отзывалась улыбкой на шутку, но – в разговоре с людьми посторонними. С ним же она вела себя так, как если бы знала что-то дурное о нем. У нее был

вид человека, обремененного супружеской жизнью, за которую приходится платить больше, чем она того стоит.

«Но... шесть лет рядом с одной женщиной – это для таких, как ты, больше, чем привычка. Исподволь подчиняешься чему-то... Сколько раз ты вот так же изучал свое семейное неблагополучие, а что менялось? Ты разбинтовывал больное место в душе и еще раз убеждался, что болячка все там же. Ты приспособился к ней. Или тебя приспособили, не все ли равно? Приручение состоялось.

Нужно что-то делать, не то намертво вращаешь в эту полужизнь, потеряешь себя окончательно, станешь уродом или хватишь сожительницу стулом по голове – в припадке ложнонаправленного аффекта...»

...Когда поезд подошел к Энску и нужно было покинуть вагон, Долотов почувствовал вялость и безразличие – состояние человека, которому некуда идти. И ему не только не было удивительно, не казалось странным, но даже в голову не приходило, что, добираясь до Лубаносова, он хорошо знал, зачем и к кому едет, и как это важно и нужно ему, а вернувшись к живым близким людям, не испытывает ни малейшего желания видеть их.

Из вагона он выбрался последним.

Все, о чем он думал в поезде, что перевероршил в душе, теперь осело, улеглось, заслонило тем, что нужно было выходить, шагать вместе с другими пассажирами по перрону; все отступило, представлялось едва различимым, как в тумане, когда очертания предметов расплывчаты, расстояния до них неопределимы, да и сама вещественность видимого сомнительна. Реальными же сделались вещи обычные, о которых не принято размышлять, среди которых просто живут. Реальна была стужа на дворе, суматошно блудившая по городу метель, нервная суета большого вокзала, громкий голос женщины-диктора, спины и затылки пассажиров, носильщики с тележками («Какие же они носильщики, если ничего не носят?..»), сдержанное клокотание нутра тепловоза, его дизельный дух – смешанный запах горячего масла и солярки.

А вот и выход на привокзальную площадь, в город.

С этой минуты Долотов точно знал, когда ляжет спать, когда встанет, начнет собираться на работу, когда вернется. Жизнь возвращалась на круги своя. Этому не в силах помешать ни встреча с девушкой, напомнившей ему юношескую любовь, ни разговор со старым приятелем.

На привокзальной площади металась поземка, И без того сумеречный день потускнел. Прошагав немного вдоль тротуара, Долотов остановился у серой стены рядом с двумя деревенскими охотниками, стоявшими с ружьями в зеленых чехлах, с большими рюкзаками за спинами. В руке старшего, с рыжей щетиной на подбородке и разбойничьим бельмом на глазу, была плетеная корзинка, а в ней – до шеи укутанный в тряпье крохотный щенок с большими ушами. Охотники старательно оглядывали прохожих, видимо, пытаясь высмотреть нужного человека.

– Едем, Минька, ну его к лешему! – досадливо сказал старший. – Да и кутенок жрать хочет.

Сделавшись вдруг по-доброму смешным, он ласково накрыл щенка большой рукой, а когда убрал ее, кутенок вновь поспешно уложил мордашку на край корзины и уставился на Долотова, будто спрашивал: «А с тобой хорошо жить?»

Долотов подмигнул щенку и пошагал вдоль вокзальной стены, по широкому тротуару, за которым проносились такси.

В городе быстро темнело, но шум не стихал, и потому казалось, что людям вокруг неуютно. Завернув за угол, Долотов увидел несколько стоящих в ряд голубых телефонных будок, и, пока шел мимо, заметил прислонившегося к одной из них парня в распахнутой куртке, с нагловатым красивым лицом. На шее яркий галстук, в руке сигарета; в выставленной вперед ноге, во всей позе – лень, превосходство, пресыщение.

А перед ним тоненькая девчушка, вскинула на него свои глаза – большие, ярко-серые, обеспокоенные. Личико чистое, почти детское, носик той изысканной малой остроты, каким он бывает только у девочек, но выражение отчаяния на лице уже не детское.

– Я стала другая? – услышал Долотов сквозь шум шагов и шелест автомобильных колес.

Выражение обиды на ее лице, малый рост, взгляд снизу вверх, какая-то отчаянная



искренность в немигающих серых глазах – все это напомнило Долотову Витюльку Извольского.

«Позвонюк, – улыбнулся про себя Долотов. – Зайду-ка я к нему, чаю заварит... У них в доме чай не питье, а действие, отец-то ботаник...»

Долотов отыскал в записной книжке телефон Извольского и втиснулся в одну из голубых будок, где тошнотно пахло каким-то гнилостным запахом. Сунув семишник в щель автомата, Долотов снял трубку, да, видно, рано: блестящий ящик кашлянул нутром и отпрыгнул монету. Долотов сунул ее еще раз. К телефону в квартире Извольских долго не подходили, но Долотову некуда было торопиться, и он терпеливо ждал, пытаясь определить, чем пахнет в телефонной будке.

Наконец в трубке отозвались.

– Виктор Захарович? Привет. Долотов говорит.

– Борис Михайлович? Ты откуда?

Пока Долотов собирался объяснить, откуда он и почему звонит, в трубке послышался отдалившийся голос Извольского: «Ребята, Долотов...»

– Кто там у тебя? – спросил Долотов, догадавшись наконец, что в будке пахнет испорченными яблоками. – Из наших кто-нибудь?

– Да...

– Чего собрались?

– Нелады у нас, Борис Михайлович...

Долотов ждал пояснений, но Извольский молчал.

– С матерью что-нибудь?

– Да нет... На базе.

– На базе?

– Да.

– Что случилось?.. Чего ты молчишь?

– Лешка...

– Лютров?

– Да... На твоей машине.

– Ну?.. Да говори ты!..

– Завтра похороны...

Чувствуя в душе пустоту, Долотов медленно повесил трубку и вышел на улицу.

«Куда теперь? Куда я хотел идти?.. «На твоей машине...» Это я его попросил... «Ты не забудешь меня, Боря? – говорила Мария Юрьевна, приемная мать. – У меня больше никого нет и некому оставить память по себе...»

Минуту он стоял на тротуаре, словно не обнаружил рядом кого-то или чего-то. В памяти возникло милое личико девушки, только что стоявшей здесь.

Но девушки не было. Долотов обернулся и некоторое время тупо глядел на телефонную будку, словно хотел удостовериться, что она-то была, есть, а не почудилась ему, как, может быть, и разговор по телефону. Он не в силах был вытравить из сознания существование Лютрова, он знал, что Лютров живет – говорит, улыбается, двигается! Более того, если до этой минуты были какие-то причины беспокоиться о нем, то именно теперь Долотов определенно знал, что тревожиться не о чем... Но это была совсем безумная мысль, и, не понимая, что заставляет его думать так, снова возвращался к словам Извольского и снова тупел от неспособности понять их значение.

Наконец что-то надломилось в душе, сдавало сердце, и он поверил в страшную простоту несчастья.

«И виноват! Я!.. Все знают, что это я попросил Лютрова подменить меня».

Пересекая привокзальную площадь, он едва не угодил под машину.

– Ты, дубина! Глаза есть? – обругал его шофер. – Залил zenки-то!..

Дойдя до угла, Долотов вошел в пивной бар.

Из полуподвального помещения густо несло крепкой смесью запахов пива, табачного дыма и мокнувших окурков. Играло радио. В дыму, под низким сводчатым потолком сидели одетые люди, а между столиками ходила старая женщина с веником и совком в руках, с подвернутым сумой подолом фартука, в котором позвякивали пустые бутылки.

– Не тушуйся, мамаша, прорвемся! – словно глухой, громко сказал ей человек, мимо которого она прошла.

Два круглых столика у стены были свободны. Долотов поставил на пол чемодан и присел, не испытывая никакого желания пить пиво, говорить, слушать, глядеть... Нечеловеческая усталость давила плечи, так бы и просидел до утра...

К столику подошли двое парней. Постарше, в дубленой куртке, от которой разлило овчиной, поставил на стол тарелки с соломкой и две кружки, с которых медленно стекала пена. Минуту приятели держали кружки перед собой, что-то коротко говорили, что-то такое, с чем каждый незамедлительно соглашался. Затем, одновременно решив, что вести разговор с поднятыми кружками неловко, они сделали несколько глотков, закурили и, не обращая внимания на Долотова, и вновь начали прерванный, видимо, на улице, диспут.

И сразу же на лице младшего появилось выражение крайней досады, какое появляется у людей остро чувствующих, нервных, недовольных изложением мысли или обеспокоенных еще не высказанным.

Уловив первые несколько слов разговора, Долотов тут же перестал понимать, о чем они говорят, хотя и продолжал зачем-то смотреть на парней, переводить глаза с одного лица на другое, словно был третьим участником беседы, или старался убедить кого-то, что это так, а на самом деле он был и не здесь вовсе, он все еще ехал куда-то, слышал шум поезда, но уже не знал, не понимал, какой смысл в этом движении... Ведь только что он проехал через всю свою жизнь, это было изматывающее путешествие, и вот без всякого перерыва, без передышки новая, еще более трудная дорога, для которой у него нет сил...

– Жизнь, старик, скупа на счастливые неожиданности, а между тем все мы от рождения почитаем себя счастливыми номерами, – говорил младший. – Выиграть, конечно, можно, но это исключение, а не правило. Выигрывает лотерея – вот это правило.

– Брось, – спокойно произнес старший. – Все это разлад в душе в мозгоблудие. Не то время. Это раньше жизнь делилась на две части: на непонимание и воспоминания, а ноне все продумано досконально. Ноне все бегут на корпус впереди самих себя и думают о ботинках, а не о моральных проблемах.

– Значит, проста? – Сам того не замечая, Долотов все больше поддавался иллюзии участия в их беседе, выискивая предлог, чтобы рассказать, какую ужасную весть он только что услышал, поделиться несчастьем, увидеть в их лицах отражение хоть малой части того знания, которое так невыносимо ему.

– Говорите, жизнь проста?

– Аки мык коровий, – немедленно подтвердил старший, не давая себе труда повернуть голову в сторону Долотова.

Они снова заговорили о своем, а Долотов поднялся и пошагал к выходу.

«В чем ее простота, если люди проживают ее в неустроенности, недовольстве и только тем и занимаются, что смиряются и привыкают ко всему на свете: к шуму и тишине, вещам в запахах, к толпе и одиночеству... к равнодушию близких, с которыми живут. Одни устраиваются лучше, другие хуже, третьи совсем ни к черту. Вот и вся разница. А спроси, окажется, все чем-нибудь недовольны...

А может, так и следует: жить, как живется, пить пиво и не думать о том последнем крике, после которого тебя не станет?»

Выла ночь, были прохожие, были, куда ни глянь, желтые прямоугольники окон, скучно повторявшие друг друга, были яркие витрины магазинов. Время от времени ими ненадолго высвечивались лица прохожих, казавшиеся тогда гипсовыми, а тени на них резкими и черными. Долотов едва различал приметы улиц, по которым нужно было идти, чтобы добраться до дому, хотя и не знал, зачем туда идет, не чувствовал необходимости в этом, как не чувствовал боли в озябших пальцах, которыми сжимал ручку чемодана.

Навстречу шел мужчина, державший за руки двух одинаково закутанных в платки ребятишек, терпеливо пристраиваясь к их маленьким шажкам.

«Тогда на спарке тебе вдруг захотелось рассказать Лютрову, что ты мечтал о дочери, о маленькой женщине, которая будет любить тебя всю жизнь!.. Но так и не сказал ничего. Тебя и на этот раз одолела привычка оставаться независимым, не давать довода для расспросов, права

на участие в твоей жизни. Для тебя это означало уступать. А ты всю жизнь только тем и занимался, что никогда никому не хотел уступать... Теперь ты знаешь, что это и есть навязчивая идея неудачника».

...Дверь открыла теща, Рита Арнольдовна.

– Вытирайте, пожалуйста, ноги, – не глядя на него, сказала она и поспешила в свою комнату, поблескивая голубым платьем-халатом, толстая, суетливая, вечно всем недовольная.

Комната, которую занимали они с женой, была пуста. Из гостиной – большой комнаты напротив – доносились звуки виолончели. Значит, у жены свободный от концерта вечер. Долотов осмотрелся, будто впервые видел хорошо прогретое пространство в двадцать квадратных метров, окруженное коврами, ценно-белыми занавесками, уставленное светлой мебелью... Пахло мастикой для полов.

Прошло несколько минут, Лия не появлялась. Долотов закурил и вышел в коридор, тронул створку дверей, за которыми играла жена.

Лия сидела вполборота к нему, и он хорошо видел аккуратно прибранную голову, белую кожу лица, шеи, пальцев, по вся она показалась ему бесцветной и бескровной, как в однотонном изображении. Играющие виолончелистки не очень изящны, но жена была одета в брюки, и оттого положение ног не бросалось в глаза.

Минуту он смотрел, как она наклоняет голову к раскладному пюпитру, как напряженно держится отстраненный локоть левой руки, видел выставленную чуть вперед и в сторону левую ногу, полную и по-женски округлую. Он смотрел и будто ждал чего-то, вслушиваясь в долгие трогательно-низкие звуки: эта в голос стонущая, почти человеческая нота инструмента всегда трогала его, была понятна, сообщала какую-то надежду. Вот и сейчас ему показалось, что Лия, под чьими руками рождается эта музыка, не может не понять, что происходит с ним, но, когда она обернулась к нему и он увидел ее лицо, Долотов отвел глаза и вернулся в пустую комнату.

«Вижу, что прибыл, – говорил ее взгляд. – Это еще не причина мешать мне играть этюды».

Он только теперь догадался, что это этюды. Музыка не имела мелодии, была бессмысленна. Музыка ни о чем. Они походили друг на друга – она и ее музыка. Когда она перестанет играть, ничего не переменится. Будет тихо. Только и всего.

С каждой минутой Долотову становилось все невыносимее, как человеку, погибающему от удушья, и, заметив стоящий у дверей свой дорожный чемодан, долго смотрел на него, пока не понял, что есть единственное спасение – убраться из этого дома!

«Лютрову нужно было погибнуть, чтобы я решился...»

Ужасно было сознавать, что он так и не подружился по-настоящему с Лютровым. Это казалось большим несчастьем, чем годы, прожитые в этой квартире. И не боль, не жалость к себе, не горе охватили его при этой мысли, а ощущение бедствия, поражения... Смерти Лютрова не было места в душе Долотова, в его понимании вещей.

Он так и не дождался, пока жена закончит этюды. В пять минут собравшись, он уехал к Извольскому, оставляя за спиной урчащие звуки виолончели и шесть лет жизни с женщиной, которая вызывала их, эти бессмысленные для слуха звуки.

## 2

Проснувшись на следующий день после похорон Лютрова, Костя Карауш никак не мог понять, где он, и долго рассматривал освещенную слабым утренним светом небольшую комнату с неудобным диваном, на котором спал; два книжных шкафа из темного полированного дерева, большой письменный стол, вместо бумаг на нем лежало вязанье – какой-то розовый чулок, пришпиленный спицами к клубку ниток. Над диваном, угрожающе наклонившись, висела внушительная копия картины «Девятый вал». К кому он угодил? Ни в одной из знакомых ему квартир не было ни такой обстановки, ни таких высоких потолков, украшенных витиеватой лепниной по углам и в середине, откуда спускались три длинные бронзовые цепочки, поддерживающие люстру. Чувствовалось, что все, что стояло и висело в комнате, появилось здесь давно, давно не двигалось с места, давно по-настоящему никому не нужно, как это бывает в семьях, где родители стары, а дети выросли и разъехались, живут на

свой лад.

Судя по свету за окном, время было не раннее. Превозмогая похмельную ломоту в голове и косясь на Дверь, Костя натянул брюки, рубашку, надел туфли и, стараясь не нарушить тишины квартиры, крадучись и подошел к окну, чтобы по приметам во дворе попытаться определить свое местопребывание.

И что-то там показалось ему знакомым – то ли чугунные фонарные столбы, то ли ажурные перила балконов дома напротив; перила эти были сделаны из кованого железа и представляли собой переплетение фантастических ветвей в стиле модерн начала века.

На дворе было тихое морозное утро. Толстая дворничиха скребла примятый ногами прохожих снег на дорожках. Этот скребущий звук напомнил ему сначала о похоронах, потом о Боровском...

Сунув руки в карманы, Костя заново оглядел комнату и, поскрипывая паркетом, подошел к книжным шкафам. За стеклом одного из них, на полке, были разбросаны тисненные золотом дипломы и свидетельства. Их было много, этих дипломов. Брошенные в беспорядке, они запылились, выцвели, покоробились. И опять Косте показалось, что тех, кому эти дипломы могли быть интересны, уже нет в доме... Тут же на полке лежала две фотографии: на одной молодой Боровский был снят возле планера с надписью во весь фюзеляж: «Коктебель», на другой его запечатлели у самолета-амфибии вместе с Главным. Оба были одеты в зимнюю летнюю амуницию тридцатых годов, оба выглядели довольными друг другом.

– Встал – без всякого выражения пробасил Боровский, бесшумно появившись в дверях.

– Ага. – Ожидая напоминаний о его вчерашнем состоянии, Костя криво улыбнулся, но Боровский был хмур, глядел рассеянно, и Костя понял, что «корифей» не расположен обсуждать эту тему.

– Похмеляешься? – не очень вежливо поинтересовался он.

– Перетопчусь.

– Тогда пойдем кофе пить.

Шагая вслед за Боровским по темному коридору на кухню, Костя чувствовал себя неуютно – не из-за того, что Боровский приволок его к себе мертвецки пьяным («Никто его не просил...»); неловкость Кости происходила от непривычной ситуации: он впервые в жизни оказался не только в квартире «корифея», но и наедине с ним. До сих пор отношение Кости к Боровскому было опосредствовано присутствием других людей, работой, где он был величиной должностной, лично Костю Карауша ни к чему не обязывающей, если не считать подчинения в полетное время. Здесь же, у себя дома, Боровский был самым собою полностью, хозяином, то есть в таком значении своей личности, которого Костя попросту не знал.

Принялись за кофе молча, каждый глядел в свою чашку.

– У Лютрова из родных кто остался? – спросил наконец Боровский.

– Никого.

Боровский поднялся, взял с плиты кофейник и, не спрашивая, налил Косте еще. После второй чашки похмельная тяжесть в голове вроде бы стала рассасываться, хотя на Костю в таких случаях лучше действовало кислое молоко или кефир.

– Не везет хорошим людям, – сказал Костя.

– Везет всегда не тем, кому надо, – хмуро отозвался Боровский. – Видел вчера Долотова? – неожиданно спросил он, но тут же махнул рукой: – Впрочем, кого ты видел...

– Да, перебрал малость... А что Долотов?

– Ничего. Ему бы напиться вроде тебя, все легче было бы...

– Вроде меня он не пьет. А вы насчет того, что ему повезло?

Повезло... Хуже нет, когда так везет. Каждый сопляк будет теперь пальцем тыкать: это, мол, тот самый, из-за которого хороший человек погиб.

– Н-нда, психология... – Косте стало не по себе, как это всегда с ним бывало, когда он чего-нибудь не понимал. Вот и теперь Костя внутренне поморщился: «При чем тут Долотов? Что он, нарочно, что ли?»

От третьей чашки Костя отказался.

– Благодарствую! Пойду, извините... Я вам и без того учинил беспокойство, так сказать...

– Деньги на такси есть?

– Да, да! – поспешил заверить Костя, хотя наверное знал, что в карманах у него ни гроша.

Выбравшись на лестничную площадку, он почувствовал явное облегчение, словно получил желанную возможность поразмышлять на свободе, и решил, что слова Боровского о Долотове – чепуха и заумь. Но тут в похмельной голове Кости шевельнулась неожиданная догадка: уж не по себе ли меряет «корифей» нынешнее состояние Долотова? Ведь «семерка» разбилась после того, как Боровский передал самолет Димову! «Надо же: до сих пор переживает! Скажи кому, не поверят...»

Медленно спускаясь по истертым до глубоких лунок мраморным ступеням, Костя увидел женщину, поднимающуюся с бидоном в руках. «Молочка бы!» – подумал он, глядя на голубой бидон. На лестнице было холодно. Остановившись на междуэтажном помосте, он принялся застегивать меховую куртку, надетую поверх коричневого свитера. И, глядя на добротную дубовую облицовку перил, снова заподозрил, что когда-то уже был здесь... Сверху вниз промчались трое мальчишек с портфелями. «Килька без понятия, – подумал Костя. – Нет, чтобы на перилах съехать...»

Пока он застегивался, надевал перчатки и вспоминал, когда в последний раз катался на перилах, вверху, на лестничной площадке, появилась женщина в красном вельветовом платье. Костя мельком взглянул на нее. «Похожа на кого-то, – подумал он, укрываясь воротником куртки и нахлобучивая поглубже шапку, – И в городе спасу нет от большого и сплоченного коллектива летной базы».

– Костя, – донеслось к нему.

«Ну вот!..»

Он исподлобья глянул вверх, собираясь как можно поспешнее ретироваться, но это было невозможно.

– Даля?!

Ему стало жарко. Он сдвинул шапку к затылку, расстегнул куртку и, не отрывая глаз от Дали, пошагал наверх. «Не подходи слишком близко, – напомнил он себе. – От тебя перегаром несет...»

Минуту они стояли друг против друга, не зная, что сказать, как отнестись к этой встрече. Даля заметно пополнела, на руке, которой она без нужды перебирала цепочку на шее, поблескивало обручальное кольцо, но лицо было по-прежнему молодо и красиво.

– Ну, здравствуйте, – сказала она, удивленно вскинув густые черные брови.

Костя кивнул.

– Теперь ты здесь живешь? – спросил он.

– Вы забыли... Я всегда здесь жила.

Костя опять кивнул. Он не обращал внимания на слова, он смотрел в ее глаза, выискивая в них хоть искорку интереса к нему или смущения, которое подсказало бы, что прошлое еще теплится в ее памяти.

– Помнишь хоть?

– Разве вас можно забыть? Одна ваша выходка чего стоит... Если бы не это...

– Замуж бы за меня пошла, – подсказал Костя, саркастически усмехнувшись.

Из двери слева вышла старушка с каким-то расхлябанным криволапым догом на поводке, сказала Дале: «Здравствуйте, милочка», – и хотела получше рассмотреть Костю, но дог дернул за поводок и утянул ее вниз.

Минуту они слушали урезонивающий собаку голос старушки, ее шаги, жестяное позвякивание ошейника и слабое цоканье собачьих когтей по мрамору ступеней. Потом глухо хлопнула дверь, и стало тихо.

Молчали и Даля с Костей. И это молчание не казалось странным ни ей, ни ему. Куда теперь торопиться и кто помешает им рассказывать о себе?.. Глаза Дали то ласково прищуриваются в ответ на какое-то движение на лице Кости, то настораживаются и ждут чего-то, то учтиво блуждают по его щеголеватой фигуре... Но вот ее щеки тронул румянец. Она говорит:

– Меня не узнать, наверно, да?

Костя молчит. Его несколько не смущает ни дородность Дали, ни ее замужество. Он пытается рассмотреть что-то другое, что-то свое, выискивает какие-то приметы, которые

подсказали бы ему, что они могли прожить вместе последние пятнадцать лет, что это не было невозможно...

– Замужем? – спросил Костя, коротко взглянув на ее кольцо.

– Была. Давно. – Она как бы невзначай подогнула безымянный палец, пряча кольцо.

– Дети?

– Сын Димка, – улыбнулась она и, словно одолев невидимую гору, глубоко вздохнула. –

Как вы здесь оказались?

– Ночевал у одного друга... По уважительной причине.

И, вспомнив о похоронах, о том, что на свете больше нет Лютрова, Костя, как в утешение себе, протянул руку, коснулся пальцами горячей щеки Дали и, чувствуя, как она податлива, послушна его ласке, произнес осевшим от волнения голосом:

– У тебя... кефиру не найдется?

### 3

Собираясь по утрам в комнате отдыха, летчики всякий раз подолгу обсуждали все, что удавалось выяснить комиссии, расследующей причины катастрофы С-224. Однако с каждым днем новостей становилось все меньше, а из того, что было выявлено и представлялось бесспорным, более всего озадачивали три обстоятельства, и если бы удалось доказать, что они совпали во времени, то конечные, непосредственные причины происшедшего можно было бы считать установленными: такое совпадение неизбежно должно было привести к катастрофическому развитию событий в воздухе. Состояние механизмов на обломках крыльев подтверждало, что в момент разрушения закрылки были выпущены, однако тумблер управления ими стоял в позиции «убрано». Эти два обстоятельства усугублялись третьим: положение скоб-защелок управления форсированным режимом двигателей свидетельствовало, что форсаж был включен. Все это невольно наводило на мысль: или неизвестно, почему предательски сработал сигнал «закрылки убраны» в то время, когда они оставались выпущенными, и тогда становилось понятно, почему Лютров включил форсаж, или он сделал это, не дождавшись светового сигнала, подтверждающего, что закрылки убраны, то есть по каким-то причинам произвел действие, которое привело самолет к разрушению, потому что разгон с неубранными закрылками сообщает крыльям нагрузку, каких конструкция не в состоянии выдержать. Но ошибка выглядела столь грубой, что никто или почти никто из членов многочисленной аварийной комиссии не принимал такое объяснение катастрофы; слишком оно не соответствовало профессиональной репутации летчика.

Многие вообще считали, что Лютров не включил форсаж; скобы-защелки управления форсированным режимом двигателей легкоподвижны, рассчитаны на небольшое усилие пальцев левой руки, и потому во время удара головной части фюзеляжа о землю могли быть сдвинуты силой инерции.

После множества рабочих совещаний аварийной комиссии, после кропотливого сопоставления «технических экспертиз, догадок, предположений» было объявлено о расширенном заседании, на котором надлежало обсудить предварительные выводы расследования.

За полчаса до начала, заглянув в библиотеку за последней книжкой Британского авиационного ежегодника, начальник бригады ведущих инженеров Володя Руканов встретил там Льва Борисовича Фалалеева, бывшего неизменным почетным членом библиотечного совета, что давало ему право перелистывать и даже брать с собой свежие иностранные, чаще американские журналы, хотя все его знания английского едва хватало на переводы подписей к веселым картинкам из «Популар сайенс».

Перекинувшись с Володей несколькими словами о гибели Лютрова, Фалалеев с сожалением заметил, что «техническая культура» нынешнего поколения летчиков фирмы все еще, увы, не отвечает задачам дня.

– А это, дорогой Володя, сказывается, ох, как сказывается! Я уже не говорю о слабом знании методики испытаний. Сплошь и рядом не хватает элементарной летной грамотности. Возьмите Боровского. Помните, как он «мужественно» втемяшился в грозу?

Руканов кивнул, хотя и не очень понимал, каким образом «корифей» попал в «нынешнее поколение летчиков».

– Но у нас – как? Вместо того чтобы отправить на пенсию, собираются посадить начальником летного комплекса. Что вы скажете? Этого дуба!..

Володя насторожился, хотя и не подал вида, что впервые слышит о возможном назначении Боровского на эту должность.

– Думаете, Соколов утвердит? – с деланной небрежностью заметил Володя. – Судя по тому, как он разговаривал с Боровским после катастрофы «семерки»... Вы меня понимаете?

Уловив доверительность в тоне Руканова, Фалалеев взял его под руку и увлек в коридор, чтобы продолжить разговор уже «сугубо конфиденциально».

– Я собираюсь дать статью, – со значением сказал Лев Борисович. – Нужно, знаете ли, показать истинное значение подобного «мужества», поставить все на свои места. Не могли бы вы более подробно осветить разговор Главного с летным составом?

Руканов не заставил себя просить. И в заключение присовокупил, что среди летчиков не нашлось ни одного, кто бы встал на защиту Боровского. Последнее замечание, как рассудил Руканов, не могло быть безразлично Фалалееву. Они понимали друг друга.

Говоря о том, что среди летчиков у Боровского нет друзей, Володя не лгал. Но среди них были такие, которым симпатизировал Боровский. Их было немного. Всего дважды на памяти Руканова «корифей» высказывал свои симпатии: в первый раз – Долотову, когда тот начал летать на «семерке» («Этот парень заставит себя уважать»), второй – Лютрову, когда встал вопрос о втором летчике на С-44, на тот самый самолет, на котором Боровский «втемяшился в грозу» во время сверхдальнего перелета. Лютрова нет. Остался Долотов. Что он за человек, Володя хорошо представлял себе по не имевшему прецедента отказу Долотова летать с Трефиловым. Так мог поступить только человек, который слишком уж независим в своих поступках, и потому в качестве сторонника Боровского Долотов был опасен для Володи.

На первый взгляд это была невесть какая причина опасаться Долотова, но только на первый взгляд. Люди того чиновного, административного толка, к каким принадлежал Руканов, обладают особым чутьем – умением угадывать в сослуживцах заключенный в них потенциал враждебного, не только у тех, кто угрожает оттеснить коллегу и занять его место, но и у людей, не имеющих никакого отношения к заботам подобного рода, у свидетелей, работающих рядом, «при том присутствующих», умом ли, свойством ли характера склонных противостоять честолюбивым поползновениям кого бы то ни было. Таким человеком, с потенциалом враждебного Володе, вполне мог оказаться Долотов, с его непочтением к авторитетам, с его недобрый умом, с его репутацией одного из лучших летчиков фирмы. И поскольку теперь вошло в моду проводить широкое обсуждение кандидатов на все сколько-нибудь значительные должности, то можно не сомневаться, что Долотов не преминет встать на сторону Боровского. Вот почему коснуться Долотова жесткой начальственной дланью, дать понять «этому грубияну», что с ним, с Рукановым, ссориться накладно, было для Володи необходимейшим упредительным маневром его чиновничьей стратегии. Для этого вскоре будут и время и возможности: начальник отдела летных испытаний – он же исполняющий обязанности начальника летного комплекса – Данилов ложится в больницу с язвой желудка, и уже заготовлен приказ о временном назначении на его место Руканова. Вполуха слушая Фалалеева, пространно излагавшего тезисы будущей статьи, Володя на скорую руку освежал в памяти все, что «водилось» за Долотовым, то есть какие у него были взыскания, летные ошибки, «моральные отклонения» и т. п. Так ли уж крепко он стоит на ногах?.. Два выговора, отстранение от полетов на С-14, недавний слух о разрыве с женой. Руканов не забыл и упоминание Трефилова о какой-то темной истории в училище, в которую был замешан Долотов. Что-то, связанное то ли с покушением на жизнь, то ли со зверским избиением инструктора... Правда, по словам Трефилова, прямое участие Долотова осталось недоказанным, но в таких вещах и подозрение – дело нешуточное, так просто не стряхнешь с себя, и, будучи извлеченным на свет, оно хоть кого заставит съежиться.

Что касается Боровского, то Володе ничего не оставалось, как только подождать результатов задуманного Львом Борисовичем, у которого – Володя это прекрасно знал – были веские причины для сведения счетов с «корифеем».

...В конце пятидесятых годов, во время испытаний прототипа С-44, Боровский, которому надоела «эта беготня» по аэродрому, решил «подлетнуть» – оторвать самолет от бетона и тем закончить затянущуюся программу наземных испытаний. Машина, по его словам, «просилась в воздух». Разогнав самолет, Боровский па считанные метры оторвал его от земли и не мешкая прижал к бетону. Тут-то и отказали тормоза, а скорость и малое расстояние до конца полосы усугубили положение до аварийного; в ту пору в этом месте даже на грунт нельзя было свернуть: с одной стороны рыли ямы под фундамент будущего ангара, а с другой вдоль речного обрыва тянулась ограда аэродрома.

И все-таки Боровский нашел выход. Перед стартовой площадкой, где взлетная полоса и рулежная дорожка, сходясь, образовывали широкое бетонное поле, Боровский, уже распорядившийся выключить все двигатели, кроме одного, крайнего, приказал сидевшему справа Фалалееву дать полные обороты оставленному в работе мотору. С-44 круто развернулся, докатил, гася скорость на развороте, до песчаной насыпи у фундаментного котлована и встал, ткнувшись в нее лопастями винтов. Если не считать погнутых винтов самолет не имел повреждений, но, вздумай Боровский развернуть машину в этой ситуации не двигателем, а поворотными колесами шасси, последствия оказались бы намного серьезнее.

И не только для самолета. За рулежкой наблюдал заместитель министра, приехавший на базу вместе с Соколовым. Едва экипаж выбрался из РАФа, как Боровскому сообщили, что летчиков вызывают для объяснений. «Кто вызывает?» Нарочный назвал фамилию. «У меня нет такого начальства», – отозвался Боровский и пошагал в раздевалку. А члены экипажа – Карауш, Козлевич и Фалалеев, ничего не поняв в намерениях командира, послушно двинулись за нарочным. И когда замминистра спросил, что произошло, Фалалеев, которому ничего не стоило, не погрешив против истины, объяснить аварию неисправностью тормозов, поторопился заверить высокое начальство в своей невинности.

– В задании подлет не предусматривался! Боровский решился на него самовольно! Это хорошо еще, так обошлось!

– Снять с машины! – приказал замминистра.

Когда он отбыл, Фалалеев стал сокрушаться на глазах Соколова:

– Удивляюсь я Игорем Николаевичем! Брать па себя такую ответственность!..

Соколову стало не по себе от этого умышленно-наивного рвения. – Иди с богом. Ты все сказал.

В это время пришел вызванный Главным Боровский,

Фалалеев как ни в чем не бывало в очень дружеской манере зашептал на ухо «корифею»:

– Знаете, тут были товарищ...

– Знаю, – перебил его Боровский. – Без мыла лезешь.

Фалалеев словно подавился, выслушав это замечание на глазах Соколова.

С той поры у Боровского вошло в привычку называть пройдох всех мастей «фалаями», а с самим Фалалеевым «корифей» не разговаривал, точно не замечал его.

...Вспомнив все это, Володя доверительно заглянул в глаза Льву Борисовичу.

– Пора. Вы не собираетесь послушать многомудрых мужей?

Фалалеев кивнул, безоговорочно соглашаясь с такой характеристикой членов аварийной комиссии, и обезоружено развел руками, как человек, положение которого вынуждает присутствовать на всех, в том числе и на заведомо глупых, церемониях, хотя положение пенсионера ни к чему его не обязывало.

Послушать комиссию собрался почти весь летный состав. На расставленных вдоль стен кабинета стульях расположились Боровский, Костя Карауш, Извольский, штурманы Саэтгиреев и Козлевич, бортинженер С-224 Пал Петрович и командир нового лайнера Чернорай со своим экипажем, в составе которого был и недавно назначенный на самолет ведущим инженером (взамен Руканова) Иосиф Иванович Углин. А у длинного, покрытого зеленым сукном стола сидели конструкторы КБ, начальники отделов, эксперты министерства, заместитель Главного конструктора Разумихин и начальник летно-испытательной базы Савелий Петрович Добротворский. Данилов на правах председателя комиссии вел заседание. Рядом с ним устроился Руканов.



Долотов сидел в дальнем углу и, разглядывая выступающих, невольно отмечал про себя, что все те, чье мнение он хотел бы услышать, молчат. Молчал начальник отдела силовых установок Самсонов, молчал гидравлик Журавлев, молчал Боровский, молчал старшин летчик фирмы Гай-Самари, по обыкновению молчал Руканов, разглядывая заусенцы у ногтей. И только ведущий инженер Ивочка Белкин (которого, как и Руканова, никто из летчиков не называл по имени-отчеству, исключая, впрочем, Костю Карауша, из пристрастия, надо полагать, к необщим жестам, положившего себе за правило произносить имя ведущего полностью: Ивон Адольфович), только он один много и складно говорил о невозможности таких-то и таких-то вариантов развития катастрофы, косвенно наводя на мысль об ошибке летчика, и при этом то и дело поглядывал на Долотова с таким выражением, словно все высказанное является прежде всего – комплиментом ему.

Но Долотов хорошо знал этого толстолицего, хотя и не толстого вообще молодого человека, из-за тяжелой грывжи ходившего мелкими семенящими шагами и так, будто при этом пользовался одними пятками, что придавало его ходьбе суетливо-озабоченную торопливость.

Долотов работал с ним два года. Впрочем, Ивочку нетрудно было узнать и за меньший срок. Он был весь на виду, ему и в голову не приходило, что он делает что-то не так, что в его поведении есть что-либо предосудительное.

– Понимаете, в наших интересах, – с очаровательной непосредственностью говорил он Долотову после своего назначения на С-224, – если при случае я буду ругать вас, а вы – меня: мы будем знать, что о нас думают.

– А мне наплевать, что о вас думают. Да и обо мне тоже, – ответил Долотов.

Когда Ивочка начинал говорить о работе «между нами, девочками», он касался только двух ее сторон: сколько времени протянутся испытания очередной модели, оборудования, узла и по какой категории будут оплачиваться. Никто лучше его не знал, какие работы как оцениваются плановым отделом, сколько времени потребуется бухгалтерии для оформления закрытых программой полетных листов и от кого зависит, чтобы дело было ускорено. Добиться более выгодной работы, в сравнении с работой других ведущих инженеров, не попасть на «дохлый», тянувшийся годами заказ, поднять шум, если кто-то из коллег опередил его по среднему заработку, – на все это Ивочка тратил больше энергии, изворотливости, чем на самую работу. Его гражданское сознание определялось в день полочки: чем больше была цифра в платежной ведомости, тем лучше обстояло дело в текущей пятилетке; падение заработка немедленно вызывало у Ивочки критику существующего порядка вещей.

– Мастер у Форда – мастер – имеет пятьсот долларов в месяц! – оскорбленно говорил Белкин, встряхивая карманы брюк с просторной, как у турецких шаровар, мотней.

– Дурило! – отзывался Костя Карауш. – Там чихнуть негде без зеленой бумажки, а ты платишь три червонца за путевку в санаторий, которая стоит полтора рэ.

Год назад, на южном аэродроме, после нескольких полетов, в общем не сложных, но стараниями Белкина оплаченных по высшей категории, он не отказал себе в удовольствии заметить с покровительственно-самодовольным видом, что, мол, за эту работу Долотову следует поблагодарить его, Ивочку. Сказано это было во время обеда в столовой. Взявшись за бутылку боржоми, Долотов так и застыл, впившись глазами в оторопевшего Ивочку.

– Что ты сказал? Мне благодарить тебя за работу? Ты считаешь себя моим благодетелем?

Никогда ни до, ни после Белкин не видел у Долотова такого выражения лица. Косясь на бутылку, которую судорожно сжимали пальцы Долотова, Ивочка не на шутку струхнул, хотя искренне не мог понять, чем оскорбил человека.

Выручил Пал Петрович.

– Брось, Борис Михайлыч, – сказал он. – Это у него в роду. Всяк свое несет. Мать у него такая же, – продолжал Пал Петрович, когда Ивочка убрался из-за стола. – В нее... Отец был военным, понимающим, да рано номер.

После войны семья Белкина некоторое время проживала в одной квартире с Палом Петровичем. Все в доме в ту пору еще перебивались с хлеба на квас, а мать Ивочки быстро раздобрела, приобрела выразительный облик тех дебелых, хорошо откормленных дам, каковых отличают заплывшие талии, дорогие шубы, полновесное золото в ушах, карминовые губы и хамоватая агрессивность в общении с посторонними.

– Чего вылупилась на девчонку? – одергивал ее муж, когда она принималась выговаривать продавщице. – Она в шестнадцать лет работает, а ты в тридцать комбинируешь!

Муж знал, что говорил. Летом 1947 года мамаша Ивочки продала оставшийся после отца дом в Кишиневе, а перед денежной реформой по совету «знающего человека» уговорила подчиненного мужу старшину раздать вырученные деньги по две-три тысячи рублей солдатам, с тем, чтобы они положили эти деньги на сберегательные книжки. Таким образом, после реформы Ивочкина мама «имела тысячу процентов прибыли». Муж устроил ей «варфоломеевскую ночь», да с нее как с гуся вода. Даже ехать с мужем к месту его нового назначения отказалась.

– Это надо быть малахольными, чтобы бросать город, когда жизнь, слава богу, налаживается! – кричала она. – Что мне твои ордена, если тебе не могут дать приличной должности в городе? Сегодня восток, завтра запад, а потом? Северный полюс? А мне покупать рыбу у белых медведей?

– Все на свой лад вершила, – говорил Пал Петрович, – Даже супругу сыну сама подыскала, такую же пройдоху, только помоложе.

Глядя теперь на Ивочку, Долотов все сильнее раздражался из-за явного намерения Белкина дать понять, что вот он, Долотов, налетавший на С-224 «слава богу», никогда не допустил бы такого промаха, который мог привести к катастрофе.

«Тебе со мной работать, вот ты и елозишь, – думал Долотов, наливаясь тяжелой, как хворь, злобой. – А угробился бы я, то же самое говорил бы Лютрову».

Долотова оскорблял не только этот сомнительный комплимент, его приводила в бешенство сама причастность Белкина к событию; со всем тем, что «нес» в себе Ивочка, он не имел права прикасаться к памяти Лютрова, к его имени. Долотов вспомнил, как рыдал на похоронах Костя Карауш, вспомнил Пал Петровича, потерявшего сознание при первых ударах молотков рабочих, заколачивавших крышку гроба, вспомнил пролет Гая на истребителе над погостом – последнюю почесть погибшему – и, не в силах более слушать Ивочку, грубо оборвал его:

– Тебя послушать, так вообще неясно, на кой черт собралось тут тридцать человек! Чего проще – делать выводы из того, что ясно, и закрывать глаза на то, что ни в какие ворота не лезет! Ты можешь доказать, что механизм работы закрылков был исправен? Нет, Почему тумблер стоял в положении «убрано»? Нет. Вот и кончались твои рассуждения.

– Ну что тумблер, – протяжно отозвался Белкин, вскидывая подбородок, насколько позволяла его толстая шея, и поводя головой слева направо, как бы взбираясь поверх сказанного Долотовым. – Тумблер можно зацепить рукой случайно.

– А если случайно сработал сигнал «закрылки убраны»? Если форсаж вообще не включался?

Белкин криво улыбнулся, поискал среди присутствующих, кому бы с надеждой на сочувствие намекнуть: как вам нравится, он меня за дурака считает! Никто, однако, не выставил себя навстречу Белкину, и только Володя Рукавов едва приметно кивнул, принимая апелляцию, даже не кивнул, а утвердительно прикрыл веки.

«И этот чистюля», – неприязненно подумал Долотов, вспомнив привычку Руканова разглядывать хорошо вычищенные ногти.

«Но почему молчит Журавлев? – Долотов поглядел на гидравлика. – Он же один из главных экспертов».

А Журавлева, человека с больным сердцем, одолевали совсем другие заботы. Уезжая на базу, он оставил в больнице дочь, у которой вдруг обнаружили нарушения ориентации движений, головокружения, словом, какая-то болезнь вестибулярного аппарата. Девушка заканчивала институт востоковедения, готовилась к экзаменам, защите диплома, и вот... Мало было в доме его хворобы! Журавлев собирался взять отпуск, но, человек деликатный и мнительный, он опасался, что его уход может быть истолкован, как равнодушие к чрезвычайному происшествию, которым занимались начальника почти всех отделов КБ. Будучи гидравликом, по чьим проектам создавались первые гидравлические системы на самолетах Соколова, Журавлев понимал, как много ждали от анализа состояния подопечных его отделу систем на С-224, но не мог сделать даже предположительных выводов о причине

катастрофы. В голове его неожиданно переплелись по признакам подобия оба события: болезнь дочери, начавшаяся тем, что она ни с того ни с сего упала прямо на улице, и катастрофа С-224. Странная параллель навязчиво возникала в голове Журавлева: ему казалось, что и в том и в другом случае имело место нарушение координации движений. И потому на память приходили только такие неисправности, влияние которых на доведение С-224 можно было сравнить с влиянием болезни дочери на ее способность передвигаться. Мало-помалу он стал отождествлять то, что называют вестибулярным аппаратом, с тем, что он хорошо знал и что называлось гидравлической системой самолета. Дочь в тот день добралась домой с помощью какого-то школьника, славного мальчугана. А когда на борту отказывают две независимые друг от друга гидравлические системы, роль школьника выполняет аварийная «третья» – автономная, приводимая в действие турбонасосами<sup>1</sup>. Правда, аварийная далеко не так мощна, как те, что связаны с энергетикой двигателей, однако ее мощности достаточно, чтобы довести самолет до ближайшего аэродрома и приземлиться в случае отказа основных систем. Долотов когда-то испытывал «третью», умышленно отключая обе главные. Сначала, имитируя посадку, «сажал» С-224 на облако, потом сделал несколько посадок на полосу. Но как бы старался Журавлев, он не мог решить по тому, что осталось от самолета, включал ли Лютров турбонасосы? Если бы это удалось установить, то, как минимум, определились бы зоны поиска.

«Нужно искать слабое место во всем новом, во всем отличном от испытанных конструкций. Может быть, даже не в новых агрегатах, не в новых узлах, тысячекратно проверенных на земле, а в тех второстепенных деталях, конфигурацию которых меняют из-за особенностей компоновки системы на новой машине, – думал Журавлев. – Губительная случайность, ворвавшаяся в логическую систему конструкции, почти всегда покоится на очень неприметной неисправности. Скорее всего летчик здесь ни при чем. Может быть, в другое время я бы смог как следует подумать, составить соответствующую программу стендовых испытаний, но сейчас мне трудно. Нужно узнать, что с моей девочкой, потом уже...»

Заметив некоторую несдержанность и раздражение Долотова, Данилов вспомнил о недавнем звонке известной ему Риты Арнольдовны, сообщившей о том, что, «как она и предчувствовала», Долотов «уже не живет с семьей». «Вы знаете, что в этих случаях делают? – спросил Данилов. – Нет? Вот и я не знаю».

– Трудно, Борис Михайлович, – в неопределенном тоне заговорил он в ответ на реплику Белкина, – трудно предположить какую-либо иную причину взрыва, кроме разрушения конструкции. Но как все началось, если Лютров вынужден был принимать чрезвычайные меры? Пожар? – Данилов повернулся к Белкину. – Увы, пожар оставляет время для покидания самолета, для связи с землей, для попытки посадить на вынужденную...

Белкин пожал плечами: вы, мол, начальство, вам виднее.

– Все склоняет к тому, что взрыв последовал во время разгона с неубранными закрылками, – продолжал Данилов. – А вот почему так случилось? – Данилов снова посмотрел на Белкина. – Считать зафиксированное положение тумблера случайностью – это значит идти по линии наименьшего сопротивления. Были какие-то, пока нам неизвестные причины, которые заставили Лютрова делать все то, что он делал. Мы знали Алексея Сергеевича как летчика и как человека, у нас нет оснований приписывать ему ошибку, да еще столь грубую.

Данилов помолчал, как бы предлагая несогласным возразить, и, не дождавшись возражений, закончил:

– Все, чем мы располагаем, дает нам право только на предположительные выводы. Подождем, что скажут двигателисты.

...Получив докладную записку о результатах работы аварийной комиссии, Соколов позвонил на завод, чтобы узнать, нет ли чего нового в обследовании стоявших на С-224 опытных двигателей. Ему ответили, что покамест – ничего определенного: трудно установить, были ли неисправности в их работе; расследование затрудняют те повреждения, которые появились уже на земле – после падения и пожара. Заканчивая разговор, директор завода сказал:

---

<sup>1</sup> Энергетическое устройство, приводимое в действие встречным потоком воздуха.

- Мы собираемся заслушать всех тех, кто сейчас занят в комиссии. Отчет я направлю вам.
- Сообщите мне о дне совещания. Я тоже хочу послушать.

Решение было вполне в духе Старика. Не раз случалось, что он не вызывал к себе представителей фирм, чьи изделия использовались на опытных самолетах (на что имел официальные полномочия), а сам отправлялся туда, где эти изделия создавались. Вот и на этот раз он не посчитался с тем, что ему предстоит многочасовой полет в Среднюю Азию.

На С-224 решено было установить серийные двигатели и после стендовых испытаний всех систем жизнеобеспечения полета провести их контрольную проверку в полетных условиях.

## 4

В день первого вылета Пал Петрович явился на аэродром раньше своих подчиненных. Уже переодетый в мешковатой черной комбинезон поверх серого свитера с обвисшим воротником, он обошел вокруг С-224, поднял с бетона изогнутую стальную спицу – обломыш вращающейся автомобильной метлы – а направился к забору, отгораживающему стоянку самолетов со стороны здания летной части. Здесь было место для курения: скамья перед вырытой в землю бочкой.

Робко – лужицами на припеке у ангарных ворот, тонкими сосульками под скатами крыш – начиналась весна. Снег на тропинках дымно поголубевшей сосновой рощи позади ангаров днем оседал, темнел, тяжелел и податливо сминаясь под ногами, а за ночь вновь успевал коряво остекленеть ледовой скорлупой, и на подтаявших ноздреватых боках сугробов кружевными террасками застывали острые слюдяные выступы.

На том краю рощи, что подступал к окнам летной части, вчера утром цыганской перебранкой заголосили грачи – худые, косматые, с руганью и потасовками делившие старые гнезда. Перебранившись и порастеряв перья, грачи угомонились – время не ждет – и принялись одни поправлять старые гнезда, другие – строить новые.

За двадцать лет знакомства с аэродромом птицы привыкли и к людям, и к самолетам, и к реву двигателей. И теперь невозмутимо расхаживали по самолетной стоянке, парадно вышагивая рядом с такими же черными, как они сами, колесами шасси новенького С-224, незадолго до катастрофы перегнанного Долотовым с завода; птицы вели себя так, словно покрытая прозрачным лаком крылатая махина принадлежала к их грачиному роду.

Дублер, как называли этот самолет в отличие от первого, головного экземпляра С-224, стоял отдельно от других машин, укрытый песочно-желтыми чехлами. Всякий проходивший мимо невольно оборачивался в его сторону, и, как думал Пал Петрович, не о скорости говорили взгляду человека оттянутые назад крылья, не о благодатной мощи – два спаренных двигателя, короткими стволами выступающие за хвостовое оперение и делающие эту часть фюзеляжа грубой и как бы бесформенной, а о чем-то таком, что пробуждает в душе людей недобрые чувства.

Пал Петрович курил, исподлобья поглядывал на дублера, сталкивал стальным прутиком пепел сигареты и думал о своем.

С некоторых пор старый механик сделался необщительным, неразговорчивым, выглядел неприветливо, реже брился, и оттого лицо его, грубо очерченное двумя глубокими складками от висков к подбородку, казалось совсем дряхлым, а серые глаза навывкате словно бы подались еще дальше вперед, как подпираемые изнутри.

Он почти не ругался теперь с мотористами из-за всякой малости, не кричал шоферу тягача во время буксировки самолета: «Не дергай, так тебя, не дрова везешь!..» Говорили, что Пал Петрович прихворнул, что собирается уходить...

Но не в этом была причина его угнетенного состояния.

Если бы спросили девушку-шофера, она совсем по-другому объяснила бы перемены в душевном состоянии Пал Петровича.

В день катастрофы С-224 Надя сидела в своем РАФе рядом со стоянкой опытных машин и читала выпрошенную на один день книгу («Интересная, спасу нет!» – сказала подруга). В ожидании, когда зарулит очередной самолет и из динамика на крыше здания летной части послышится команда: «Экипажу на отдых!..», – Надя так увлеклась «Королевой Марго», что не

обратила внимания на затарахтевшие вертолеты, на проехавших мимо два больших автобуса, но, когда все стихло, она оставила книжку, огляделась и увидела Пал Петровича.

Он подошел к передней стойке шасси дублера – ссутулившийся, маленький, в непомерно широкой форменной куртке и вдруг изо всей силы пнул ногой в колесо самолета.

– У, рыло! – услышала Надя. – Загубила человека, чтоб ты подавилась! Не нажресси никак, струя вонючая!

Надя всегда побаивалась сердитого механика, а эти злые слова, обращенные к самолету, вдруг напомнили ей о вертолетах и автобусах, о всея промелькнувшей суете, и тогда Надя поняла, что случилось несчастье. Потом посыпал снег, и она потеряла из виду Пал Петровича, медленно пошагавшего в сторону одноэтажного здания аэродромных служб... С тех пор всякий раз, когда Надя видела Пал Петровича сидящим где-нибудь в сторонке, она вспоминала его отчаянные слова, и ей становилось до слез жалко и Лютрова, и старого механика...

Со стороны казалось, что Пал Петрович тупо глядит на зачехленную машину, на даль аэродрома, но он никуда не глядел; так уж выходило, что не дома, а вот здесь, у самолетов, самые разные мысли уводили Пал Петровича так далеко, что он только вздыхал от всего, что приходило на память.

В тот день, когда на машину вместо Долотова пришел Лютров, все было как всегда. Только что окончилась предполетная прогонка двигателей и Пал Петрович отошел в сторону, кивнул молодому парню – стартеру, стоявшему в ста шагах от самолета, на выезде со стоянки, с белым и красным флажками, – и тот откинул в сторону левую руку.

Самолет покатил. Пал Петрович глянул на стекло кабины, встретился глазами с Лютровым, улыбнулся и показал кулак.

Лютров рассмеялся и кивнул: помню, мол, твой наказ не перегружать резину колес на крутых разворотах.

Подавшись вначале прямо на стартера-сигнальщика, С-224 описал любезный Пал Петровичу поворот, выкатил на рулежную полосу и скрылся за высоким забором, отделявшим летное поле от стоянки.

Некоторое время еще проплывал, возвышаясь над забором, скошенный киль самолета, но скоро и его не стало видно.

Пал Петрович был последним, кто видел Лютрова в живых.

А на похоронах, когда пьяного Костю Карауша обуяло бешенство отчаяния, с Пал Петровичем стало плохо.

Таким Костю никто не помнил.

– Уйди! Прочь! – остервенело вскидывая голову и оскалив зубы, кричал он на рабочего кладбища; залитое слезами лицо Кости было страшно и почти безумно. – Зачем сюда пришел? Не имеешь права!

Все это он выкрикивал, опустившись на колени перед гробом, не давая рабочим наложить и заколотить крышку. Рабочие стояли в растерянности, ища глазами помощи у окружавших могилу людей.

Не сразу решившись на роль увещателя, к Косте наклонился Ивочка Белкин.

– Константин, зачем вы так? Нужно прилично себя... – с осторожной укоризной начал Белкин.

Лучше бы он молчал! Костя вскинул глаза на покрасневшее от натуги мясистое лицо Ивочки и оскалился как от боли.

– Ты!.. Прилично, да? Хочешь все прилично, все аккуратно? А может, я ненавижу твою приличную рожу! Я, может, одного Лешку за всю жизнь любил! Сволочь ты приличный!.. На! На! Держи!..

Он выхватил из рук рабочего молоток и, тыкая им в грудь оторопевшего Белкина, кричал:

– На, заколачивай! Торопись! Ну!

Тогда к Косте подошел Боровский. Он крепко обхватил его вокруг пояса и, обессилено плачущего, вдруг будто сломанного, провел мимо расступившихся людей к своей «Волге».

– Лешка-а! – срываясь на хрип, кричал Карауш. – Лютров!.. Командир!..

Боровский кое-как втиснул Костю на заднее сиденье, хлопнул дверцей и уехал.

И тут что-то расслабилось, распалось в груди Пал Петровича, все перед глазами

отодвинулось куда-то, все стало безразлично... И очнулся он уже у себя дома, почувствовал запахи лекарств, увидел опухшее от слез лицо жены и тут же стал одеваться. Жена попыталась воспротивиться, а он взял да и накричал на нее, как на нерадивого моториста.

А когда впервые после похорон пришел на работу, ему показалось, что он только теперь разглядел, как изменилось все вокруг, стало незнакомо, как будто исчезло то, что связывало его с делом, с другими людьми. Что-то, зная, оборвалось с последней улыбкой Лютрова, и небывалая пустота в душе мало-помалу одолевала Пал Петровича...

Старому механику горько было обнаруживать у Ивочки, да и вообще у молодых людей все то, что, по всем понятиям Пал Петровича, давно должно было исчезнуть. Он не мог этого выразить, но хорошо понимал, чем отличительна была его собственная молодость в сравнении с молодостью Ивочки. В глазах Пал Петровича Белкин был Жалок в своем откровенном пристрастии к выгоде – тупому однозначному беспокойству, которому, как какой-то моде, были подвержены такие вот молодые люди, не понимавшие, сколь презирана во все времена была эта человечья сущность.

«Вроде при важном деле, гордиться бы должны, а предложи пуговицами торговать – уйдут, посули только оклад на рубль больше».

Пал Петровичу было двадцать пять лет, когда его направили на фирму Соколова, чтобы помочь собрать из старья, из сваленных на складе моторов РОН один – для помощника Главного конструктора, инженера Черемшинова, соорудившего странную летательную машину с огромным винтом на ней: раскрутившись, винт поднимал аппарат в воздух без разбега. У моторов РОН коленчатый вал во время работы оставался неподвижным, а вращалась «вся остальная требуха» вместе с несущими лопастями винта. Мотор не нуждался в набегающем потоке воздуха, вращаясь, он охлаждал сам себя, поэтому-то РОНЫ и были наиболее пригодны для аппарата Черемшинова, которые теперь называют вертолетами, а тогда, в 1932 году, именовали геликоптерами.

Черемшинов, летчик-истребитель первой мировой войны, сам поднимался на своем сооружении на высоту в полкилометра, тогда это было неслыханно. Уже став профессором, он отвел целую страницу в книге своих трудов Пал Петровичу. «Выпустить летчика на таком аппарате, – писал он, – где отказ мотора несравнимо опаснее, чем на самолете, мог только человек, виртуозно владеющий механизмами, механик высочайшего класса. Прибавьте к этому, что серьезная неудача на испытаниях могла привести к дискредитации самой идеи постройки подобного аппарата. И если за несколько лет испытаний не случилось ни одного отказа в работе моторов, то лишь потому, что нашему делу отдал свой поразительный дар и золотые руки механик Павел Петрович Иванов».

Так писал Черемшинов в своей книге, которую преподнес Пал Петровичу с авторской надписью. Пал Петрович думал, что она затерялась при переездах с квартиры на квартиру или порвана и заброшена внуками, а сегодня утром, копаясь в комод в поисках чистой нательной рубашки, ненароком обнаружил книгу в нижнем ящике, под стопой чистого белья, старательно завернутую женой в свой еще девичий цветной платок. Пал Петрович вспомнил, как накричал на жену после сердечного приступа, и забыл, что искал в комоду...

Еще с тех времен, о которых пишет Черемшинов, Пал Петрович имел обыкновение постоять с летчиком перед полетом, перекинуться словом, поглядеть ему в глаза, чтобы не сомневался... И тогда отрывалось и уходило в небо немного беспокойного сердца Пал Петровича. Вот почему он никогда не уставал ругаться с механиками из-за не по правилам законтренной шплинтом гайки после переборки тормозов, из-за не вовремя отправленных на перепроверку бортовых противопожарных емкостей или не досуха протертого крыла, облитого при заправке керосином. Свою жизнь Пал Петрович прожил по простому правилу: делать все так, чтобы на душе было спокойно, а совесть чиста.

Но, с тех пор, как он работает под началом Белкина, а на С-224 летает Долотов, Пал Петровичу кажется, что привычное для него отношение к делу никому не интересно. Тому же Долотову... Это могло показаться странным, но Пал Петрович не любил Долотова, хотя, казалось, чем может быть недоволен бортинженер, если он готовит машину для хорошего летчика, если не нужно беспокоиться, что он сделает что-то не так, ошибется, поломает самолет, подведет наземный экипаж? Долотов умел все, что нужно было уметь летчику, и знал

все, что нужно было знать. Но этот парень никому не показывал глаз, подходил к машине, ни на кого не глядя, был сам по себе, здоровался, если с ним здоровались, отвечал, если его спрашивали, но было видно, что он не верит ни в каких помощников, а значит, никакие помощники ему не нужны. Казалось, подстрой ему нарочно какую-нибудь каверзу, чтобы солоно пришлось в полете, он и тут найдется, молча «вправит мозги» самолету, а зарулит – не взглянет ни на кого, будто все так и должно быть. Хорошо ли, плохо ли подготовлен самолет, ты ли возился у машины спозаранку, другой ли, – Бориса Долотова это меньше всего касалось. Он не нуждался ни в чьих подсказках, ни в чьем участии.

«Все они такие, теперешние, – невесело думал Пал Петрович, сгибая и разгибая стальную спицу. – Один заправил и уехал, другой настроил аппаратуру и ушел, третий отлетал и пошагал прочь... «Я свое сделал». И все вроде бы не знают друг друга...»

«Может, время теперь такое? Вон и Фалалеев статью какую-то о Боровском напечатал... Сочинил, будто тот по своей дурасти вляпался в грозу и чуть людей не загубил. Вроде прохиндей какой. Это Боровский-то!..»

Пал Петрович не знал летчика-испытателя жаднее Боровского на работу. Чуть не все машины Соколова прошли через его руки. И за все – в газете на посмешище выставили. Да и кто – Фалалей! Одно звание, что летчиком был, а по делу – болтун болтуном, пять минут летал, месяц диссертацию строчил. Все на «летающие лаборатории» напирал. Поставят ему на старую машину десяток градусников для замеров температуры в салонах, вот тебе и летающая лаборатория. Плати, давай, по высшей категории. А нет, так из горла вырвет. Испытатель!.. Тьфу!..

А туда же...

– Начальству почтение! Как насчет топлива, дозаправлять будем?

К Пал Петровичу подошел моторист – молодой, полный парень в берете.

Ему пришлось повторить, прежде чем Пал Петрович понял, о чем его спрашивают. И, рассердившись на себя из-за обнаруженной перед подчиненным рассеянности, он, в свою очередь, сердито спросил:

– А кислородка где?

– Придет.

– Ты сначала кислородом заправь, а с топливом долга песня. Отгоняем двигатели, тогда и заправим. Чего стоишь? Звони, чтоб кислородку прислали! Чего они там чешутся?

Моторист ушел. Только теперь Пал Петрович заметил, что на залитой солнцем стоянке уже работают люди. Возле краснополосного пассажирского лайнера, который собирались перегонять в Москву на выставку, тонко повизгивали наземные генераторы, запущенные для проверки и настройки приборов. На двух С-04, выделенных для парадного пролета в День авиации, мотористы снимали и скатывали чехлы. А чуть в стороне от стоянки съезжались и становились в ряд неповоротливые топливозаправщики. А вот примчался и белоголубой РАФ Нади, доставивший к лайнеру экипаж Чернорая. Рабочий день начался.

Пал Петрович подкатил к С-224 невысокую стремянку и стал подниматься в кабину. Ему предстояло подготовить машину к первому вылету.

## 5

Начало рабочего дня было настолько неудачно для Володи Руканова, что на некоторое время вывело его из привычного, хорошо организованного душевного равновесия.

Вернувшись после методсовета в свой новый кабинет, он некоторое время безо всякой надобности перебирал и складывал бумаги на столе, пытаясь утверждением видимого порядка подавить внутреннюю растерянность. Из этого же стремления он снял трубку, позвонил Гаю-Самари и не в дружеском, как это было принято между ними, а в начальственном тоне попросил зайти.

...Володю раздражала не столько сама по себе неспособность подчиненного хорошо сделать все то, что представало перед вышестоящими как сделанное им, начальником, сколько пренебрежение к такому порядку вещей. Тем более что сам Руканов отлично помнил и строго следовал правилам общения со старшими партнерами по «служебному спектаклю», где от

нижестоящих требуется не только безукоризненное знание собственных реплик, но и умение подсказать, что следует отвечать на них тем, кто ведет главные роли. Так учил Володю отец, суфлер столичного театра, присовокупивший при этом сакраментальную фразу: «Весь мир лицедействует». Вот почему Руканов никак не ожидал, что Ивочка Белкин, составивший программу начального этапа испытаний дублера, столь непростительно невежествен в правилах взаимоотношений начальников с подчиненными. Дело усугублялось еще и тем, что, несмотря на замещение Данилова, с Володи не снимались обязанности начальника бригады ведущих инженеров, и потому тема контрольных испытаний дублера, обоснованная отделами КБ – силовых установок, аэродинамики, шасси, прочности, автоматики, управления в другими – была направлена Руканову и как исполняющему обязанности начальника отдела летных испытаний, и как начальнику бригады. А значит, на него возлагалась прямая ответственность за составляемые Белкиным программы. И вот, положившись на Ивочку, Руканов подписал эту злополучную программу, которая затем была забракована методсоветом, как не только невыполнимая в установленное время, но и имеющая просчеты в последовательности проведения полетов. Ивочка же попросту перестарался: зная мнение Руканова о причине катастрофы С-224, верный себе Белкин решил, что Володя отнесется к серии полетов, уже проведенных Долотовым до катастрофы, как к формальности, и потому составил программу таким образом, чтобы «не тянуть резину», поскорее отделаться от этих «утешительных» полетов.

Сидевший на методсовете Долотов о чем-то коротко переговаривался с Боровским, неотступно глядя при этом на Руканова. И, памятуя о разговоре с Фалалеевым, Володя особо отметил это внимание к себе.

Совещание закончилось тем, что был утвержден всего лишь один – первый полет по программе. Белкина обязали в кратчайший срок составить новый перечень полетов «с учетом всех замечаний». Руканов думал, что дело обойдется без оргвыводов в его адрес, и собирался по-своему наказать Белкина, но неожиданно поднялся Боровский. С высоты своего роста он испытующе посмотрел на Руканова, потом повернулся к женщине – секретарю методсовета.

– Предлагаю записать в книгу протоколов, что со стороны исполняющего обязанности начальника отдела в данном случае не было должного контроля за составлением программы. – Боровский некоторое время молчал, затем повернулся к Гаю-Самари. – Что скажешь, Донат Кузьмич?

– У меня возражений нет. – Гай сказал это не колеблясь. – Может, у кого-нибудь есть другое мнение?

Других мнений не было, и Володя вынужден был выслушать всеобщее молчаливое согласие с предложением «корифея».

Теперь Руканов попросил Гая зайти, чтобы подписать характеристику Долотова, которую следовало приложить к числу других документов, обычно сопровождающих летчика во время медицинского переосвидетельствования. В отличие от программы полетов дублера эту бумагу составлял сам Руканов.

Пока Гай читал, Руканову позвонил начальник базы, чтобы сказать, что он ждет Разумихина, который собирается проследить за вылетом дублера, и потому нужно задержать вылет до приезда заместителя Главного. Руканов попросил секретаршу пригласить к нему Белкина или Долотова, кто первым попадется на глаза. Между тем Гай уже взял авторучку, чтобы подписать характеристику, полагая, что она ничем не отличается от других, которые ему, как начальнику летной службы, надлежало удостоверить, по, пробежав глазами аккуратно отпечатанный па фирменном бланке и уже подписанный Рукановым документ, Гай-Самари отложил ручку.

В характеристике говорилось, что летчик-испытатель подполковник запаса Борис Михайлович Долотов работает на фирме с такого-то года, что за это время освоил более 50 типов самолетов, что он высококвалифицированный работник, то есть имеет отличную теоретическую подготовку и большой практический опыт, летает днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, указывалось количество часов налета вообще и – за межкомиссионный период, отмечалось, что Долотов – летчик-инспектор и в качестве такового выполняет много полетов для проверки техники пилотирования летного состава Министерства



авиационной промышленности. Здесь все было, как надо, как есть на самом деле. Но в конце листа, где обычно ставится шаблонная для всех характеристик фраза: «В быту отклонений нет», было написано: «В семье не живет».

– Это что такое? – спросил Гай. – Зачем это?

– Что значат зачем? Здесь указано действительное положение вещей. – Руканов старался говорить строго и убедительно.

– Вот как? Ну, если ты такой педант, объясни, как может противостоять понятие: «В быту отклонений нет» понятию: «В семье не живет?» – Гай едва сдерживал раздражение.

– Неужели неясно, Донат Кузьмич?

– Послушай, разве нельзя жить в семье «с отклонениями», а в одиночку «без отклонений»? Или стоит мужу уйти от жены, как он лишается звания порядочного человека?

– Я это не утверждаю.

– Тогда что-нибудь одно: или ты меня за дурака принимаешь, или сам дураком прикидываешься. Или...

– Есть еще вариант?

– Да. – Гай выразительно помолчал. – Что ты имеешь против Долотова?

– Донат Кузьмич! – В голосе Руканова послышались нотки той нарочитой корректности, к которой прибегают, когда хотят показать, что собеседник переступил границы дозволенного. – До сих пор я считал, что обязанность руководителя...

– Не надо меня воспитывать! Мы не на профсоюзном собрании. Ты прекрасно знаешь, что эта каким-то идиотом придуманная фраза об «отклонениях» никому ничего не говорит.

– Вот видишь!

– Да! Пока она на своем месте. Но вот если ее нет, это говорит слишком многое – тем паче, когда вместо нее вписано: «В семье не живет». Послать такую характеристику – это заставить главного врача госпиталя ломать голову, выискивать, что скрывается за этим примечанием – не запил ли человек, не хулиганит ли?

– Здесь значится не более того, что написано, – сухо проговорил Руканов.

– Тогда на кой черт понадобилось упоминать об этом? Руканов не нашел, что сказать, и Гай продолжал:

– Главный врач – дядя неглупый, и если он разберется в личной жизни Долотова, то прежде всего вынесет справедливое мнение, что подписавшие бумагу или дураки, или ненавистники. Это тот самый случай для нас, руководителей, – Гай выделил последнее слово, – когда следует хорошо подумать, чтобы избежать последствий.

– Даже так? – Володя усмехнулся. – Каких же?

– Таких, о которых говорится в поговорке: «На один раз ума не достало, до веку дураком прослыл». Если тебя это устраивает, меня нет!..

Руканов нервничал: вот-вот мог прийти Долотов, а Володе совсем не хотелось, чтобы тот понял, о чем разговор. Одно дело, когда твоя фамилия стоит среди пяти других на таком документе, разберись, кто составил его, и совсем другое, когда на нем уличающе вьется одна твоя подпись; ведь известно, что даже «ура» кричать одному не годится.

Долотов так быстро вошел, уже одетым в летный комбинезон, с закинутым за спину защитным шлемом в синем чехле, что Руканов едва успел убрать со стола злополучный лист. Заметив это его суетливо-вороватое движение, Гай больше не сомневался, что пресловутая фраза вписана Володей отнюдь не по простоте душевной.

– Вы меня спрашивали?

Не поднимая глаз от стола, Руканов почувствовал знакомый взгляд Долотова.

– Да, присядьте, пожалуйста.

– Говорите, мне некогда.

Руканов заподозрил уже, что выдал себя – если не Долотову, то Гаю – прятанием этой бумаги, и не тем, что убрал ее, а тем, как это у него получилось. Цепная реакция унижительных неудач сделала свое дело: Руканов сорвался «с резьбы», чего доселе за ним не замечалось.

– Всем некогда! – Голос его сорвался на какой-то петушиной ноте. – Вы думаете, у меня есть время заниматься вашими делами?

Долотов вопросительно посмотрел на Гая, тот, в свою очередь, не менее недоуменно

установился на Руканова.

– Какими делами?

– Такими! Из-за вашего поведения в семье!..

– Володя! – крикнул Гай и, не зная, что еще сказать, поглядел на Долотова, но тот уже выходил из кабинета.

Смутное лицо Гая стало свекольно-красным. Некоторое время он вышагивал вдоль окон кабинета, обращенных на летное поле, пытался успокоиться и, не совладав с собой, заговорил так, как никогда и ни с кем не говорил:

– Кто дал тебе право быть судьей чужой совести? Кто позволил тебе говорить ему такое? Да еще перед полетом? Ты подумал, что твои слова будут давить ему на затылок, пока он будет в воздухе? Называешь себя руководителем, а вместо того чтобы в интересах дела побеспокоиться о самочувствии летчика перед вылетом, самым диким образом взвинчиваешь ему нервы!

Появление в кабинете Белкина принудило Гая замолчать, а когда тот вышел, повинувшись нетерпеливому жесту Руканова, Гай закончил немного спокойнее:

– Вот что, друг, тебе нужно очень старательно учиться работать с людьми. Запомни мои слова. А характеристику или переписи, или будем говорить у начальника базы.

И, не дожидаясь ответа, Гай выскочил за дверь.

Пал Петрович заканчивал гонять двигатели.

Передвинув пластиковые ручки секторов газа, он выстроил стрелки указателей оборотов двигателей в одинаковое положение и неотступно следил за ними и за всем комплексом моторных приборов. За его спиной, за выхлопными отверстиями двигателей бушевал ураган, оглашавший аэродром тем особенным сдержанно рокочущим звуком, в котором угадывалась еще не освобождения до конца сила, как будто недоумевающая по этому поводу.

Но вот Пал Петрович включил форсаж, и все на километры вокруг потонуло в торжествующе-адском грохоте.

«...Этим жестянкам наплевать, кто на них будет летать, – думал Долотов, с усилием, будто против ветра, шагая сквозь грохот. – Вот как убого выглядит все го, во что исходит моя душа, моя жизнь».

И как в отчаянном крике в ночи угадывается не только зов о помощи, но и злодеяние и бедственное бессилие человека, этот громогласный рев воспринимался Долотовым, как содержащий в себе и дикое торжество враждебных сил, и неоспоримые приметы его поражения...

Когда он подошел и стал подниматься по стремянке, Пал Петрович уже закончил подготовку самолета к вылету и стоял у консоли крыла, немного исподлобья глядя, как Долотов, тонкий и ловкий, с привычной легкостью забрался в кабину и опустился в кресло. А после того как над его головой захлопнулась остекленная крышка фонаря, старому механику, как всегда, показалось, что Долотов спешит отгородиться от всего на свете.

Но все было не так.

Долотов садился в самолет с таким чувством, будто делал это в первый раз. Он не обнаруживал себя на своем месте в машине, на которой отлетал два года. И рядом не было второго летчика, живой души. Не было во второй кабине и штурмана, потому что не было второй кабины.

Пришел на память давний разговор с военным летчиком. Они испытывали ракеты, стартующие под крыльями самолета-носителя. Вначале летали по очереди. Потом самолет стал поднимать в воздух две ракеты разом; одну под левым крылом, другую под правым. И как-то перед пуском Долотов, сидевший в правой ракете, услышал в своих наушниках: «Боря, а вдвоем совсем другое дело!» – «Ты же не видишь меня?» – «Как не вижу, вон конец твоей подвески!»

Великое дело – второй летчик. Просто человек рядом, когда неможется одному.

Сам того не замечая, Долотов старался сесть поудобнее, пытаясь убедить себя, что все дело в перерыве, «в отвычке», – стоит только оторвать машину от земли, и они начнут как следует понимать друг друга. Тогда все восстановится, все вернется к нему, и кабина не будет казаться колодцем, железной дырой...

Он принялся делать предполетные включения, блуждая по тумблерам в полузабытом порядке. Память казалась неповоротливой, каждое движение сопровождалось неуверенностью, сковывалось подозрением, что он делает что-то не так. Холодя шею, от висков стекали капельки пота.

А как просто садиться в кабину, когда в тебе жива постоянная способность проникаться уверенностью, что ты со всеми своими чувствами понимаешь машину и, оторвавшись от земли, тебе затем ничего не стоит «сойти с неба» на землю со скоростью под триста километров в час, прижаться колесами, в которых тоже частица твоих способностей, твоих мускулов, к неподвижной земле, готовой покорно, в спокойном согласии с твоим умением принять тебя, как в ладони, на бетонной равнине.

Как и куда исчезает все это? И почему? Долотов не знал. Ему казалось, что все, что он думал сейчас, что испытывал, несвойственно ему, алогично, болезненно, приходящие на ум слова были как будто не его и сам он – непонятен себе, и все то, чем и как он пытается справиться с собой, похоже на заклинания. А ему нужна ясность, трезвость, привычная последовательность и точность в общении с самолетом.

Это было самое худшее, что только может навалиться на летчика – боязнь летать. Эта напасть, это всеразрушающее состояние часто необъяснимо, неизвестно как появляется и неведомо отчего исчезает. Но когда оно охватывает человека, то от одного предощущения полета, от сознания необходимости садиться в кабину, захлопнуть над собой остекленную крышку фонаря и остаться одному, ощутить на ставшей болезненно чувствительной коже широкие жесткие ремни кресла, прикасаться пальцами к стальным замкам-застежкам, а затем почувствовать себя связанным со слепой силой самолета, с его способностью подняться на многокилометровую высоту и носиться там с неистовой скоростью, – от всего этого сам вид самолета вызывает отвращение. Еще до того, как подойдешь к нему, заберешься в кабину и, путаясь в каждом движении и обливаясь холодным потом, станешь включать и опробовать, что нужно, еще до всего этого боязнь полета выливается в губительное подозрение в твоей неумелости управлять машиной, в абсолютной неспособности твоего опыта, в неправильности твоих знаний, в неумении распорядиться ими. Тебя одолевает глубокое, неверие в надежность машины, чувство твоей несоединимости с ней, чужеродности, а твоя жизнь в сравнении с риском потерять ее – такой неравной самолету, что начинаешь всерьез воображать себя приговоренным разделить судьбу с роботом...

У только что вернувшейся к зданию летной части девушки-шофера екнуло сердце, когда она заметила бегущего со всех ног к РАФу Гая-Самари. «Господи, опять что-то случилось!..»

Запуская мотор, Надя лихорадочно перебирала в памяти всех, кого сегодня подвозила к самолету: Чернорая с экипажем, улетевшего в Москву, Боровского и Извольского, чуть не каждое утро летавших на парадных самолетах. Кого еще?

– К дублеру, голубушка!.. Побыстрее, милая!

«Уж не решил ли Борька, что милое заявление Володи появилось на свет при моем участии?..» – думал Гай, сидя в РАФе. Но тут же он отбросил эту мысль – и потому, что она показалась дикой, и потому, что главной заботой сейчас для него было не гадать, что думает о нем Долотов, а «отбить» вылет дублера.

«Каким же глухим занудой надо быть, чтобы сказать такое человеку перед полетом!» – Гай-Самари легко представил, что творится теперь в душе Долотова.

Дублер стоял там, где обычно стояли опытные машины – возле ближнего к зданию летной части отбойного щита, тянувшегося от въезда на стоянку до рулежной полосы, вдоль которой располагались бытовые помещения, мастерские и различные склады службы эксплуатации самолетов.

Над срезом кабины, за стеклами фонаря Гаи заметил склоненную голову в защитном шлеме: Долотов занимался предполетными операциями. К приставленной к фюзеляжу стремянке неторопливо шел Пал Петрович, как видно, собирался откатить ее в сторону.

При виде насупистого лица бортинженера Гаю стало полегче.

«Ты-то мне и нужен, дорогой!»

Не дав Пал Петровичу оттащить стремянку, Гай осторожно взял его под руку и, увлекая

подальше от мотористов, негромко сказал:

– Дело есть, Пал Петрович... Тебе как Долотов показался? В смысле настроения?

– Настроение? Хрен его разберет, какое у него настроение. Всю дорогу как мешком из-за угла трахнутый. А что?

– Не годится ему сегодня летать, нужно «отбить» полет, понимаешь? Я не могу тебе сказать, в чем дело, но у него на душе неладно. Сделай что-нибудь, а?

– Понял, Кузьмич. Сделаем.

Все так же медленно ступая по пупырчатым ступенькам стремянки, Пал Петрович поднялся вровень с головой Долотова.

– Ты вот что – вылазь! – сказал он, махнув рукой. Долотов откинул фонарь, переспросил: ему плохо было слышно с застегнутым шлемом.

– Вылазь, говорю! – крикнул Пал Петрович.

– Почему? – Долотов смотрел на бортинженера.

– Почему, почему... ВСУ<sup>2</sup> не работает. Говорю, вылазь! Полетишь, когда машина исправная будет!

Долотов посмотрел на РАФ, возле которого с независимым видом прогуливался Гай-Самари, и снова поднял глаза на Пал Петровича.

– Погоди, тут, говорят, Разумихин. Специально приехал. Тебе же попадет.

– Не твоя забота.

Долотову пришлось выбирать. А когда он спустился на землю, снял шлем, уложил ремешки внутрь каски и сунул ее в синий чехол, то вспомнил, что здесь только что был Гай. Долотов огляделся, но ни РАФа, ни Гая уже не было видно. И только неведомо откуда примчавшийся Белкин в отчаянии взмахивал руками, выслушивая Пал Петровича.

Едва Долотов поднялся в диспетчерскую, туда вошел Гай-Самари – его вызвал по телефону Добротворский. С первых же слов Долотов понял, что он тоже имеет касательство к разговору.

– Нет, Савелий Петрович, дублер сегодня не летал. Видите ли...

– Вот и хорошо, – сказал Добротворский. – Я сейчас говорил с Соколовым, он велел наложить запрет на полеты до особого распоряжения.

– А что? Какая причина, Савелий Петрович?

– Журавлев обнаружил какой-то дефект в арматуре гидросистемы.

«Выходит, ты умница, – похвалил себя Гай. – Просто удивительный умница!»

«Что же он нашел?» – выслушав Гая, подумал Долотов и вспомнил встречу с Журавлевым.

Неделю спустя после заключительного заседания аварийной комиссии Долотов увидел гидравлика в коридоре инженерного здания КБ. Журавлев с подчеркнутой торопливостью посторонился и, застенчиво улыбаясь, поклонился с почтением, которое, несомненно, доставляло ему удовольствие. Немного смущенный этим церемонным, хотя и искренним, проявлением уважения, Долотов остановился: в подобных случаях всегда неловко пройти мимо, не перекинувшись словом.

Они поговорили о результатах работы на тренажере и сошлись на том, что тренажер штука хорошая, да всего не «обыграешь». А когда Долотов поинтересовался, как подвигаются испытания гидравлической системы С-224, Журавлев взял его под руку и провел в просторный зал лаборатории – стеклом, кафельными полами, белыми стенами и белыми халатами рабочих напоминавшей какое-то медицинское учреждение. В центре зала и у стен рядами стояли стенды, в машинном отделении, расположенном за стеной лаборатории, гудели мощные электродвигатели, приводившие в действие точно такие же гидравлические насосы, какие стояли на самолете. В распахнутом халате, при каком-то селечочно-сером галстуке, в пестрой сорочке со свернувшимся воротником – как это всегда случается у людей с короткими шеями – Журавлев обстоятельно рассказывал об испытаниях гидроприводов, которые он проводит со значительным превышением обычных нагрузок, чтобы компенсировать температурные,

---

<sup>2</sup> Вспомогательная силовая установка.

вибрационные и другие влияния на изделия в полетных условиях.

– Ну а как ваша дочь? – спросил Долотов напоследок.

– О, спасибо! Дома. Правда, экзамены придется сдавать осенью, но это уже детали, как говорят!

– Я рад за вас.

Журавлев очень растрогался и, провожая Долотова, никак не мог справиться со смущенной улыбкой.

«Вовремя это у него вышло, – с чувством благодарности к Журавлеву подумал Долотов. – Мне нужно передохнуть, иначе я не потяну».

## 6

С работы ехали вместе. Даже когда Витюлька задерживался, Долотов не решался один появляться в квартире Извольских, где жил второй месяц. А сегодня что-то особенно затянулось послеполетное совещание участников будущего авиационного парада, или «потешного войска», как называл их Костя Карауш. От фирмы Соколова для пролета на празднике выделили два перехватчика типа С-04, одним из которых управлял Боровский, другим – Извольский.

– Сегодня решили нашей группе придать еще самолет, – сказал Витюлька.

– «Ноль четвертый»?

– Нет. Какой-то разведчик.

Выбравшись из леса, дорога потянулась вдоль полей, еще темных, пустых, с пятнами нарастающего снега в разлтых лощинах. Оранжевое зарево заката, мутное, словно припорошенное пылью, долго стояло перед глазами, назойливо мешая глядеть на дорогу. Но едва начался пригород, как стало темно, будто уже ночь на дворе.

Ехали молча. Обоих в равной степени обескураживала предполагаемая Журавлевым, и как будто вполне вероятная, причина трагедии; неизвестность, казалось, скрывала нечто более значительное, неведомая причина представлялась сложной, загадочной, и такая она не то чтобы мирила с исходом, но выглядела как-то соотносительно с ней. Но когда тебе показывают трубчатый наконечник шланга и говорят, что все из-за него, на душе становится скверно и никак не хочется верить, что столь малое послужило единственной причиной гибели человека.

– Томка обещала прийти. Часам к восьми. С Валерией, – Извольский посмотрел на сидевшего за рулем Долотова. – Ты незнаком?

– Нет. Кто такая?

– Лешкина невеста. – Заметив на себе пристальный взгляд Долотова, он прибавил: – А девушка, Борис Михайлович, – египетская царевна, только говорит по-русски! Да что там, сам увидишь.

Друзья замолчали.

...После аварии, в которую попал Извольский во время испытаний истребителя, дома все чаще стали говорить, что ему пора бросить летную работу. Витюлька отшучивался: «Кому суждено быть повешенным – не утонет». Но не мог не видеть, что его пребывание в госпитале оставило тяжелые следы на облике матери: она похудела, стала рассеянной и, стараясь показать, что с ней ничего не произошло, что, слава богу, все обошлось, суетилась с деланной веселостью, не замечая, как жалка она в непосильных попытках скрыть одолевающую ее тревогу, всегдашний страх за его жизнь, прорывающийся в каждой улыбке, слове, взгляде. В первый день после возвращения из госпиталя, когда мать ткнулась в его грудь, Витюлька заметил, что голова ее стала совсем белой, но, главное, волосы были прибраны кое-как. Эта неопрятность, ставшая с тех пор обычной, угнетала Витюльку, доказательнее всего убеждала в непоправимой душевной надломленности матери, чему виной был он, единственный ее сын,

А тут – гибель Лютрова, которого мать хорошо знала, и, что особенно на нее подействовало, видела незадолго до катастрофы.

Вернувшись домой после ночи, проведенной на месте падения С-224, Витюлька застал в квартире гостей: двоюродного брата Сергея, прилетевшего на несколько дней из Новосибирска вместе с дочерью Таней, или Татой, как ее звали домашние. Ее-то он и увидел первой, едва

переступив порог квартиры.

- Ой, дядя Вить!.. – испуганно охнула она, забыв поздороваться. – Тут такое было!
- Ты чего, как Шерлок Холмс?.. Что тут было?
- Врача вызывали!
- Кому вызывали?
- Бабушке! Она как узнала, что у вас там...
- Кто сказал?
- Она позвонила тебе, когда мы приехали, чтобы сказать... Вот. А ей сказали...
- Что с ней?
- Спит. Ей лекарства дали.

В большой комнате друг против друга сидели отец и Сергей. Витюлька сдержанно обнял брата, покосился на отца и присел к столу.

Дома Витюлька был совсем не тем улыбочатым рубахой-парнем, каким его знали на работе. Здесь он словно попадал в другой механизм жизни, заставлявший его не только двигаться медленнее и осмотрительнее, но и думать и говорить по-иному. Здесь, с одной стороны, была любовь матери, скорой на слезы, вызывающая сострадание и потребность казаться таким, каким она видела его, с другой – холодная суровость отца, для которого Витюлька был спортсменом, а значит, неудавшимся, непутевым сыном.

– Ну, как твои муравьи? – спросил он, не зная, о чем заговорить с братом, которого откровенно недолюбливал.

– Спасибо. И муравьи живут, и нам жить дают. Мы тут о тебе говорили, – по-родственному начал брат, в Витюлька вспомнил, что вот это подчеркивание своей родственности, выражавшейся всегдашней готовностью встать на сторону старших в семье дяди-профессора (которому племянник был весьма и весьма обязан), как раз и было неприятно Витюльке. – Не пора ли бросить твой аттракцион, а? Ты был неплохим инженером – вдруг стал летать!..

- Инженерил я всего ничего, а летаю шестой год.
- Но зачем? Что у тебя в перспективе?
- Мне удобнее так. Без перспективы.
- Но это глупо. Как минимум.
- Надо же кому-нибудь быть и дураком в этой компании: отец профессор, брат кандидат.
- Доктор.
- О, виноват, ваше степенство!

Маленькая голова отца с каштановой шевелюрой и такой же бородкой дернулась. Захар Иванович обеими руками указал племяннику на сына.

– Вот в попробуй поговори с ним в таком стиле! Как об стенку горох!

– Для человека твоей культуры, – голосом наставника продолжал брат, – потомственного, так сказать, интеллигента, посвятить жизнь летному ремеслу? Согласись...

И тут Витюлька, очень трудно проживший эти дни, заговорил совсем невежливо:

- Ремеслом, ремеслом!.. А кому, по-твоему, заниматься этим ремеслом? Сермяжной силе?
- От каждого по способностям, – голосом избранного отозвался Сергей.
- Брось!.. Давно уже не по способностям...

– Видишь? – Заранее зная исход разговора, отец встал. – Он избрал профессию из принципиальных соображений! Дело твое. Ты не мальчик. – В голосе отца была скорбь и торжественность. – Но подумай о матери. Долго ли она протянет в этом ежедневном ожидании?

После ухода отца Сергей снова заговорил, изменив голос до приближенного к дружескому, но Витюлька непотребно обозвал его и ушел в свою комнату.

Но и это было еще не все. Томка, у которой Витюлька искал утешения, тоже внесла свою лепту к одолевающим его горестям.

Он не узнавал ее во время похорон Лютрова, даже не подозревал, что может увидеть ее такой – столько заботливости было во всем, что она делала, ничуть не брезгуя теме обязанностями в отношении покойника, которые обычно берут на себя женщины немолодые, проводившие на своем веку не одну домовину. Извольский не знал, что они, Томка и жена Гая, делали в морге, откуда вынесли обряженного в погребальную одежду Лютрова, но Томка

неизменно была рядом – и там, и во время панихиды, и у могилы, где говорились прощальные слова. Томка не плакала, во всяком случае, Витюлька слез не видел.

Она то и дело склонялась к гробу и смахивала уголком кружевного платка налетавшие на лицо Лютрова снежинки. И как будто даже не слышала, как над погостом, отдавая последнюю почесть погибшему, пронесся Гай на истребителе.

А несколько дней спустя, заглянув в квартиру, где она жила вдвоем с сестрой и где его не ждали в этот вечер, Витюлька застал у них кучу друзей, а Томку отыскал на кухне с каким-то парнем, которого она бесцеремонно оттолкнула. Парень отправился к столу, где пели «у моря, у синего моря», а покрасневшая Томка смотрела на Извольского недобро блесневшими глазами.

– Мне уйти? – спросил он.

– Как хочешь.

– А как ты думаешь?

– Ничего я не думаю. Это ты второй год думаешь. «Ах, Томочка, погоди, вот папа, вот мама...»

– Но пойми, не могу же я...

– А что ты можешь? Летать? Ну и летай. Лешка долетался... Только и слышишь, кто-то чего-то строит, куда-то летают, потом собираются вместе и радуются, психотики!.. Хвосты, винты, покойники!.. А я живой человек – баба... как нетрудно заметить. Чего мне ждать?..

Выговорившись сгоряча, Томка замолчала. Она не умела долго сердиться и, когда заметила, что всерьез расстроила Витюльку, улыбнулась и повернулась к нему спиной: «молния» на платье была словно рассечена от затылка до пояса.

– Застегни... этот дурак не с того конца принялся. – Томка прыснула и залилась смехом.

А он глядел на обнаженную ложбинку на спине Томки и с тоской чувствовал ее правоту. И вместе с тем именно в эту минуту, слыша за собой дурашливое пение, Извольский куда как ясно понял, что Томка по природе своей ни в малой степени не способна проникнуться его жизнью, да и ничьей другой; что там, где она восхищала Витюльку, и там, где унижала его, Томка оставалась сама собой. Она не знала и не понимала душевных привязанностей и была, в сущности, ничейной. Домогавшиеся ее мужчины едва ли не все были одинаковы для Томки. Этим и объяснялась нерешительность Извольского, когда дело касалось их будущего. Никаких других изъянов он не мог бы поставить ей в укор. Она не была ни корыстной, ни вздорной, ни бездельницей, ее требования к жизни были просты, интересы не шли дальше того, что популярно, то есть способно увлекать многих. Но когда Витюлька пытался разобраться, отчего судьба обнесла ее простой бабьей чуткостью, сердечностью, на душе становилось так путано и непроглядно, словно он наглотался темноты.

Любил ли он ее?.. Просыпаясь рядом с ней и глядя на уткнувшуюся лицом в подушку Томку, он не мог оторвать глаз от ее полных, чуть розовеющих плеч, от выпростанной из-под одеяла ноги, от всего ее великолепного тела, сильного той особенной женской спокойной силой, которая и радовала в приводила в отчаяние неутолимым, несмолкаемым влечением к себе. И тогда Витюлке казалось, что он любит ее, что самым важным является вот это его нестихающее влечение к ней, а все остальное, все то, что называют несхожестью натур, представлялось третьестепенным, чем-то таким, о чем говорят, когда не видят и не любят того, что видел и что любил он в Томке. Ему и в голову не приходило, что какая-то другая, пусть умная и всепонимающая, но другая женщина могла оказаться рядом с ним.

Иногда в такие минуты Томка спрашивала:

– Хороша?

– Чудо.

– Женился бы?

– Маленько погоди. Предки никак не очухаются от моей первой женитьбы.

Это противоречие ума и чувств чем-то напоминало ему как будто и не относящийся к делу случай. Был он в командировке, попал на базарную толкучку и увидел старуху, продававшую брелок на цепочке. Цена рубль. Брелок медный, цепочка тоже. Зачем-то подержал в руке, положил. А как отошел, вдруг подумал: а старухе-то нужен этот рубль! Почему не купил? Попроси она, дал бы десять, а не купил... Дать и заплатить. Двое в одном человеке решают это: один рассудком, другой сердцем. Витюлке не жаль было для Томки и самой души, но, когда он

начинал думать о ней как о жене, вывод был неизменным – нет, не годится.

Но если она отказывала ему в свидании, он чувствовал обиду, унижение, как это случилось совсем недавно, когда он позвонил ей. Разговор вышел дурацкий.

– Что, соскучился? – отозвалась она, и тут же на другом конце провода завязалась бесшабашная перебранка. – Это сестра, – объяснила Томка. – Спрашивает, с кем я? Говорю, с женихом. Она говорит, кто такой? Я говорю, ты...

Послышался отдаленный бестолковый смех старшей сестры.

– Слышишь, смеется?.. Чего? Это я сестре... Спрашивает, когда свадьба?

– Я увижу тебя сегодня?

– Не могу. Занята. Да ну тебя!.. Это я сестре. «Пьяные они, что ли?» – в досаде подумал он, кладя трубку.

Вскоре после этого разговора, не зная на что потратить воскресенье, Витюлька отправился в Радищево па старой отцовской «Волге». Захар Иванович собирался в ежегодную весеннюю командировку и попросил Витюльку привезти хранившиеся на даче болотные сапоги, спальный мешок и прочие предметы походного снаряжения, которое использовалось Захаром Ивановичем в его странствиях по заповедникам. Притормозив у светофора, Витюлька поднял глаза к окнам вставшего рядом троллейбуса и, скользнув взглядом по лицам пассажиров, увидел Валерию. Она тоже заметила его и обрадовано кивнула, когда он жестом пригласил ее занять место рядом с ним. Проехав перекресток, Извольский прижал машину к тротуару. Он очень волновался те несколько минут, пока ждал ее. А когда увидел, сначала торопливо шагающую среди прохожих, потом рядом, немного растерянную и смущенную, все его любовные перипетии вдруг показались ему ничтожными, глупыми, нечистыми в сравнении с этой девушкой, с тем особым чувством приязни и близости к ней, в основе которого лежала причина по-человечески важная, скорбная.

– Витя!.. Господи, даже не верится!

– А я увидел и думаю: она?..

Рассказывая, как они прожили все это время после гибели Лютрова, и Валерия и Витюлька старались упомянуть о самом важном, но ничего или почти ничего не прибавляли к тому, что было известно обоим и что сообщалось им самой встречей, тем, что они, как двое несчастливых детей, сидят вместе и слушают друг друга. Витюлька говорил, как разыскивал Лютрова, что мешало, и выходило так, словно эти розыски и то, что им мешало, оправдывали какую-то его, Витюлькину, невольную вину. И Валерия в том же тоне несколько раз возвращалась к обстоятельствам, которые задержали ее в Перекатах, не позволили приехать до трагического полета, и выходило так, будто более удачные розыски останков самолета или своевременный приезд Валерии могли бы изменить ход событий.

Потом, словно бы делясь с ней самым горьким, Извольский рассказал, как увидел через стекло кабины натянувшиеся ремни кресла, затем склоненную голову Лютрова и вначале подумал, что он жив.

И она, сразу же поддавшись этому тону, стала рассказывать, где и каким образом услышала о гибели Лютрова, и говорила так, как говорят о том, чего не понимают, не в силах понять.

– Я тогда упала... – неожиданно сказала она и заплакала, потому что, вспомнив, как она упала, она вспомнила и тогдашнюю боль в коленях, а затем и до ужаса ясно весь тот день.

И сколько бы Извольский ни уверял ее, что понимает, каково ей пришлось, в ответ она отрицательно качала головой, стыдясь своих слез и не в силах сдержать их. Нет, он не знает и не может знать даже сотой доли тех мучений, которые она вынесла и которые не только не утихли, но напоминают о себе ежечасно!..

При взгляде на ее волосы, по локти укрывшие прижатые к лицу руки, на вздрагивающую спину, на всю ее сжавшуюся в отчаянна фигурку Извольскому с какой-то жуткой радостью вдруг открылось, что нет и во всем свете не может быть никого столь же близкого ему, как она! Забыв о своей невзрачности, движимый охватившим его порывом нежности, он положил ей руку на плечо, привлек к себе и принялся успокаивать, словно ребенка, уверенный, что душа Валерии открыта для его участия.



Когда Долотов перебрался к Извольскому, его отец, Захар Иванович, был в отъезде, в каком-то уральском заповеднике, и в большой квартире Витюлька жил вдвоем с матерью, Инной Филипповной, которая нетерпеливо ждала тепла, чтобы перебраться на дачу, к своим грядкам с нарциссами. Почти все вечера проводили дома. Иногда Витюлька собирал преферансистов: звал старичка соседа, звонил Игорю – школьному товарищу, ученому-металлургу, худому, нескладному парню, имевшему привычку, играя, приговаривать: «Карта слезу любит» – и при этом делать жалостливое лицо с любой мастью на руках. Когда партнеров не было, преферанс заменяли «дураком» – единственной карточной игрой, знакомой Инне Филипповне. Она не могла играть так, чтобы не жульничать, и, если ей удавалось одурачить мужчин, хлопала в ладоши и радовалась, как девочка.

Как-то в поисках партнера Долотов вспомнил об Одинцове и отыскал в записной книжке его визитную карточку.

С тех пор журналист стал своим в доме Извольских. Он являлся всегда чисто выбритым, в хорошо отутюженном костюме, безукоризненно кланялся направо и налево, не забывая спросить Инну Филипповну о ее цветах. И когда снимал пиджак и оставался в белой сорочке с чуть ослабленным галстуком, то и в этом нарушении безукоризненности проглядывала тренированная небрежность в границах той вольности, которую может себе позволить воспитанный человек в мужской компании. Понравился он и металлургу, тут же предложившему Одинцову познакомить его со своей бабушкой, бывшей журналисткой.

– Особа презабавная. Вам понравится, вот увидите!

На лице Одинцова появилось сложное выражение комического восторга от перспективы познакомиться с «забавной бабушкой, которая ему понравится», однако он пообещал прибыть на плов, который металлург грозился «изобразить» из ханского риса по случаю того, что его работа в области жаропрочных сплавов принята на рассмотрение Комитетом по Государственным прениям.

– Есть надежда? – спросил Одинцов, почтительно понизив голос.

Игорь ответил косвенно:

– То, что сделали мы, никому до сих пор не удавалось.

– Ну, помогай вам бог.

Они доигрывали пульку, когда в прихожей послышался громкий, с придыханиями, как от быстрой ходьбы, голос Томки, приветливо сетующей Инне Филипповне на никудышнюю погоду. У Долотова медленно и гулко забилося сердце. Не решаясь повернуть голову, чтобы посмотреть в проем раскрытой двери, он делал вид, что размышляет над картами. Еще не слыша и не видя ее, он знал, что она пришла, здесь, среди всех других шагов он различал ее шаги, и внутренне замирал в ожидании ее взгляда, представляя, каково будет ей узнать его и что она почувствует при этом.

Наконец шаги затихли, несколько секунд в дверях слышался легкий шелест, шевеление, дыхание вошедших. Витюлька представил сначала девушек, потом мужчин, в только тогда, преодолевая страх и смятение, Долотов повернул голову, поднялся... –

На Валерии была черная юбка, красная кофточка и черно-оранжевая косынка, повязанная вокруг шеи.

И едва Долотов взглянул на нее, как сразу понял, что ничто до этой минуты так не уличало его в виновности гибели Лютрова, как вид стоявшей в дверях высокой девушки, – так действительно, так отчаянно напоминала она Лютрова.

«Только такой она и могла быть», – подумал Долотов, хотя и не смог бы объяснить, почему эта мысль пришла ему в голову.

А Томка, оглядев незнакомых мужчин, улыбнулась по-своему, немного застенчиво, будто и рада была выглядеть не так привлекательно, да ничего не может с собой поделаться.

Валерия присела на большой старинный диван, и теперь Долотов совсем близко увидел ее темные и какие-то неуверенные глаза.

Переводя их с одного лица на другое, Валерия на несколько секунд задержала взгляд на Долотове.

«Так это вы? – прочитал Долотов на ее лице. – Тот самый, ненавистный мне, везучий человек...»

«Что же теперь делать?» – мысленно ответил он.

По тому, как Одинцов вдруг засуетился, торопливо надевая пиджак и присаживаясь на другой край дивана, по нацеленному на Валерию вниманию, которое чувствовалось в каждом движении журналиста, было ясно, что она произвела на него впечатление.

– Вы тоже летчик? – не очень заинтересованно спросила Валерия, не зная, что сказать в ответ на вежливую пристальность, с какой рассматривал ее Одинцов.

– Был, – ответил за него Долотов, подмываемый неприязнью к журналисту, к этой его свободе в общении с Валерией, к самой возможности такой свободы. – Но ему стало скучно. Теперь он писатель. Привлекает девушек своим внутренним миром. Писатели понимают толк в красивых девушках, – сказал Долотов, ловя себя на желании выглядеть грубым и бесчувственным в глазах Валерии.

Одинцов снисходительно улыбнулся и поглядел на Валерию так, словно приглашал ее познакомиться с той манерой шутить, которая принята между ним и Долотовым.

– В этом все понимают толк, – заметила Томка. – И писатели и дворники. Верно, Игорь? – По свойству всех привлекательных женщин она старалась обласкать своим вниманием самого неприметного из мужчин.

Испросив позволения закурить, Одинцов протянул Валерии пачку дорогих сигарет.

– Она не курит, – упреждая ответ Валерии, сказал Извольский.

– И правильно! – так же решительно согласился Одинцов, как только что предлагал закурить. – Теперь, куда ни глянь, всюду дамы чадят.

Тихо вошла и что-то сказала сыну Инна Филипповна.

– Позвонки, чай с пирогами будете? – спросил Извольский и тут же повернулся к матери. – Будут, ма.

– Так и неизвестно, что произошло с самолетом? – спросил Игорь, когда Инна Филипповна вышла.

В наступившем тягостном молчании все, кроме Игоря, посмотрели в сторону Валерии, и она смешалась, не зная, как следует вести себя. Глаза ее сухо блестели, а вслед за минутной бледностью на лице проступили красные пятна. Глядя на нее, ни с того ни с сего покраснела и Томка.

– Витя говорил, самолет взорвался, – сказала Валерия, почему-то решив, что от нее ждут каких-то слов. – Я ничего не поняла...

Извольский и Долотов переглянулись.

– Никто ничего не понял, – хмуро сказал Витюлька. – В том-то и дело, никто ни черта не понял.

– На Западе в этом случае ссылаются на божью волю, – вздохнул Одинцов.

«Тебе-то что? Ты чего лезешь не в свое дело?» – мысленно одернул его Долотов, по-прежнему находящий что-то защитительное в своей грубости.

– Бога нет, – негромко отозвалась Валерия таким тоном, словно безуспешно пыталась найти бога.

– Есть. – Долотову показалось, что он понял, какой бог ей нужен.

Одинцов повернулся к нему с выражением заинтересованного ожидания на лице, и это насторожило всех.

– Не тот, в которого вы не верите. Хотя и это неплохой вариант. Ничем не хуже других.

– По-моему, все они одинаковы, – перебил Одинцов, небрежно махнув рукой. – Все происходит из неспособности человека понять мир и самого себя. Богов рождает спрос на божественные откровения, то бишь всепонимание! А поскольку даже самого захудалого божка принимают за субстанцию, за начало всех начал, остальной идет как по маслу. Боги все слышат, все видят, все понимают, они безначальны и всемогущи. Боги дают законы племенам людей, на всякий случай оставляя между ними беззаконие...

«Ну не сучий ли сын! – думал Долотов. – Кто тебя просит с твоей грамотой?»

– Не понимаю... – Валерия хотела что-то еще сказать, но Долотов перебил.

– Думаете, он понимает? В его голове всего навалом про всякий случай. Только копни. Писатели! Они всех превзошли. Строчат, советуют, наставляют, как жить, а дома жены дерутся.... Затейники.

Углубленно тасуя карты, Игорь прятал улыбку. Томка косилась на Долотова с опасливым любопытством, будто высматривала в нем нечто враждебное.

– А у вас какой бог? Удача, наверное? – спросила она.

– Удача – бог дураков и жуликов, – сказал Долотов.

– За удачу все-таки благодарят богов! – тонко улыбнулся Одинцов.

– Удача – это выигрыш.

– А если на карте жизнь?

– Чья?

Одинцов глянул в потолок с видом человека, который снимает свою кандидатуру.

– Мертвым никто не завидует, – сказала Томка.

– Только в отличие от живых мертвые сраму не имут. Одинцов заговорил о совести. Он вообще был склонен к серьезным разговорам в присутствии хорошеньких женщин... если рядом были мужчины. А Томке стало скучно.

– Ладно вам, в философию ударились. Кому погадать?

И пока она раскладывала карты и скороговоркой, на цыганский манер, предсказывала Игорю казенные хлопоты, Одинцов что-то негромко и старательно говорил Валерии, заставляя ее внимательно слушать, разглядывать его лицо – то ли настороженно, то ли с надеждой.

«Что он ей внушает? Свои взгляды на вещи? А на кой черт ей знать, во что верит и чему не верит Одинцов?» – подумал Долотов, глядя, как улыбается Валерия негромким словам журналиста, как он усаживает ее за стол, услужливо ставит поближе к ней чашку с чаем.

«Все это вызывает больше доверия, чем так называемые серьезные отношения. Таковы люди. Чем сложнее их зависимость друг от друга, тем больше обмана, подозрений, отчуждения», – думал он, наблюдая, как неотвязно смотрел на Валерию Одинцов, откровенно любуясь ее диковато-безучастными глазами, ее губами со скрытыми в ямочках уголками; нежно-вялые, они казались обветренными, но это не мешало им оставаться очень юными, а округлый подбородок придавал лицу восхитительное, чуть надменное выражение...

За чаем вниманием всех овладела Томка. Одинцов неплохо показывал карточные фокусы, Томка просила объяснить, как они делаются, пыталась повторять и первая хохотала над своей неловкостью, будто невзначай приваливаясь к плечу Одинцова.

Когда стали расходиться и, стоя в прихожей, выяснять, кому с кем по пути, Долотов сказал Валерии, помогая ей надеть пальто:

– Я вас подвезу домой, не возражаете?

Она растерянно посмотрела на Томку и ответила, слегка запнувшись:

– Меня... одну?

– Нам с вами по пути. А Витя проводит их. Одинцов сделал вид, что его устроит всякое решение Валерии, что ему все равно, с кем ехать, лишь бы добраться домой, и при этом, щурясь, говорил с Томкой, на которую смотрел взглядом единомышленника.

У подъезда Валерия постояла с Томкой, и отошедший к машине Долотов с волнением ждал, когда Валерия направится в его сторону. Услышав ее шаги, он принялся слишком поспешно, путая ключи, отпирать дверцу.

Усадив Валерию, он спросил:

– Куда ехать?

– Вы же говорили, нам по пути. Солгали? – равнодушно сказала она, словно не ждала от него ничего другого.

– Да, я живу у Извольского.

– А лгать нехорошо, совесть не велит. – Больше не буду.

– Каменная набережная, дом девять.

Некоторое время ехали молча. Невидимой пылью сыпала изморось, уличные огни искрились в мелких каплях на лобовом стекле.

– Почему вы живете у Вити? – Голос ее прозвучал сухо и требовательно.

– Больше негде.

– А все-таки?

– Так вышло. В двух словах не объяснишь.

– А почему вы обманули меня, можно объяснить в двух словах?

«Мне хотелось подружиться с вами», – у Долотова не хватило духу произнести эту фразу вслух.

Некоторое время она смотрела на него, потом отвернулась и до конца пути ни разу не взглянула в его сторону. Долотов подкатил к самому подъезду и, не выключая мотора, чтобы в кузове было тепло, попросил:

– Посидите со мной.

Двор был темный, а из-за света приборов в машине темнота на дворе казалась еще гуще. Мимо прошли двое: парень что-то сказал, поглядев на машину; девушка рассмеялась.

– Вы, наверное, знаете, Лютров полетел вместо меня... «Зачем я об этом?»

– Витя рассказывал. – Валерия сидела чуть наклонившись вперед и глядела вниз, в ноги. – Говорят, вы вообще везучий.

Она зябко поежилась и натянула на колени полы пальто.

– Понимаю. Это несправедливо... Во всяком случае, вы имеете право так думать.

– Ничего я не думаю. Извините, уже поздно.

Не поднимая головы и не поглядев на Долотова, она невнятно попрощалась и вышла, кое-как прикрыв дверцу.

«Вот и подружились, – вымученно усмехнулся Долотов. – А чего ты ждал? Она не может не видеть в тебе человека, причастного ко всем ее бедам, и не только не способна почувствовать какое-то дружеское расположение к тебе, но даже сидеть рядом с тобой было для нее мучением».

Все это после ее ухода стало так потрясающе ясно Долотову, имело столько доказательств, что теперь, вообразив, как выглядел он в ее глазах, не мог понять, как у него хватило решимости пригласить ее в машину, глупости – надеяться быть понятым, наглости – предлагать свою дружбу...

Поднявшись в квартиру, Валерия недолго думала о Долотове. Его широкие худые плечи, бледное плоскощекое лицо с резко выступающим подбородком, с неизменным, как бы застывшим выражением сумрачного спокойствия невольно заставляли предполагать в нем недобрую силу. А Валерия, едва оправившись от горя, обеспокоенная будущим, в котором все было неопределенно, невольно тянулась к людям мягким, простодушным. К тому же сегодня она устала. После работы ездила в загородный парк, где зимой часто бывала с Лютровым. Ей давно хотелось побродить там, но нужно было ждать, пока сойдет снег... И зря поехала. Никакого утешения это ей не принесло. Она долго ходила, оглядывая дорожки, скамьи, деревья, искала знакомые приметы, но так ничего и не нашла. «Прошло мое счастье», – думала она, возвращаясь и невольно вспоминая свое возвращение из Перекатов.

...Вначале она собиралась заглянуть на квартиру матери, но чем ближе подъезжала к Энску, тем сильнее хотелось ей сразу же забежать к Лютрову, благо поезд прибывал засветло. «Если не окажется дома, позвоню на работу», – окончательно решила она, не в силах думать ни о чем другом. Она стояла в коридоре вагона и, глядя в окно, ничего не понимала там, кроме того, что был ясный солнечный день и снегу оставалось совсем немного, а намерзшие за зиму черные потеки мазута на толстых боках цистерн плавилась и блестели на солнце.

Чем ближе Валерия подъезжала к Энску, тем определеннее испытывала какое-то болезненное беспокойство, переходившее в тревогу, как это бывало в детстве, когда она шла к кабинету врача: чем ближе, тем страшней.

Ее не очень огорчило, что Лютров не приехал в Перекаты, как обещал. Она понимала, что его могли направить в командировку, как это случилось, когда заболела бабушка и Валерии пришлось уехать, не дождавшись его возвращения. И все-таки беспокойство овладевало ею все сильнее по мере того, как по сторонам дороги стали мелькать знакомые пригороды Энска.

«А вдруг он дома, только приехал и читает мои письма? И я тут как тут! Он сразу же спросит о нем, ему непременно захочется посмотреть, насколько он вырос во мне...»

Но сколь зыбка была радость от вида знакомых пригородов, столь же малоутешительны были эти мысли без уверенности, что Лютров окажется дома. «Прошло мое счастье», – подумала она вдруг. И в глубине души испугалась, уверовав в правду этой мысли, и от страха боялась повторить ее про себя.

Но мысль эта уже не покидала ее, и оттого, наверное, освобожденный от снега, но еще не зеленеющий сквер у большого дома, где жил Лютров, совсем не радовал узнаванием, а казался чужим, незнакомым, неприветливым.

– Вам кого? – громко спросили за ее спиной, когда Валерия, стоя у дверей квартиры Лютрова, протянула руку, чтобы позвонить, а замерла, обнаружив приклеенные к дверям бумажки с печатями.

Позади нее с сумками в руках стояла только что вышедшая из лифта рослая женщина.

– Мне? – холодея от только что увиденных страшных бумажек, спросила Валерия. – Мне Алексея Сергеевича.

«Зачем я так. Надо было сказать: Лешу...»

– Или не знаете? – спросила Тамара Кирилловна, теперь уже негромко и жалостливо, вспомнив, что видела эту девушку вместе с Лютровым. – Погиб он. Более месяца как...

Тамара Кирилловна успела сказать еще что-то, но Валерия уже не слышала. Она выронила чемодан, ноги у нее подломились, а она тяжело ударилась спиной о дверь с бумажками...

Побросав сумки, Тамара Кирилловна едва успела подхватить ее.

«Я ведь знала, знала... Прошло мое счастье...» – подумала Валерия и ткнулась в грудь Тамары Кирилловны.

– Поплачь, поплачь, милая, – говорила та, смаргивая слезы. – Что же теперь?.. Так-то жизнь выстроена... Куда ты? Зайдем ко мне, чайку попьешь.

– Мне домой надо. Простите...

Стоя в лифте, она почувствовала боль в ушибленных коленях и вдруг испугалась: не случилось ли чего с ним? Валерия провела рукой по низу живота. «Как же мы теперь?» – подумала она, едва сдерживаясь, чтобы не опуститься на пол лифта и не зарыдать.

У подъезда стояла детская коляска со спящим ребенком. Вот и ее ребенок будет спать, просыпаться, играть погремушками, «а Леша и знать ничего не будет...».

Идти было трудно, подкашивались ноги. Надоевший за дорогу чемодан оттягивал руку. Добравшись до сквера, она опустилась на большую скамью. «Приду домой, лягу спать...»

Рядом присела полная женщина с чистым бледным лицом постаревшей девицы Марии. Потом к ней подошел стройный мужчина, чье лицо показалось Валерии знакомым.

«Да... – вспомнила она. – Это приятель Леша... Как же его зовут? Он мне в Перекатах цветы подарил, тюльпаны...»

Валерия долго смотрела на мужчину, ожидая, что и он взглянет в ее сторону, но он был хмур, сосредоточен и, разговаривая, глядел себе под ноги.

Валерия встала и медленно направилась вдоль сквера, к троллейбусной остановке. В самом конце его, в неудобном, неинтересном месте, где даже не подметали, на низкой, некогда белой, а на зиму облупившейся скамье, сидели двое: женщина в коричневом платье – сарафане, надетом поверх светло-серого свитера, натянуто улыбающаяся, с нарочитым равнодушием, но слишком часто глядевшая по сторонам, всматриваясь в лица прохожих не подолгу, однако старательно; и мужчина, высокий, с поднимающимися над скамьей коленями, с гладко причесанными, как приклеенными, волосами, с газетой в наружном кармане расстегнутого долгополого пиджака. И видно было, что оба из какого-то учреждения, сошлись после того, как целый день видели друг друга в служебном обличье, и теперь силятся и не могут одолеть в себе привычное, долгодневное, говорят о тех же сослуживцах, о конторских пересудах, и хотя знают, что не о том нужно и не так, но все время сбиваются и чувствуют себя жалкими, и еще недавно подогреваемое воображением желание быть вместе сникло, и что бы теперь ни произошло, не принесет ни радости, ни грешного удовольствия.

Когда Валерия проходила мимо, они замолчали, точно рады были передохнуть. А она, увидев этих людей, поняв их жалкую любовь, снова подумала: «Прошло мое счастье...»

В троллейбусе было тяжело от тесноты, от недовольных лиц пассажиров, мешавших друг другу. У входной двери женщина со сбившимся набок платком без конца крикливо повторяла:

– Пройдите вперед! Середина пустая стоит!

Добравшись домой, Валерия из последних сил умылась, разделась и легла на кровать, принуждая себя заснуть, но спать не могла. Лежа навзничь, она чувствовала, как бьется жилка у виска, слышала автомобили за окнами на набережной, и ей казалось, что с каждой секундой, с

каждым ударом сердца отодвигается, уносится прочь все, что было радостного в ее жизни, и вот все уже далеко-далеко, как если бы она попыталась вскочить на проезжавшую машину, но сорвалась, упала, а машина удаляется, уменьшается...

Утром она наведлась к Томке в ателье. Это был единственный человек в городе, к которому Валерия могла прийти со всем, что на нее обрушилось. И когда, наредевшись досыта, рассказала обо всем, та рассудила по-своему.

– Свет не видел дурехи! Ни вдова, ни мужняя жена – мать-одиночка!.. Ты что! Ну родишь, а дальше? Куда денешься? Твоя муттер сама на птичьих правах живет, муж по году в экспедициях, того и гляди молодую подцепит!... Не дури. Я знаю тетку...

Но как бы ни была она растеряна в своем горе, тетки, о которых говорила Томка, вызывали у нее гадливый ужас.

## 7

После недель затишья, наступившего вслед за трагическим событием, на летно-испытательной базе все пошло по-прежнему. Те же грохот и суэта на самолетной стоянке, те же сборы в полет, хлопанье дверец раздевальных шкафов, те же разноголосые телефонные звонки в диспетчерской, голоса ведущих инженеров.

– Донат Кузьмич!.. Время уходит! Полетный лист подписан, заявка дана, где экипаж?..

И все те же часы безлюдья в летных апартаментах после того, как самолеты один за другим покидали стоянку.

Почти весь апрель Долотов был свободен от полетов, невольно изо дня в день наблюдая, как суетятся другие, намеренно, как ему казалось, не интересуясь его делами, не замечая его безделья.

По утрам, когда пустела комната отдыха, он шел в диспетчерскую, сидел там с Гаврилычем, иногда отсиживал вместо него у телефонов или вместе с Гаем слушал рассказы старика о налетах на Ялту во время войны, о том, как немецкие прожекторы светили не снизу вверх в поисках его самолета, а сверху вниз – с горы Ай-Петри, в то время как он, скрытый от города облачностью, обрывавшейся над кромкой берега, летел у края облаков и бомбил порт.

По долгу службы обязанный поддерживать связь с КДП, пока самолеты были в воздухе, Гай-Самари тоже часами просиживал в диспетчерской и не однажды слышал истории Гаврилыча. Гай был на редкость терпимым человеком, умевшим принимать людей такими, каковы они есть. Он не замечал их слабостей не из показной воспитанности, а из свойства людей с большим сердцем воспринимать эти слабости как свои собственные. И только когда Гаврилыч начинал вспоминать о Лютрове, коричневые глаза Гая становились грустными, и у него вдруг появлялась надобность куда-нибудь уйти. Он никому не говорил, что значило для него потерять друга, но Долотов считал, что Гаю не так тяжело хотя бы потому, что его дружба с Лютровым не давала повода упрекать себя в чем-либо... Раскрытость Гая, его неизменное радушие к окружающим, на что раньше Долотов не обращал внимания, теперь представлялось ему самым нужным человеческим талантом.

Когда Долотов спрашивал, нет ли для него какой-нибудь работы, Гай неизменно разводил руками. Но Долотов не мог знать, что, если возникала нужда в летчике для какого-нибудь транспортного рейса и Гаврилыч напоминал о Долотове, Гай всякий раз говорил, что Долотова посылать нельзя, что у него вот-вот начнутся полеты на дублере.

– Молодых, Гаврилыч, молодых пошлем! Пусть похлебают командировочных щей.

Но дело было не в ожидаемых полетах на дублере. Внимательно приглядываясь к Долотову, Гай с каждым днем все больше тревожился. Подавленный вид Долотова, плохо выбритые щеки, неизменный черный свитер под неизменным серым пиджаком, все это вместе с непривычной для него медлительностью в движениях, безучастным взглядом, каким-то безразличием в голосе, очень настораживало Гая. Ему ничего не стоило посадить Долотова вторым летчиком в какой-нибудь служебный рейс, но он чувствовал, что это не поможет. А что могло помочь, Гай не знал. Слишком разительна была перемена в человеке, чтобы ее можно было поправить известными Гаю средствами. И он делал единственное, что мог: старался не нагружать Долотова работой.

Но о нем вспомнило начальство.

Гаю позвонил Добротворский и попросил прийти к нему вместе с Долотовым.

– Боря! – Гаю пришлось дважды позвать Долотова, прежде чем тот повернулся на голос. – Нас с тобой к генералу.

– К генералу? Зачем?

– У него Разумихин. Приехал оговорить программу испытаний лайнера на большие углы.

– А я тут при чем?

– Сейчас узнаем, – резонно заметил Гай, дружески обнимая Долотова за плечи.

– В кабинете Добротворского, кроме самого начальника базы, сидели Разумихин, Руканов и Боровский. Заместитель Главного выглядел озабоченным, говорил сухо, подолгу.

– Работа в некотором роде неожиданная, – начал Разумихин, когда Гай и Долотов присели к совещательному столу. – Еще недавно, как вы знаете, «большие углы» не составляли особой статьи испытаний пассажирских самолетов. В сертификате отмечались величины посадочного угла, соответствующие посадочной скорости, и, если самолет не требовал от летчика особой осмотрительности, особого напряжения или необычных навыков пилотирования, задача КБ считалась выполненной. Так было. Теперь же, по утвержденным стандартам, самолет не должен терять устойчивости на скоростях, значительно меньше посадочных. А значит, испытательные полеты должны проводиться с максимальным отклонением от расчетных скоростей. Чуете? Для лайнера дело непростое.

Разумихин повернулся к Боровскому.

– Как вел себя С-14 на больших углах?

– Тряска начиналась при выводе на угол восемь градусов, при скорости... – Боровский посмотрел на Долотова.

– Триста двадцать километров, – сказал Долотов, решив, что они с Боровским только затем и нужны Разумихину, чтобы посоветоваться о будущих испытаниях С-14.

– Верно, что-то в этом роде, – продолжал Боровский. – Потом тряска возрастала. Перед сваливанием была сильной.

– Да, – кивнул Долотов. – При скорости двести восемьдесят километров и угле атаки двенадцать градусов.

– У Бориса Михайловича голова посвежее, – сказал Боровский, как бы указывая начальству, кому из них двоих задавать вопросы.

– А как вела себя машина после сваливания? – спросил Разумихин.

– Есть записи, – вразумляющим тоном сказал Руканов. – Игорь Николаевич может не помнить...

– У Лютрова был сложный случай, – отозвался Гай, как бы не принимая замечания Володи. – Когда он потерял полетный минимум скорости, «девятка» резко задрала нос, потом свалилась на крыло, в штопор.

– То-то и оно! – как бы подводя невеселый итог, вздохнул Разумихин. – С-441 создавался на базе С-14, и, хотя у лайнера взлетно-посадочные характеристики лучше, то есть большая устойчивость по всем осям, предугадать, как он будет вести себя на этих режимах, – дело сложное. Нужна длительная серия полетов по кропотливо разработанной методике, которую тем не менее предстоит постоянно уточнять. Придется учитывать все – внешнюю среду, полетное состояние машины, смещение центра тяжести, количество и распределение топлива в баках, положение взлетно-посадочных узлов – шасси, предкрылков, закрылков, интерцепторов... Чуете, чем пахнет?

«Почему Чернорая нет? – мелькнуло в голове Долотова. – Ах да, – машина на какой-то выставке».

– Ну вот мы и подошли к самому главному, – сказал Разумихин, наваливаясь локтями на стол и сцепляя пальцы. – Вы двое, – он головой указал на Боровского и Долотова, – испытывали С-14 на большие углы. – Разумихин помолчал, видимо, вспомнил третьего – Лютрова. – Вам и карты в руки. Вячеслав Ильич хороший летчик, но у него совсем нет опыта полетов на таких режимах. А рисковать машиной и людьми... На лайнере нет катапульт... Словом, нужно сажать кого-то из вас двоих.

– Долотова, – сказал Боровский, не раздумывая, тем же тоном, каким говорил: «У Бориса

Михайловича голова посвежее».

Руканов суетливо перевел глаза с «корифея» на Долотова.

– У Игоря Николаевича предпарадные тренировки, причем строго по графику, – напомнил Добротворский.

– А у тебя какая работа? – Разумихин посмотрел на Долотова.

– Пока ничего.

– Предположительно, дублер простоит на доработках не более месяца, – заметил Руканов.

– Это бабушка надвое сказала, – заметил Разумихин тоном человека более осведомленного. – Но тебе, Борис Михайлович, достаточно будет помочь Чернорая только на первых порах. Он быстро схватит, что нужно.

Гай держал в руках металлическую скрепку и старательно сгибал и разгибал ее, не принимая участия в обсуждении. Он не был уверен в правомерности этой замены без согласил Чернорая, но возражать Разумихину не решался, ибо знал: обжегшись на молоке, дуют на воду. Осторожность начальства была вполне понятна.

– По степени сложности испытания на большие углы приравняются к первому вылету опытного самолета, – Разумихин обращался теперь к Долотову. – Пока лайнер на выставке, тебе нужно ознакомиться с данными продувов, с рекомендациями аэродинамиков, с теми способами, какими они предписывают выводить самолет в полетное положение после сваливания. Поезжай к аэродинамикам в КБ, поработай на тренажере, а когда вернется Чернорай, начнете совместную подготовку в воздухе. И не только на лайнере. Будете летать на истребителях на предельных скоростях, тренироваться выводить из штопора. Для этих полетов подберем такие машины, аэродинамическая компоновка которых будет близкой к конструкции С-441. Нужно очень хорошо подготовиться к нежелательной, но вполне возможной ситуации – переходу лайнера после сваливания или штопора в пике с последующим разгоном до большой скорости... Словом, к таким обстоятельствам, когда, как ты понимаешь, потребуются нетипичные действия для возврата машины в полетное положение. Такое может произойти, скажем, на закритических углах, когда для устранения крена нельзя пользоваться элеронами как в обычном полете. Повторяю, работа трудная. Может быть, очень трудная, надо отнестись серьезно... Что скажешь, Борис Михайлович?

– А что говорить? Надо, значит, надо.

На лице Разумихина обозначилось некое разочарование, по-видимому, он ждал большей заинтересованности, во всяком случае, предполагал, что все сказанное им возбудит в Долотове особый интерес к полетам, и теперь был недоволен реакцией летчика.

Оставшись вдвоем с Добротворским, Разумихин спросил:

– Справится, как думаешь?

– Конечно! – заверил генерал.

Известный летчик-истребитель, он сохранил фронтное отношение к делу, к людям. А о летном таланте Добротворского можно было услышать немало удивительного. Разумихину рассказывали, что на каком-то послевоенном торжестве в Англии, куда Добротворский прибыл в качестве почетного гостя, он на пари с тамошним генералом ВВС взялся за десять минут освоиться с управлением нового английского легкого бомбардировщика и вылететь на нем. Англичанин не поверил и проиграл.

– Лютрова бы на эти режимы. А?

Добротворский развел руками.

...Возвращаясь в летные апартаменты, Долотов словно впервые заметил, что на дворе совсем тепло. Между бетонными полосами аэродрома в несколько дней поднялась и густо зазеленела молодая трава, и солнце уже светило совсем по-летнему, и прибранная перед праздником территория базы была парадной, а от множества вскопанных клумб пахло забытым за зиму запахом земли.

«Уехать бы куда-нибудь, пожить в теплых краях, развеять тесноту в душе...»

Проходя мимо ангара, Долотов заглянул в распахнутые ворота и увидел Журавлева. Толстяк стоял в группе рабочих, объясняя им что-то под раскрытыми створками грузового отсека дублера.

– У вас новости? – спросил Долотов, пожимая руку гидравлика.



– Кое-что... На стендах лаборатории мы обнаружили усталостную трещину на стальном наконечнике гибкого шланга. Идемте, я вам покажу. На месте будет понятнее.

Они подошли к самолету.

– Вот, смотрите. Этот участок гидропровода используется только для заправки и дозаправки системы гидравлической жидкостью, иного назначения у него нет. Тем не менее до обратного клапана этот аппендикс испытывает все те нагрузки, которые перепадают рабочим магистралям. Теперь смотрите сюда. Видите этот штуцер? Он состоит из двух толстостенных трубок, соединенных роликовой сваркой под углом сто двадцать градусов. Конфигурация придает некоторое своеобразие нагрузкам на сварочный шов: когда внутри шланга возникает давление, штуцер стремится как бы выпрямиться, «работает на излом». Понимаете?

– Значит, если сварка лопнет?..

– Откажут обе основные гидросистемы. Но пока у меня нет уверенности, что в воздухе случилось именно это... Почти вся хвостовая часть самолета сгорела.

– А что вы теперь делаете?

– Снимаем штуцер, чтобы испытать. Если и этот не выдержит и если исследования двигателистов ничего не дадут, все будет более или менее ясно.

«Допустим, все так и было, – размышлял Долотов, поднимаясь по лестнице в здании летной части. – Отказало управление, а погода была неважное – плотная низкая облачность в разрывах. После выпуска закрылков он вошел в облака (высота по заданию) и решил чуть снизиться, чтобы видеть землю. Подал ручку от себя, миновал облака, взял на себя... а ручка не идет – упало давление гидравлики. Стабилизатор отклонен, машина снижается... Прежде чем он убедился в отказе, наверняка пытался подать ручку на себя всеми способами, а когда не получилось, первым делом хотел убрать закрылки, но тщетно, и тогда ему стало ясно, что вышла из строя гидравлика... Оставалось одно: включить турбонасосы, питающие аварийную гидросистему. Но чтобы им войти в рабочий режим, нужно время, а до земли – всего ничего. Что делать? Руль заклинило, давление гидравлики упало, и, пока заработают турбонасосы, нужно держаться на лету, нужна такая скорость, которая обеспечит горизонтальный полет. Лютров увеличивает обороты двигателей... Снижение затормаживается... Может быть, недостаточно, и он прибавляет еще, и, когда добивается своего, крыло не выдерживает... Но почему он не покинул самолет? Кто бы его осудил? А может, высота была так мала, что ему нужно было набрать необходимый минимум, чтобы прыгать?»

В комнате отдыха говорили о тепле, солнце, летних отпусках, о том, кто и где собирается отдыхать.

– Не надумал, куда? – спросил Извольский.

– Дачу сниму где-нибудь, – сказал Долотов, вдруг решив, что на первый случай ничего лучше не придумаешь: он и так загостился у Витюльки.

– Имено предложить! – провозгласил Костя Карауш. – Отличная дача! Сосновый лес, до реки пять минут... ежели бегом.

– У него дача! – Козлевич произнес это таким тоном, каким говорят: была у собаки хата.

– У меня, как у латыша... У одной знакомой. На этой даче ее отец гоношился, да сильно болеет, в санаторий направили.

– Жить можно? – спросил Долотов.

– Ха! Генеральская дача!

– Может, договоришься?

– А чего? Сделаем для своих.

– Где дача-то? – спросил Козлевич.

– По западному шоссе. За «Шанхаем», у деревни Хлыстово, знаешь?

– Соседями будем, Боря! – сказал Козлевич.

– Лучше всех устроился «корифей», – заметил Саеггиреев. – Построил себе избушку на курьих ножках у реки в лугах... Стерлядка, тишь и благодать...

– И от бабушки подальше, – усмехнулся Карауш. – А вообще-то ему сейчас не до благодати, как я понимаю.

Долотов ждал, что Костю спросят, почему Боровскому «не до благодати», и был уверен, что услышит очередной треп Карауша, а поскольку дело касалось «корифея», можно было

ожидать, что и у всех остальных найдется что сказать, потому как охотников посудачить на тему «от бабушки подальше» всегда предостаточно.

Однако теперь все молчали, из чего следовало, что или Костя «не готов к выступлению», как он в этих случаях говорил, или причина, из-за которой Боровскому не до благодати, уже обсуждалась и ни у кого не нашлось что добавить к высказанному.

«А может, они при мне не решаются? – подумал Долотов. – Отчего бы? Не доверяют? Да нет, что-то не то...»

Долотов вспомнил разговор Главного с летчиками, свой ответ Соколову на вопрос о катастрофе («А чего я, умнее других?») и то, как при этом посмотрел на Боровского, сидевшего в стороне ото всех.

– А что с Боровским? – спросил Долотов. К нему повернулся Извольский.

– Не знаешь?

Вслед за Витюлькой снизу вверх на Долотова поглядел и Козлевич, сидевший в кресле.

– Статью не читал разве?

– О чем?

– Хороша уха! – тут же отозвался Карауш. – Фалалеев настроил о полете в грозе «сорок четвертой». Еще с вами Лютров был...

– На, почитай. – Извольский вытащил из кармана куртки плотно сложенную старую газету.

– Этого а-писаку давно а-пора к порядку призвать, – сказал Козлевич, вдруг рассердившись и потому заикаясь на каждом слове. – Нашелся а-деятель! Нет бога, кроме аллаха, и Фалалеев пророк его!

– Темную ему устроить! – в тон штурману отозвался Костя. – Думает, если Старик шерстил «корифея», то и ему можно.

Долотов переводил взгляд с одного недовольного лица на другое и ничего не понимал.

«Да они никак обижены за Боровского?.. Вот уж истинно русская черта: сами себя чествуют на чем свет стоит, а брось им их же собственные упреки, тут же навалются на тебя всем миром... А может быть, о «корифее» написано что-то из ряда вон?..»

Долотов развернул газету.

Статья Фалалеева под названием «Наперекор стихиям» занимала три колонки на второй полосе газеты. Автор менторски трактовал перипетии полета Боровского в грозном фронте, а также вкратце пересказывал суть беседы Главного с летным составом фирмы, особо выделяя отповедь, которую Соколов дал «корифею». Сопоставленное воспринималось, как вытекающее одно из другого: моральный облик и отношение к делу. Вначале Долотов решил, что автор, радея о летной дисциплине, о строгом выполнении правил самолетовождения, просто перестарался, но мало-помалу между строк все заметнее проглядывали уши осла, который не мог упустить случая лягнуть большого льва, в Долотов наконец понял, отчего никто из летчиков не мог согласиться с такой хулой на Боровского, не чувствуя себя при этом замешанным в заведомо грязное дело. Фалалеев выставил Боровского человеком, охваченным «безумством храбрых», которых иначе как за дуrolомов почитать нельзя. «Сила есть, ума не надо». Элементарное здравомыслие должно было подсказать командиру вернуться на ближайший аэродром, а не «лезть на грозу». В последних строках автор с прискорбием констатировал, что, к сожалению, есть еще люди, которые считают поведение командира С-44 героическим. Видимо, имел в виду награждение экипажа орденами. Фамилии в статье не назывались, и потому для случайного читателя Фалалеев, будто из деликатности оставивший «дуrolома» в анонимах, выглядел весьма респектабельно, и только посвященным было ясно, что он такое в своей статье и о ком пишет.

Долотов сложил газету и минуту молчал, пытаясь разобраться в собственных впечатлениях.

– За что он его? – спросил Долотов, поглядев на Козлевича.

– Ха! Всю дорогу «мешком» сидел рядом с «корифеем», вот за что! Костя? А помнишь историю с рулежкой?

– Это когда Фалалей пенку пустил?

– Ну. Вот откуда эта статья!

«Гут другое, – думал Долотов. – Не так он прост, чтобы из-за одной обиды па «корифея» заниматься этой словесностью».

Уже в первые годы работы на фирме Долотов без особого труда составил вполне определенное мнение о «метре» – так за глаза именовала Льва Борисовича ведущие инженеры. Основной задачей его дотошного присутствия на фирме было суметь извернуться так, чтобы оказаться возле дела, над делом, только не в самом деле. И при этом изображать из себя представителя некой фрондирующей элиты. Фалалеев только и занимался, что выискивал всяческие изъяны в том, что делалось другими, доказывая их «ненаучный подход» к делу. Не было ни одного серьезного эксперимента, ни одного трудного полета, в котором участвовал бы Фалалеев, как не было ни одного промаха в практике летных испытаний, ни одной беды на фирме, которую бы он так или иначе не обернул себе в актив, – в этом, собственно, и состоял отраженный звон «просвещенного» присутствия «метра» на фирме. Год назад, когда сотни людей на летной базе, как праздника, ждали вылета нового лайнера, Фалалеев отозвался о событии, как о «спектакле для идиотов».

Но хотя ни Козлевич, ни Карауш в простоте душевной никогда не задумывались над подлинной сущностью Фалалеева и потому давали обычную человеческую оценку его поведению, Долотов не только выделил эту оценку, но и примерил ее к самому себе.

«При желании Трефилов мог бы написать обо мне что-нибудь похлестче. И материала насбирал бы предостаточно; полет за звук без разрешения аэродинамикой, дурацкая посадка на спарке с Лютровым, взлет на недопустимой скорости... Сложить все вместе, прибавить покаянный визит к Старикку в присутствии Гая, подсолить сведениями из личной жизни...

Трефилов был слабым человеком, хотя и не последним летчиком, и то, что ты сказал ему во всеуслышание, очень напоминало толчок в спину падающего. Но тебе не было до этого никакого дела. Ты считал, что человека можно оценивать по одной мерке: укладывается ли он в то, что норма для тебя, что ты считаешь приемлемым видом человеческого существования, достойным отношением к делу. Ты был уверен, что только так и можно узнать правду о человеке, определить ему цену.

Но что это была за правда, если она вылилась в тот же результат, что и содеянное Фалалеевым? Или почти в тот же. Ведь и он говорит как будто дельные вещи – что ни слово, то о значении летной дисциплины, о важности выполнения правил самолетовождения, следование которым только и может уменьшить аварийность в воздухе. И тут же предусмотрительно снимает шляпу перед Главным, якобы отклонившим кандидатуру Боровского, когда речь шла о летчике на новый лайнер. И для тебя Старик и его отношение к «делу «корифея» сами по себе составляли половину той правды и того нрава, которые руководили тобой».

Долотов собирался вернуть газету Извольскому, но передумал и сунул в карман пиджака; он вспомнил об Одинцове, о его нынешней профессии и решил узнать, не сможет ли он ответить автору этой публикации.

Кажется, это случилось впервые: он собирался вступить за человека, который не только не просил его об этом, не только не нуждался в его помощи, но которому по недавнему убеждению Долотова совсем не следовало помогать. Может быть, поэтому намерение поговорить с Одинцовым не вызывало потребности в немедленных действиях, решение казалось необдуманном, туманным, исходящим не из ясных убеждений, а из неожиданных и, может быть, случайных аналогий.

– Ты имя скажи!.. Я всех дачников в Хлыстове знаю. Как зовут твою знакомую?

Это расшумелись Карауш с Козлевичем.

– Как ты можешь ее знать, если не разбираешься в классической музыке? – отозвался Карауш, обследуя бильярдный стол с кием в руках.

– Понесло! При чем тут музыка?

И пока Костя «травил», Долотов поймал себя на мысли, что не только ничего не знает о нем, но и впервые за все время, пока видит его, думает об этом...

«А ведь он славный человек. Обрадовался, что может помочь...»

Как же так случилось, что, столько времени отлетав с Караушем, Козлевичем, едва не угробившись с ними на речном обрыве, он почти ничего не знал о них? Они всегда были для Долотова «штурманом» и «радиостом». Он мог умереть вместе с этим размашисто

жестикულიрующим человеком, быть похороненным рядом, но ни разу не поинтересовался, как он живет, где, что у него за душой?..

«Женат он или холост?.. Нет, кажется, холост...» – решил Долотов, вспомнив, что Козлевич, имея в виду холостяцкую жизнь Карауша, говорил Косте с укоризной:

– Пустоцвет!..

На что тот невозмутимо отзывался уточняя:

– Сухостой!

И теперь, слушая Костю, Долотов думал: «Как легко, наверное, живется ему, как хорошо он прилажен к окружающему, как просто ему с людьми, да и с самим собой, по-видимому, тоже...»

Есть люди, наделенные такой приметной отличительностью от окружающих, – непосредственностью, находчивостью, яркой самостоятельностью, – что никому и в голову не придет, что там, где дело касается устройства их собственной жизни, им не везет, они неловки, несчастливы; более того – никто не станет сомневаться в их умении ладить со всем тем, что поставило бы в тупик других людей.

Думая о Косте Карауше, как о человеке, на душе у которого шутиливо и беспечно, Долотов не знал, с какой легкостью безобидная насмешливость Кости может перейти в издевку, в злобствование, в котором, как в царской водке, растворялось все подряд. В такие минуты озадаченным друзьям Кости начинало казаться, что или его накануне оскорбили в лучших чувствах, или он безуспешно пытался отстаивать свои права, или у него собираются отнять что-то выстраданное, в муках обретенное, что одно только и дорого ему.

В этом-то и сказывалось его душевное неблагополучие, начало которому, неожиданное и счастливое начало, было положено много лет назад летним вечером на пустыре за речным портом.

Место это с давних времен отвели под склад леса для деревообделочной фабрики. Его привозили на баржах, и после разгрузки часть бревен оставалась лежать навалом, часть укладывалась в штабеля и даже – под навесы. Во время войны склад был огорожен и строго охранялся. Потом привоз увеличился, огороженного участка перестало хватать, вороха растянулись чуть не на километр вверх по реке, но ограды не прибавилось.

Костя шел из порта домой – провожал в рейс отца, механика буксирного парохода. Там, где тропу начинали теснить с одной стороны высокий обрыв, с другой – почти равный ему по высоте длинный штабель, Костя наткнулся на «опель-капитан», поставленный с умыслом, чтобы машину не заметили ни с берега, ни с реки.

«Всюду жизнь!» – игриво шевельнулось в голове Кости.

В ту пору легковых автомобилей было так мало, что проезжающих рассматривали. «Но если машину ставят в укромное место, то не для того, чтобы все видели, кто в ней находится». Так решил Костя и сделал вид, что с его заботами некогда смотреть по сторонам.

Когда тропа прижалась к подножию штабеля, идти пришлось чуть не вплотную к неровно торчащим кряжам.

– Что вы делаете?! Что вы делаете?! – сиплым от ужаса голосом вскрикнула женщина где-то за бревнами: сквозь щели между кругляками голос легко прослушивался.

Костя остановился. «Интересно, что они делают?..» На память пришла только что виденная машина. Он вернулся к «опелю», заглянул в кузов: пусто. «Но этот трофейный дормез прикрывает проход между штабелями, а проходу – конца не видно...» Костя постоял – не в нерешительности, а как бы выясняя, нет ли поблизости кого-нибудь, кто может растолковать ему, что происходит, или, по крайней мере, высказать свои предположения на этот счет. Но кругом было тихо. И, внутренне холодея, как всегда перед дракой, он шагнул в проход.

«Сейчас тебя отоварят по первое число, – думал он, вдыхая гнилостные древесные запахи и то и дело натываясь в полутьме на торцы бревен. – Хоть бы заводную ручку догадался взять, чтобы... превысить меру необходимой обороны».

Но ему не пришлось обороняться. Заслышав его шаги, двое парней кошками метнулись на штабель и стремительно исчезли. А у стены желтеющих торцов, крест-накрест сложив на груди руки и сжав пальцами плечи, стояла невысокая женщина. Черт ее бледного лица нельзя было

разобрать, но что-то подсказывало Косте, что он подоспел вовремя.

– Ты еще жива, моя старушка?

Ни звука, ни движения. Женщина стояла как пригвожденная и, выпучив глаза, смотрела в его сторону.

– Чего стоишь?.. Топай отсюда. Самое время.

Но она еще не пришла в себя, еще не поняла, что его можно не бояться, страх еще сковывал ее с ног до головы, и стоявший напротив смутно различимый парень пугал ее не меньше тех двоих.

– Так и будешь стоять?

– А вот?.. – Она отвернула от плеча книзу лоскут порванной кофточки. – Как я пойду?..

– Как сюда шла – ножками.

Опустив голову, она принялась старательно прилаживать лоскут, точно это было самым необходимым в ее положении.

«Ошалела», – решил Костя.

– Дома пришьешь, голова! Идем провожу.

– Не надо мне, я сама!..

– Ну, ну, сказала мама слону, ты уже большой.

Переступив с ноги на ногу, не очень уверенный, что поступает как надо, он подался правым плечом вперед и стал пробираться к выходу из лабиринта.

– Постойте! – донесся слезный вскрик.

«Соображает еще». – Костя обернулся.

Шла она так медленно и опасно, а неотрывно направленные в сторону Кости кругло раскрытые глаза придавали ей такой настороженный вид, что, казалось, сделай он какое-нибудь резкое движение, и она завопит благам матом. Но когда где-то неподалеку громыхнуло скатившееся бревно, ее словно подбросило: она с такой скоростью метнулась вперед, что непременно упала бы, не подхвати он ее, сам при этом больно ударившись плечом о выступающий кругляк. Едва продохнув от боли, он намеревался кратко, но энергично высказаться, но... перед ним стояла совсем неподходящая для таких высказываний девица – едва перевалившая за школьный возраст и определенно не из тех, для кого прогулки за город на ночь глядя – дело привычное. В этом он совершенно уверился, когда они выбрались на освещенную улицу.

Невысокая, с не очень ладной и уже определившейся фигурой, с густыми, копной растущими темными волосами, перехваченными у затылка черной муаровой ленточкой, она тем не менее выглядела совсем девочкой – из-за тех примет детскости в выражении лица, в его целомудренной чистоте и нежности, в растерянно раскрытых кукольно непорочных глазах, в манере говорить, что выдают обласканное, тепличное создание.

Костя был совершенно растерян этим открытием, хотя и не подавал виду, и готов был сгореть от стыда, вспоминая, как только что разговаривал с ней. Ему всегда казалось, что общение с подобного рода девушками требует каких-то особых талантов, воспитания, знания и понимания таких вещей, о которых он и слыхом не слыхал.

– Как вас туда занесло? – тоном старшего, с мягкой укоризной спросил он, переходя на «вы».

– Как!.. – нервно отозвалась она, понемногу приходя в себя. – Приехала на вокзал за билетами, а там говорят, нужно заказывать... Мы с мамой к папе собрались, понимаете? На Урал. Я учусь. На фармацевта. И у нас теперь каникулы. Вот... Я и села в такси. А они...

– Да разве это такси?

– А я знала, да? – капризно сказала она и, задержав на его лице свои несмышленные глаза, вдруг спросила: – А вы кто?

– Сыщик-любитель.

– Нет, правда?.. Как вас зовут? Меня – Далилой.

– А меня Костей. В поминание запишете?

– Что?.. Должна же я знать. Если бы не вы... Знаете, они какие! Я вас с папой познакомлю, хорошо?

– Не надо торопиться. Вот узнаем друг друга получше, тогда... Кстати, он кто, ваш папа?

– Генерал. Директор завода.

– Тем более... Еще на водку даст.

– Чудной вы!.. – Она впервые улыбнулась, впервые поглядела на него, чуть сощурив глаза, и лицо ее впервые осветилось присущим ей ладом веселости – таким неожиданным и милым, что весь остальной путь к ее дому, льстиво торопясь подтвердить свою чудаковатость, Костя лез из кожи вон, чтобы рассмешить Далию, расположить ее к себе – и не без успеха: она согласилась встретиться через две недели, но с одним условием – неподалеку от дома.

– Правда придете? – спросил Костя, высматривая в ее глазах недавнее оживление и не находя его.

– Если смогу, конечно. – Она протянула ему его кожаную куртку, в которой шла по городу, вежливо поблагодарила (за куртку, наверное) и ушла, ни разу не обернувшись.

Проводив ее глазами, а затем окинув взглядом старинный дом, затуманенные легким тюлем высокие окна квартиры на втором этаже, Костя перебросил «канадку» через плечо и вслух произнес:

– Не придет.

Он постоял, глядя под ноги, как бы прислушиваясь к чему-то в себе, и мысленно прибавил: «Он был титулярный советник, она генеральская дочь».

– Еже ли сравнить.

Но при любом сравнении тогдашняя – временная – профессия Кости никак не соответствовала ни этому, ни какому-либо другому чину в административной иерархии прошлого.

В Энке Карауш застрял неожиданно-негаданно. Демобилизовавшись из авиационной части, где служил радистом, Костя приехал навестить отца, обосновавшегося в Энке после госпиталя, намереваясь побыть у него недельку-другую и укатить в родную Одессу. Там его ждали благоволившие к племяннику дядя – братья умершей матери. «Мне нужно приличное место на приличной посуде дальнего плавания, – писал им Костя. – А что касается насчет моря, я думаю, не стоит морочить голову, пусть будет, какое есть».

Казалось, что могло удержать его в Энке?.. Дом, где жил отец, находился неподалеку от порта и представлял собою недостроенную тепловую электростанцию. Ее начали сооружать в конце войны, потом почему-то бросили, перегородили два просторных машинных зала деревянными стенами, выкроив таким образом два десятка комнат, и поселили там рабочих-речников. Нелепый домина этот, крепостью возвышавшийся над рекой, прозвали «Грушу», а пригород в этой стороне – «Шанхаем». Оба эти названия вызывали у Кости кривую улыбку: «Экзотика».

Он уже собрался уезжать, но случилось непредвиденное. Карауш познакомился на танцах в городском парке с Витюлькой Извольским и от него услышал о существовании в городе отделения для подготовки бортрадистов в недавно созданной школе летчиков-испытателей. Показалось заманчивым поступить в это заведение, а тут еще Витюлька подстрекал, и Костя решил попытать счастья. Когда же ему сообщили о зачислении, он не знал, радоваться или горевать: стипендия была невелика, а сидеть на шее отца – совестно. До начала занятий он еще кое-как перебивался «активным участием в погрузочно-разгрузочной деятельности», а потом все больше случалось так: работа есть – времени нет, время есть – работы нет.

Тут-то и подвернулся разбитной студент, обосновавшийся в «Грушу» примерно в то же время, что и Костя, и не меньше его озабоченный пустым карманом. «Сократ», как уважительно называл его Карауш за хорошо подвешенный язык, совмещал в себе пройдоху и доброго пария, у которого при случае можно было перехватить денюжку; ему чаще удавалось подзаработать, хотя и он нередко возвращался домой «с несолоным хлебалом», по его выражению.

Как-то вечером он неожиданно ввалился к Косте.

– Есть работа!.. – Круглая физиономия «Сократа» излучала решимость. – Непочатый край. Завтра выступаем. Ты зачислен в артель.

– А я смогу? В смысле времени?

– Безусловно.

– Что за работа?

– Сдельная, ночная.

– Уголовно наказуемая?

– Напротив! Требуется гражданского мужества, общественного темперамента, более того – философского взгляда на жизнь!

– Если философского – согласен. Что делать?

– Чистить галюны.

– Пардон, как?

– Ковшиком. Когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», ты подъезжаешь на телеге с емкостью к тыльной стороне запланированного объекта и играючи ликвидируешь запущенное войной хозяйство! По-научному это называется ассенизацией. Некоторые поэты с гордостью причисляли себя к ассенизаторам!.. В переносном смысле.

– А в буквальном они не пробовала? – кисло спросил Костя.

– Ну... – развел руками «Сократ». – Если мы такие гордые кабальеры, носи свою шинель еще десять лет... А костюм тебе нужен? А белая рубашка у тебя есть?.. Не будь идиотом, посмотри на свои кирзовые сапоги и вспомни, что сказал император Тит Флавий Веспасиан?

– Что сказал этот тип насчет моих сапог?

– Деньги не пахнут, вот что он сказал!..

«В конце концов, император прав», – решил Костя.

Несмотря на раздобытые «Сократом» приставные усы, – для себя рыжие, Косте – черные, – поначалу, выезжая на расположенного за городом конюшенного двора на понурой кобыле, волокущей телегу с прикрытыми рогожей бочкой и черпаком, Карауш чувствовал себя так, будто голым выставлен на позорище. Но мало-помалу, если не привык, то притерпелся и даже перестал наклеивать усы: все те прохожие, мимо которых ему доводилось проезжать, ни разу не поинтересовались, с усами он или без усов. Они вообще не глядели в его сторону.

А платили действительно хорошо, в особенности – владельцы частных домов «Шанхая» и соседнего с ним дачного поселка. Так что ко времени встречи с Далею Костя не только приобрел синий костюм и белую рубашку, но и канадскую куртку светло-рыжей кожи, купленную на привокзальной барахолке.

Тонкая фигура Карауша в этой куртке была исполнена изящества и мужественности. Сочетание неотразимое, если прибавить, что на вопросы девушек о роде занятий, Костя дипломатично отвечал:

– Слушатель школы летчиков-испытателей.

Этого было достаточно, то есть куртки и услышанного, чтобы заключить, что Костя – летчик.

Но Дале он врал без всякой дипломатии. Отца обратил в капитаны дальнего плавания, себя – в военного летчика, специально направленного в Энск, «чтобы двинуть вперед авиацию, у которой «струя пошла», то есть пошли в ход реактивные двигатели. Зная Костю, в этом нетрудно было усмотреть особую примету: при всей безалаберности, он совестился лгать тем, к кому был душевно расположен.

И все-таки, несмотря на вдохновенную ложь, он не верил, что она придет. Когда чего-нибудь очень хочется, наверняка не сбудется.

Но Далея пришла, как обещала – ровно через две недели. Они пробыли у реки с полудня и до ранних сумерек. Вначале, правда, разговор не ладился, и Костя не мог понять почему: он изо всех сил старался выглядеть воспитанным молодым человеком, а она смотрела на него совершенно безучастными глазами. «Помните, коллега, – напутствовал его «Сократ». – Ситуация требует, чтобы от вас несло древесиной. Вы меня поняли?»

И самое интересное, что он оказался прав: стоило Косте упомянуть об их первой встрече, и Далея оживилась, глаза у нее заблестели, на лице проступили алые пятна.

«Странно создан человек!..» – думал Костя, возвращаясь домой в самом приятном расположении духа.

После месяца регулярных и нескучных свиданий, которые с каждым разом оканчивались все позже, он был приглашен на день рождения. Костя вспомнил высокие окна, затуманенные легким тюлем, генерала, и ему стало не по себе.

– А с другом прийти можно?

– Кто он?

– Студент. Будущий философ.

– А то мама подумает, что я бог знает с кем... – мялась она.

– Что ты! Воспитанный человек. Почти как я. Одетые в синие костюмы и белые рубашки, они сидели рядом за праздничным столом, и в то время как их желудки рвались к деятельности, воспитанные молодые люди, выпив по заглавному бокалу шампанского и чувствуя всенарастающий бунт внутри себя, с таким усердием слушали свидетельские показания очевидцев детства Дали – матери и двух теток-музыковедов (генерала не было), словно старались получше запомнить, чтобы изложить письменно.

– Кушайте, пожалуйста, что же вы?..

– Благодарю! На ночь, знаете... – отвечал «Сократ» с извиняющейся улыбкой, чтобы затем, с видом отягощенного многоумием, вступить в начатый тетками разговор. – Вот вы говорите, Вивальди. Талант – да, насчет этого я согласен. Но!.. Но с деньгами, вы меня извините, у него было не густо. Иметь должность директора консерватории и по совместительству работать священником... Это, знаете, не от хорошей жизни.

– Костя, вам нравится салат?.. Так я вам положу...

– Нет, нет! Салат действительно... с витаминами, но мне более чем достаточно!..

Когда унесли провожаемое тоскливыми взглядами воспитанных молодых людей большое, похожее на варяжскую ладью блюдо с прекрасно сохранившейся индейкой и подали чай, тетки снова атаковали «Сократа». Тот слушал, кивал с воодушевлением, как бы наслаждаясь отменным вкусом и питательностью поглощаемых духовных ценностей, или мечтательно возводил глаза к высокому лепному потолку, повторяя вслед за тетками:

– Соната... Оратория... Кантата... Увертюра...

А Косте казалось, что эти названия прекрасно объясняют происходящее у него в животе. Но хотя он и не смог бы вспомнить ни одного музыкального опуса, кроме «Из-за угла» (так полковые музыканты называли похоронный марш), он с радостью поговорил бы о том же Вивальди, только бы выбраться невредимым из беседы, которую затеяла с ним Татьяна Ивановна, мать Дали.

– Вы говорите, свой дом? – выпытывала она, занудливо сощутив глаза.

– Не мой, конечно, отца...

– Ну, сегодня его, завтра... У нас тоже небольшая дачка, но переехать туда, пока у Далюши были занятия, сами понимаете... А у вас и в Одессе квартира?

– Да, отец до войны получил. На улице Петра Великого...

После чая Даля принесла скрипку и бойко сыграла коротенькую пьеску Шуберта.

– Ну вот... – завершающе вздохнула мама, оповещая не столько о конце музыки, сколько о том, что музыка – это конец.

Воспитанные молодые люди дружно поднялись, наговорили любезностей и откланялись, ссылаясь на хлопоты студенческой жизни.

– А что делать? – Ученье – свет. Нынче без образования, знаете, как без пуговиц.

– Шуберт, между нами, не первоклассный... – морщился «Сократ» на рассвете, сидя рядом с Костей на передней телеге – навстречу дул ветерок. – Но какая квартира!.. Одна паркет чего стоит! А мебель? А хрусталь?

А рояль красного дерева?.. Господи, везет же людям!.. Да, считай, «Грущу» для тебя – пройденный этап.

Это была последняя ездка к месту обезвреживания нечистот, за черту города. Оставалось миновать мощенную булыжником дачную улицу, переходящую на пустыре в проселок, обогнуть ближайшую деревню Хлыстово, немного проехать вдоль насыпи нового шоссе, повернуть направо, в сторону Гнилой пустоши, а оттуда до места назначения – рукой подать, каких-нибудь шесть километров.

От нечего делать «Сократ» принялся подсчитывать, сколько можно было бы заработать «на договорных началах в этом секторе», наметанным взглядом прикидывая финансовые возможности потенциальных клиентов по их недвижимости. На взгляд Карауша, коллега «завышал коэффициент»: внешний вид строений и платежеспособность их владельцев редко производят одинаковое впечатление. Разгорелся спор. Костя напирал на психологию собственника: «чем больше денег, тем жаднее». «Сократ» – на формулу: «расценки – это мы»,



то есть на возможность прижать собственника к стенке. Они шумели до тех пор, пока не обнаружили, что их слушают...

Даля и Татьяна Ивановна стояли у раскрытой калитки в середине высокого голубого забора и оторопело разглядывали «до ужаса знакомые лица».

Их узнали. Это было ясно по незакрывающимся глазам дочери. А о маме и говорить нечего.

– Ее сильно перекосило, – скажет потом «Сократ».

– Доброе утро! – самым деликатным образом поклонился Костя.

Ничуть не уступая ему в деликатности, то же самое проделал и «Сократ». Ни мать, ни дочь не отозвались. Что-то у них заело. Так, что они, пожалуй, забыли, куда собрались. Или откуда пришли.

Несколько секунд на усаженной плакучими березами тенистой улице раздавался лишь перестук лошадиных подков да скрежет колес, ерзавших из стороны в сторону по крупному, но скверно уложенному булыжнику.

Трудно сказать, что происходило в душе Кости, что он думал, проезжая в своем сногшибательном экипаже на расстоянии двух шагов от мамы с дочкой. Но оставить их в убеждении, будто он чувствует себя униженным?! Нет, на это, пропадай все пропадом, натура не позволяла согласиться!

– Но-о!.. Так твою, раззтак!.. – дико заорал он, поднимаясь и взмахивая вожжами. – Все бы взбрыкивала, собачье мясо!..

Ошарашенная кобыла и в самом деле взбрыкнула и зачастила инвалидной рысью, нелепо раскачиваясь и припадая на задние ноги.

«Сократ» спрыгнул на землю и, согнувшись, как подстреленный в живот, петлял по дороге, не в силах продохнуть от смеха. Так все кончилось. И Костя был уверен, что навсегда. Сначала он охотно смеялся вместе с «Сократом», но однажды сочувствовал глумливую горечь этого смеха, и нелепость происшедшего перестала казаться ему смешной: он не мог забыть Далию.

– Заткнись, – хмуро посоветовал он «Сократу», когда тот в очередной раз принялся изображать «немую сцену» утреннего свидания.

Сам же Костя чем сильнее тосковал, тем чаще вспоминал «метаморфозу», тем унижительней представлялось ему его поведение в глазах Дали. Он панически боялся какой-нибудь нечаянной встречи, цепенея всякий раз, когда в городской суতোлке видел девушку, похожую на Далию.

Но время шло. Костя с отцом перебрались в город, в отдельную квартиру, однако женщины в ней так и не появилось, хотя у Кости не было недостатка в поклонницах. Шумный, подвижный, носивший свое тонкое тело с какой-то размашисто-небрежной грацией, любящий и умеющий хорошо одеться, он и теперь, на пороге сорокалетия, не сетовал на женское равнодушие, знал, что нравится, легко заводил знакомства, но как-то так случалось, что его избранницами всегда были девицы из тех, что не слишком озабочены своей репутацией.

– Получше не нашел? – спрашивал Козлевич, приметив Костю с «выдающейся» спутницей.

– А мы по принципу: все вокруг колхозное, все вокруг мое, – отвечал Костя, в памяти которого уже ничего не осталось от Дали, кроме, может быть, имени. И теперь, когда они все-таки встретились, он не вдруг узнал ее.

...В первые дни после этой встречи Костя часто приходил к Дале, был молчалив, усаживал ее рядом с собой, подолгу всматривался в ее лицо, односложно и невпопад отвечал на вопросы, молча целовал. Он редко улыбался в эти дни. Его улыбка казалась неживой, появлялась как-то не к месту и пропадала, не оставляя следа ни в интонации голоса, ни во взгляде – медлительном и словно опустошенном. Он смутно чувствовал что-то унижительное во втором появлении Дали в его жизни, в их встрече на другой день после похорон Лютрова.

– Я постарел? – спрашивал он, улыбаясь своей неживой улыбкой.

– Немного... Но это ничего.

Он кивал, как если бы Даля подтверждала его собственные подозрения. Но когда она начинала расспрашивать о его делах, он вопросительно смотрел на нее и невесело спрашивал:

– Зачем тебе?

Да и вообще, когда она принималась о чем-нибудь долго говорить, Костя мрачнел и скоро уходил, унося с собой какое-то глупое недовольство.

Обычно с наступлением тепла ту часть суток, которую в армии называют личным временем, Костя проводил в городке гаражей на окраине Энска. Здесь было нескучно. Казалось, самое главное в жизни автомобилистов происходило в кирпичных сараях размером четыре на семь метров. Люди приносили сюда истинное беспокойство душ, старые анекдоты и новейшие известия о дорожных происшествиях и уходили удовлетворенные, хмельные, досыта наговорившись о карбюраторах, клапанах, правилах уличного движения, способах удалять ржавчину, красить поврежденные места, досконально разузнав, куда и зачем стоит поехать, а куда не стоит, об инспекторах ГАИ, техосмотрах, дорогах... Вымыв машины, сменив масло в моторах и отстояв в консилиуме возле какой-нибудь развалюхи времен второй мировой войны, они возвращались домой, в полной мере приобщившись к тем волнениям, каковые только и возможны у людей, состоящих при автомобилях в большей степени, чем некогда извозчики при своих лошадях.

Своей машины Костя не имел, но был заметной фигурой на этой хлопотливой ярмарке. Он прекрасно разбирался в электрооборудовании, обладал незаурядными навыками мастерового, и, когда у кого-то из знакомых «владельцев безрельсового транспорта» возникала надобность разобраться, «куда уходит искра», обращались к Косте, имевшему постоянную резиденцию в гараже штурмана Булатбека Саегиреева.

Но этой весной его нечасто можно было увидеть у гаражей, услышать, как он потешается над каким-нибудь неумехой-интеллигентом, который не может тронуться с места только потому, что на аккумуляторе его машины ослаб зажим одного из проводников. Косте как-то сразу все надоело, и возня в гаражах представилась пустой тратой времени, хотя он и не знал, на что ему тратить личное время.

Может быть, все дело было в том, что после похорон Лютрова, после встречи с Далей Костя наконец почувствовал свой возраст, понял, что пора «переходить в другое качество»?.. Да и сама Даля все больше занимала его мысли...

Весной ее отца, второй год сильно болевшего, направили лечиться на юг. Туда же собиралась и ее мать, ждала только, когда у внука окончатся занятия в школе, чтобы взять его с собой. Даля оставалась одна в большой квартире и потому не могла перебраться на дачу, о чем очень сожалела.

– Может быть, ты поживешь там? – сказала она Косте. – А я приезжала бы на выходные дни?

Но он сразу и наотрез отказался. Его даже передернуло от перспективы ежедневно лицезреть «памятные места».

...Костя не случайно вспомнил о злополучной даче, то есть не только потому, что связывал нужду Долотова и желание помочь ему с тем, что услышал о нем от Боровского, со слухами об уходе Долотова от жены; к этому нужно прибавить, что Костя не хотел упустить случай убедиться, что Даля не раздумывая сделает все, о чем он ни попросит.

Не говоря уже о том, что это был повод увидеть ее.

## 8

Ответили не сразу. И даже после того, как сняли трубку, в ней долго никто не отзывался. Наконец сухо предложили:

– Говорите.

– Одинцов?

– Да.

– Долотов говорит, здравствуй.

– А, Боря!

– Ты мне нужен. У меня дело к тебе.

Одинцов помолчал.

– Если не по телефону, вали сюда, в редакцию, я дежурю.

Одинцов объяснил, как доехать, и Долотов положил трубку.

«Транспортная авиация» занимала четвертый этаж типового здания в новом районе города. В комнате, на дубовых дверях которой красовалась знакомая фамилии, стояли два стола, вплотную придвинутых друг к другу. Напротив Одинцова сидела женщина в сером платье. Долотов едва успел поздороваться, а Одинцов пожать ему руку, как в комнату быстро вошла рослая девушка в ярких брюках, с длинными светлыми волосами. В руках у нее был газетный полулист, на котором белели не заполненные текстом места. Одинцов жестом пригласил Долотова садиться и о чем-то заговорил с девушкой. Долотов не вслушивался. Женщина могла помешать ему, и он пытался по ее виду определить, здешний ли она работник, а если нет, то надолго ли пришла.

Встретившись с ним взглядом, она едва приметно улыбнулась, и он тут же вспомнил, что видел ее в ресторане поезда, когда возвращался из Лубаносова и встретил Одинцова. «Она слегка загорела, вот и все. Те же губы, тот же негроидный профиль...»

– Извините, я вас не сразу узнал, – сказал Долотов. Она кивнула и понимающе улыбнулась, соглашаясь, что такое простительно.

Зашелестев газетой, девушка стремительно вышла, одарив улыбкой всех вместе и никого в отдельности.

– Знакомьтесь, это Борис Долотов, человек с большой буквы, – то ли в шутку, то ли всерьез сказал Одинцов.

– Лидия Владимировна, – охотно назвалась женщина. – Никогда не видела живых людей с большой буквы. Мне казалось, это выдумка литераторов.

– А ваш друг и есть литератор, – напомнил Долотов.

– Правда. Я и забыла.

Поскольку общим воспоминанием было зимнее путешествие в поезде, каждый вспомнил, зачем и куда ездил. Потом разговор долго вился вокруг журналистских дел Одинцова, который живо рассказал, почему он сошел в Юргороде, по пути в Энск. Один из тех, кому была поручена организация планерной школы в Юргороде, окаялся человеком нечестным, а его бурная деятельность на первых порах объяснялась, как удалось выяснить Одинцову, своекорыстными целями. Говорил Одинцов с ленцой, но как всегда хорошо, привел несколько примеров, когда громкие дела, нужные и полезные, уходили в песок из-за субъектов, более всего обеспокоенных возможностью погреть руки.

– Ныне ширится категория живущих под девизом: «И я хочу!» – говорил Одинцов. – Сосед купил машину, и я хочу. Ваш сын поступил в вуз, и я хочу «нашего Бобочку» туда же. У вас дача, и я хочу дачу. У вас часы на браслетке, и я хочу... Начинаются поиски обходных путей, ищущий в конце концов непременно направится к жулику, знает, что идет к жулику, и жулик знает, что к нему идут как к жулику. Ну а коли так, чего жулику бояться? Они сообщники, одинаково считают государство понятием иррациональным, лишенным, так сказать, болевых ощущений. Вот жулик-то и утверждает, получает полулегальное положение.

– А как же наши гражданские идеалы? – спросила Лидия Владимировна.

– Гражданин, Лидуша, начинается с ощущения родства с прошлым народа. А жулики – это люди, потерявшие или вовсе не имевшие связи с пращурами, кои произрастали на сей земле, и пахали ее, строили города и складывали песни о красоте и воле. Это люди, чуждые не только государственному устройству, но и духовному самовыражению поколений – искусству, литературе... Хотя они и тут поспевают – питаются «творчеством», как раки утопленником.

– Выходит, хорошо живется жуликам, – вздохнула Лидия Владимировна.

– Не совсем, – с ироническим сожалением отметил Одинцов. – Для полного удовольствия им нужно, чтобы и все другие были в убеждении, что пришли ниоткуда, что все пришельцы, как в Америке, о которой один умный писатель сказал: «Это была хорошая страна, но мы ее загадили». Чтобы загадить и нашу землю, жуликам нужно, чтоб в ходу было поболее модного, поболее идеек «под технический век, под бомбочку». Атомная штукавина, мол, не разбирает, какое в тебе самосознание, а накрывает всех скопом, и всякие там гражданские чувства, мол, не помогут, а потому и жить надо по «новым» понятиям, то есть кто во что горазд.

– И такое возможно? – спросила Лидия Владимировна.

– Будем надеяться, что нет, – утешил ее Одинцов. Все это время, пока он говорил,

Долотов унимал раздражение, хотя и не мог понять, что тому причиной. Смысл сказанного? Нет. Наконец он уловил, что не может разобрать лица Одинцова: вроде прежнее, но все в движении, как у актера, видно, что человек роль произносит, а что говорить – это уж не от актера зависит, роли кем-то пишутся. Иное дело, когда он в поезде говорил о женщинах, тогда у него на лице оседало свое. Впрочем, было и сходство: и тогда и теперь он давал понять, что по старшинству ума и своего понимания вопроса равных ему здесь нет, и сидящим рядом ничего не остается, как только слушать.

А поскольку Лидия Владимировна слушала очень внимательно, Долотов решил, что она не часто слышит Одинцова, что знакомство между ними не связано с работой, и, чтобы убедиться в этом, спросил, встретившись с ней глазами:

– Простите, вы здесь работаете?

– О нет! Я врач.

– Хирург?

– Нет... – она немного смутилась, хотя и не отвела взгляда. – А что, вам нужен хирург?

– Нет, нет, просто задумал угадать.

Она улыбнулась: мол, и рада бы быть угаданной, да что поделаешь!

– Я принес статью. – Долотов вытащил из кармана пиджака и протянул Одинцову газету. – Хочу узнать, что ты о ней скажешь. Это к вопросу о жуликах.

Пока Одинцов читал, Долотов присел к Лидии Владимировне, чтобы она не скучала, а главное, не подумала, что ее присутствие может помешать ему, спросил, в какой больнице она работает, давно ли, довольна ли условиями и не знает ли некой Лены Гай-Самари, тоже врача. Оказалось, знает, и даже очень близко, они вместе учились.

– Вялый материал, – Одинцов отложил газету. – Такой дают, когда нечего давать. Обо всем и ни о чем.

– Не совсем так. – Долотов старался говорить убедительно. – Это пасквиль одного из тех, о которых ты только что говорил.

– Если так, то анонимный. По-русски это называется «кукиш в кармане».

– Опять же не совсем. Эта словесность с душком.

Фалалеев сочинил статью из желания лягнуть Боровского.

– Это о Боровском? Он еще летает? Сколько ему?

– Пятьдесят восемь.

– Фалалеев... – Одинцов раздумчиво потер подбородок. – Я где-то встречал эту фамилию.

– Работал у Соколова. Из тех, кто битый час может развязывать узел на шнурке, не снимая ботинка. А бегать предоставляет другим.

– Это заметно. На его счету есть опытные машины?

– Нет. Сидел неучтенной величиной рядом с Боровским и вот – решил отыгаться. Нельзя позволять этому тяну выносить вердикты.

– В ваше время, Боренька, быку позволено то же, что и Юпитеру! – Одинцов развел руками.

– Значит, возразить нечего?

– Стоит ли? Что-то о ком-то...

– Но ведь это читают!

– У нас все читают.

– Разве такие статьи не влияют на взгляды молодежи, на их жизнь?

– На жизнь? – Одинцов улыбнулся. – Ты меня сметишь! Повлиять на жизнь может византийская вера, Куликовская битва, Октябрьская революция. А такие опусы влияют разве что на жен авторов. Гонораром! – Одинцов весело покосился в сторону Лидии Владимировны, как бы извиняясь за нелестное мнение о женщинах.

– И только? – улыбнулась она, спрашивая не столько по необходимости, сколько из желания выглядеть участливой, не оставляя без ответа обращенные к ней слова.

– Увы! – Одинцов вздохнул и поглядел в окно, за которым нетерпеливой лавиной двигались автомобили. – Жизнь, друзья, поток. Его можно направить по любой целине, он будет метаться, бурлить и грохотать в поисках русла, но остановить поток нельзя. Вынырнешь где-нибудь на его пути, и уж ни обратно, ни далее предначертанного не уплывешь. Стоит ли

обращать внимание, что рядом с тобой болтается Фалалеев, Бармалеев?

– Значит, пусть болтаются?

– Что делать? В море плавают не одни белогрудые клипера. И все остальное тоже. Неизбежно. Тут никакие возражения не помогут, не освободят от тех, кто фыркает рядом, храпит, жует, сморкается. Что ты на меня волком смотришь?

Долотов встал, давая понять, что больше говорить ему не о чем, и, заложив руки в карманы, посмотрел на Одинцова слегка насмешливо и как бы размышляюще.

– Ладно, интеллигент, спасайся как можешь. Долотов подошел было к двери, но оглянулся и посмотрел на Лидию Владимировну.

– Всего хорошего.

На лестнице он разминутся с женщиной, как-то слишком поспешно посторонившейся. Обозленный на Одинцова, Долотов лишь мельком взглянул на нее, но, усаживаясь в машину, невольно вернулся памятью к светлому расстегнутому плащу женщины, надетому поверх красной кофточки, к знакомой черно-оранжевой косынке вокруг шеи, к сыпучим черным волосам и понял, что это была Валерия.

Минуту он сидел в оцепенении.

С ним это случалось – видеть людей не так, как должно. Он думал о ней лучше, чем она того заслуживала.

«Ты видел воображаемого человека, Одинцов – подлинного. Можешь убедиться, кто прав. Ей наплевать, что думает о ней некто по фамилии Долотов. Пусть занимается своими делами и не суется, куда его не просят. Это один из способов не создавать проблем – не соваться, куда тебя не просят».

Жестокий к самому себе, Долотов не умел оправдывать других. Валерия вошла в его жизнь такой, какой он увидел ее впервые, и тот ее образ только и был памятен и дорог ему.

Он чувствовал себя так, словно его предали.

– Вы в город?

Склонившись к раскрытому окошку дверцы, у машины стояла девушка, забежавшая к Одинцову. Долотов угадал ее по ярким брюкам. Теперь нетрудно было разглядеть и лицо – по-детски округлое, чистое. Но ей, кажется, не нравились ее круглые щеки, иначе она не стала бы укрывать их ниспадающими волосами. И глаза были чистые, хотя и неясного цвета – темно-серые, с беспорядочной мозаикой коричневых кристалликов.

– Да. Пожалуйста. – Долотов рывком открыл дверцу. – Как вас зовут? Ириной? Чудесное имя. Не знаю лучше.

– Да?

– Просто великолепное. Я полюбил ваше имя после спектакля о царе Федоре. Это была его жена. Знаете, да?.. Единственное утешение затурканного царя. С тех пор все Ирины кажутся мне милыми, мягкими, всепонимающими.

Она откинула с лица волосы; едва машина тронулась, как они снова осыпались, заслонив чуть не весь профиль.

– Вам нравится Одинцов?

– Анатолий Александрович? Не знаю, не думала об этом. Я всего три дня в редакции. Почему вы спросили?

– Он мой старый приятель, – невнятно отозвался Долотов.

На память пришла девочка, которую он видел на привокзальной площади возле телефонной будки, ее глаза, полные преданности и отчаяния. «Я стала другая?..» И рядом с нею самодовольный хлыщ.

– Непостижимо!.. – усмехнулся Долотов и посмотрел на Ирину. – Вы не знаете, за что женщины ценят сукиных сынов?

– Они их ценят?

– Может быть, сукины сыны понятнее? А сволочная линия прочнее, потому как эфемерности в ней нет? Причины и следствия – все ясно? И положиться на сукиного сына надежнее – всем понятно, за что он служит?

– Таких не ценят. Ими пользуются.

– Не только ваше имя, но и сами вы – прелесть. Придумайте, что вам подарить, как

развлечь, куда увезти?.. Вы любите лошадей?

Она снова откинула волосы, но теперь придержала их, всматриваясь в Долотова. В его прямой спине, в крепко посаженной голове, в неожиданном несоответствии неподвижного лица живости произносимых слов было что-то настораживающее, но не опасное. Это она поняла. И еще ей понравились его руки; длинные, уверенные, не умеющие отвлекаться пальцы. В них не было ни жеманства, ни блудливости, ни праздных выражений. Всем, чего они касались, что сжимали, передвигали, они повелевали, и делали это по-мужски изящно, то есть просто, строго, всерьез.

– Вам придется меня подождать. Немного.

– Сколько угодно.

...Ирина была москвичкой, училась журналистике, в Энск приехала по вызову редакции, где готовился к печати ее большой очерк о первых шагах воздухоплавания в России. В городе никого не знает, как и самого города.

Живет в центре, в старой гостинице. Знает английский, увлечена воздухоплаванием, знакома со многими старыми авиаторами, отлично водит автомобиль. Вначале она попросила познакомить ее с достопримечательностями города, затем – отвезти в деревню, где родился известный поэт, а чтобы время в пути не пропало даром – «популярно осветить основные аспекты методики летных испытаний».

– Я жадная, да? Дело в том, что в два часа ночи мне уезжать.

...Из деревни, в которой родился известный поэт, возвращались затемно. Половину пути говорили о самолетах.

– А теперь выкладывайте, чем я обязана вашему вниманию? Если скажете, что молниеносно прониклись каким-то особым чувством, я не поверю.

– Проникся – признательностью. Это хорошее чувство.

– Господи, за что?

– За то, что вас зовут Ириной

– Я так и думала... – Она помолчала и с уверенностью прибавила: – С вами что-то произошло.

– Вот и я, когда вы расспрашивали меня о самолетах, думал: «Что-то происходит в этом мире. Даже те из девушек, которых зовут Иринами, перестали понимать, чему радовался господь бог, когда творил их».

– А теперь? Проступило божественное?

– Видимо, да. Если мне захотелось расцеловать вас.

– И что же?

– Боюсь, придется возвращаться к самолетам. – Переждав ее смех, он сказал: – Хватит и того, что вы сегодня со мной.

– Не зря целый день у меня такое чувство, что с вами не все ладно... Такая полоса, да?

– Такая полоса. Мой вам совет: не принимайте свои дни за полосу, это не проходит даром.

– Не сотвори в себе кумира?

– Вы умница, Ирина. Именно в себе. На этом свете все сложнее наших представлений о сложности... Был у нас летчик. Димов. Молодой, веселый, красавец. Теперь его нет. Его хватало лишь на то, чтобы следовать правилам. Знаете таких? Учатся как девочки, экзамены сдают примерно, летают строго по наставлениям. Все у них чисто, гладко, объяснено и доказано. Это хорошо, это плохо, сюда можно, туда нельзя. Работают как живут и живут как работают. Все по полочкам, прошито и пронумеровано. Их всегда подмывает вмешаться, если что-то происходит не так, как их учили.

– У вас есть что-то общее с этим парнем?

– Я говорил, вы умница.

– Что с ним случилось?

– Что случилось?

Несколько мгновений Долотов смотрел на спутницу, ожидавшую ответа со сложенными под грудью руками, и вдруг его неприятно кольнула эта праздная поза, стремление начинающей журналистки при случае обогатиться чужим опытом, не испытав чужой боли.

– На словах не объяснишь. Это надо почувствовать. Садитесь на мое место, – сказал он, приподнимаясь на сиденье. – Сейчас вы все поймете!

Предчувствуя нечто необычное, с округлившимися, блестящими азартом глазами она охотно втиснулась на место Долотова, взялась за руль. Неуверенно попетляв по пустынному асфальту, «Волга» выровняла ход.

– Разгоняйте, – сказал он, когда Ирина освоилась за рулем. – Сейчас будет мост, за ним крутой поворот.

– Ну?

– Не сбавляйте скорости и в начале поворота бросьте руль!

– Вы что?!

– За вас работает автоматика.

Набирая скорость, машина мчалась по старому, растрескавшемуся асфальту. Наконец впереди показались белые перила небольшого моста.

– Сейчас! сказал Долотов, испытующе взглядываясь в напряженное лицо Ирины.

Машина минула мост, показался крутой поворот вправо.

– Бросайте!

Подчиняясь, она на несколько мгновений оставила руль и тут же схватилась снова. Но «Волга» уже сорвалась с дороги, скатилась с насыпи и, подпрыгивая, неслась вдоль опушки леса. До деревьев оставалось совсем немного, когда машина наконец встала. Отражаемый березами свет фар освещал лицо Ирины, в изнеможении запрокинувшей голову.

– Мы сумасшедшие, – сказала она.

– Не смогли? А ведь просто. Вот и он не смог... Испугались?

– Не знаю... Нет, не то... Было и жутко, и радостно. Так бывает, когда любишь и тебе все равно: или разобьешься вдребезги, или сердце лопнет от счастья.

Оставшийся путь она сидела примолкшая.

«По крайней мере, я познакомил ее «с некоторыми аспектами», – думал Долотов, задним числом испытывая неловкость из-за мальчишеской выходки, напоминавшей посадку с Лютровым на спарке.

– Вы любите свою жену? – вдруг спросила она, когда они подъезжали к городу.

– Нет.

– А если бы любили и она попросила вас оставить вашу работу?

– Оставьте молитву ради женщины, говорил Златоуст. Молитву бы я оставил. Работу нет.

Я сам ее выбрал.

– Но ведь так жить страшно.

– Страшно жить кое-как.

## 9

О том, что Разумихин назначил Долотова испытывать С-441 на большие утлы, Чернорай узнал от Руканова сразу же после возвращения из Москвы. Володя вызвал к себе Чернорая, чтобы, как он сказал, «вести во все аспекты решения».

– Летняя репутация Долотова, на мой взгляд, критически не осмыслена, – говорил Руканов. – Это как раз тот случай смешения понятий, когда везение принимается за талант. Но такова власть легенды, вы должны понять это.

Руканов помолчал. И, вытянув перед собой руку, оглядел ногти. Он намеревался сразу же выяснить реакцию Чернорая, но тот тоже молчал.

– На фирме, мягко говоря, не все ладится, – продолжал Руканов. – И если Разумихин привял это решение, его можно понять, здесь определяющим обстоятельством послужило вполне понятное желание предусмотреть все, даже хорошую примету. Так что на начальство обижаться не следует.

Легко сказать «не обижайся», когда тебя выставляют человеком, на которого нельзя положиться. Чернорай свыкся с лайнером, это была его работа, и он старался делать ее как можно лучше. Служебные заботы захватили его целиком, у него не было личной жизни, не было других привязанностей. Он уходил с работы, чтобы выспаться, побриться, надеть свежее

белье и вернуться на аэродром. И вот...

– Конечно, обладай Долотов элементарным тактом, он мог бы отказаться, но... вы знаете Долотова. – Руканов сделал вид, что продолжать говорить на эту тему излишне.

«Как бы он ни уверял себя, что Долотов тут ни при чем, что распоряжение исходит от Разумихина, – думал Руканов, глядя на тяжелые плечи Чернорая, – сам факт подмены оскорбляет его, и это не может не ска-заться на его отношении к Долотову».

Слушая Руканова. Чернорай подумал было отказаться от совместных с Долотовым полетов. На это Володя втайне и рассчитывал, он понимал: никакими другими путями, как только осуждением Долотова самими летчиками, дискредитировать его невозможно, нужно только хорошенько подсказать Чернорая, как ему следует расценивать событие и что он должен вывести для себя из поведения Долотова.

Однако Чернорай по складу характера был военный человеком, и, поразмыслив, решил оставить все как есть. Дело должно делаться. Но каким бы сильным человеком он ни был, как бы хорошо ни держал себя в руках, согласие Долотова летать на лайнере если не оскорбляло, то обижало Чернорая, невольно заставляя думать и чувствовать все то, что подсказывает человеку обида. Чернорая сорок два, Долотову тридцать четыре. Чернорай никогда «не высовывался», не претендовал ни на какие «хищные» работы, а делал то, что поручали. Лайнер – его первая опытная машина и, может быть, последняя. Почему же он должен садиться в кресло второго пилота, как раз тогда, когда самолет предстоит испытать в режимах, которые являются своеобразным экзаменом мастерства летчика?

...До начала полетов на С-441 осталось оговорить проект программы начального этапа и выйти с ней на расширенный методсовет с участием работников отдела летных испытаний фирмы, представителей летного института и министерства. Но дело неожиданно застопорилось.

Заседали с утра. После того как была заслушана подготовленная Углиным программа, Гай-Самари, как председатель методсовета фирмы, предложил присутствующим высказаться по существу. Вначале казалось, говорить вроде бы не о чем. Наконец, Углин, примостившийся на подлокотнике кресла, сказал, разглядывая погасшую сигарету:

– Есть поговорка: прежде чем войти, подумай о выходе.

– Не очень понятно, – сказал Рукавов. – О каком выходе идет речь?

Углин поправил очки и оглядел присутствующих с таким видом, словно удивлен всеобщим вниманием.

– Внесем ясность. Я очень уважаю Вячеслава Ильича и Бориса Михайловича, – он перевел глаза с Чернорая на Долотова, – но мне кажется, они не все продумали, когда давали согласие летать на эти режимы-при существующих на лайнерах средствах спасения.

Чернорай посмотрел на Углина, явно не понимая, куда он клонит. – Да, да, Вячеслав Ильич: если после сваливания самолет не удастся вернуть в полетное положение, я не хотел бы оказаться на вашем месте.

– В этом нет необходимости, Вячеслав Ильич на своем месте, – сухо заметил Рукавов, косвенно давая понять, что не только Углину, но и Долотову нечего делать на борту лайнера.

– Что вы имели в виду, Иосиф Иванович? – спросил Долотов.

– Катапульты. А вернее – их отсутствие. Руканов вскинул голову.

– Вы знаете такие фирмы, где на опытные пассажирские самолеты ставят катапульты?

– Где ставили, не знаю, а где не ставили – пожалуйста. – И он принялся перечислять, загибая пальцы, те иностранные фирмы, где из-за отсутствия эффективных средств спасения гибли испытатели.

– Но вам же известно, – сказал Рукавов, что на С-441 смонтировано специальное устройство для покидания самолета в аварийном случае. Оно имеет автономное электропитание, независимое от...

– Ну и что? – насмешливо прервал Углин. – А если лайнер поведет себя как «девятка»? Второй раз противоштопорный парашют может и не сработать.

– Во-первых, на «девятке» не было, а на лайнере установлен автоматический указатель углов атаки и перегрузки, а во-вторых, смонтированное на нем устройство для аварийного покидания самолета в свое время испытывалось в летном институте. Есть заключение.

– Ну и что? – тем же тоном повторил Углин. – Оттого, что летчики будут знать, при каких



обстоятельствах началось сваливание, им не легче будет выбираться, если машину все-таки придется покидать. А что касается упомянутого вами заключения об испытании подобного устройства, то оно проводилось в летном институте на совсем другом самолете значительно меньшем. Об этом написано упомянутое вами заключение. Все эти аккумуляторы, тросы, лебедки, – Углин пренебрежительно махнул рукой, – несерьезно... Что вы будете делать, – он посмотрел на Долотова и Чернорая как на неразумных детишек, – что вы будете делать, если в этой городьбе что-нибудь заест? И в какой ситуации придется включать лебедки? Не забудьте, вас двое, покидать самолет надо по очереди. Словом, лайнер надо «опрыгивать».

Нужно проверить именно то устройство, которое стоит на С-441.

– Вы правы, – сказал Долотов. – Устройство должно быть испытано. На лайнере. В полетных условиях.

В комнате стало тихо. Никто не ждал, что именно Долотов поддержит Углина. И меньше всех – Руканов.

– Вячеслав Ильич, вы тоже так считаете? – Володя повернулся к Чернорая, чуть вздернув в иронической усмешке уголок сжатого рта. Руканов был уверен, что тот из одного чувства противоречия ответит отрицательно.

Гай сидел за председательским столом и тяжело переживал эту паузу. Если Чернорай скажет «нет», его возражение ничего не изменит, Углин все равно настоит на своем. Гай-Самари знал, что, не случись этого разговора, Чернорай, как и Долотов, принялся бы за испытание лайнера вообще без всяких приспособлений. Но коль скоро о них заговорили, возражать Долотову – значит заниматься дешевой бравадой. А нет ничего опаснее для репутации летчика-испытателя, как вольное и невольное намерение выставить себя готовым идти на большой риск, чем твои друзья. Одно дело – рисковать по своему почину и получать выговоры, как это случилось с Долотовым, другое – заранее возвещать о готовности перещеголять других.

А Чернорай, глядя на Углина, вспомнил, как восхищался ведущий первым вылетом лайнера, что говорил, поздравляя его, Чернорая, а заодно и Лютрова, который тоже любил этого нескладного человека. Вспомнив все это Чернорай со всегдашней кажущейся безучастностью к происходящему спокойно произнес:

– На производстве должна быть техника безопасности.

Углин удовлетворенно склонил голову и ткнул указательным пальцем в очки над переносьем. Жест получился очень похожим на тот, каким выражают нелестное понятие о чьих-либо умственных способностях – и на секунду Руканову показалось, что это относится к нему. Он не сразу понял, что ошибся, а потому забыл, как собирался возразить. Тем временем поднялся Гай-Самари.

– Предлагаю вынести такое решение: выходить на расширенный методсовет после опробования устройства для аварийного покидания самолета. В том случае, разумеется, если испытание даст положительные результаты... Есть возражения?

Возражений не было.

Вернувшись в занимаемый им кабинет начальника отдела летных испытаний, Руканов аккуратно присел в поворотное кресло за письменным столом, достал из кармана маленький кусочек замши, старательно протер очки, вздел их, убрал замшу, оглядел стол и, сложив пальцы, как буддист на молитве, задумался.

Нужно было хорошенько осмыслить столь неблагоприятно сложившуюся для него обстановку на методсовете. До сих пор Володя считал, если его и подводили (тот же Белкин), то сам он безупречен, потому что из свойственной ему осторожности не предпринимал ничего сомнительного, не вводил никаких новшеств.

Руканов и впредь не собирался связывать себя какими-то нововведениями. Он хорошо понимал, что в том налаженном временем и особенностями опытного производства механизме, каким была летно-испытательная база, нельзя ничего менять, если эти изменения не вызываются требованиями дела. А до тех пор установившийся стиль работы – лучший. Да и вообще легче выстроить новый завод, оснастить его самым современным оборудованием, набрать и обучить людей управлять им, чем заменить какое-нибудь одно звено в цепи сложившегося заводского уклада. Замены эти происходят настолько болезненно, обнаруживают

столько неожиданных препятствий, касаются столько людей, их интересов, поднимают такую непросто объяснимую волну противодействия, что брать на свою голову подобные дела рискуют лишь очень энергичные люди. И очень верующие в то, что они делают. Володя не относил себя к их числу, хотя и возраст, и образование, и современные взгляды создавали у окружающих представление о нем как об инженере «новой формации». Руканов здраво рассудил, что по-настоящему заниматься производством – это потная, «грузовая» работа, та самая горка, которая укатала не одну «сивку». Была другая, не менее обширная область, где можно прослыть ревнителем современных веяний и при этом не сделать ровным счетом ничего. Область эта именуется администрированием и представляет собой вечно девственный край для освоения. Нет ничего, что столь же легко может быть поставлено в вину подчиненному и что потребует от него больших усилий для оправдания, как, например, его отношение к своим обязанностям. И Руканов никогда не упускал случая потребовать от подчиненных «должного отношения». Обнаружив две ошибки в служебной бумаге, он говорил машинистке:

– Ваша обязанность не просто стучать по клавишам, а делать это по-русски.

Машинистке было под сорок, ее десятилетний сын болел полиомиелитом, но даже когда появились необратимые последствия болезни, женщина не рыдала так, как после замечания Руканова, этого сухого, трезвого, образованного человека в оговоренных очках.

– Где дежурный автобус? – спрашивал Руканов диспетчера Гаврилыча.

– Только что был, – кто-нибудь уехал... Вам что, прислать?

– Как же вы пришлете, если не знаете, где он? – отвечал Руканов и наставительно прекращал разговор.

– Почему вас нет на месте? Я звоню второй раз, – четко выговаривал Володя начальнику отдела эксплуатации. – Вы обязаны находиться на своем рабочем месте.

Руканов не повышал голоса и не превышал полномочий. Он проявлял власть, власть проявляла его. Он был неприятен всем, но неуязвим, а значит, неприятен вдвойне. Самого его это не трогало, он не искал «дешевой популярности». Производство есть область практической деятельности, а не институт духовного совершенствования. Для дела необходимо, чтобы личность функционировала, то есть была подчинена производству «от и до». Дело страдает не от нравственного самосознания человека, а от его недостаточно ревностного отношения к своим обязанностям. Цена работнику – в степени его пригодности для того дела, к которому он приставлен, а кто и что думает об этом работнике, питают ли к нему расположение окружающие или нет – это из области гуманитарных понятий, технический эффект которых равен нулю. В «аппарате» каждый должен помнить о своих обязанностях, знать свое место, быть готовым неукоснительно выполнять распоряжения сверху, и Руканов из всех сил старался показать себя человеком на своем месте, не забывая, что для этого недостаточно знать дело, нужно уметь производить впечатление хорошего работника.

И мог ли он предполагать, что его подстерегает удар именно с той стороны, откуда он меньше всего ожидал?..

Казалось, все шло как надо. Еще три дня назад он доложил Соколову, что С-441 подготовлен для полетов па большие углы и что дело лишь за утверждением программы на расширенном методсовете. Не только доложил, но и был уверен, что машина действительно готова. Теперь, воображая неминуемое объяснение с Главным и все то, что ему, Руканову, придется говорить об отсрочке полетов, Володя до хруста стискивал тонкие белые пальцы – настолько унижительным представлялось ему это объяснение в сравнении с тем обстоятельным, немногословным, вполне корректным докладом, который он сделал Соколову, сообщая о готовности лайнера. Руканов в этом докладе предусмотрел все, что могло интересовать Главного, – и подготовку летчиков, и монтаж экспериментального оборудования, и киносъемку некоторых режимов с самолета сопровождения. Что же подумает о нем Соколов?

Мало того. Теперь летчики – и не только они – будут говорить, что Углин занимается лайнером добросовестнее, чем это делал Руканов!

Володя и без напоминания Углина понимал, что устройство не отличается надежностью, как понимал и то, что во время «опрыгивания» нельзя предусмотреть всех условий, при которых, возможно, придется этим устройством воспользоваться: кто может сказать, как поведет себя лайнер после сваливания? Но ведь и Углин все это отлично представляет! Зачем

же поднимать вопрос об этом «опрыгивании»? Чтобы противопоставить себя Руканову? Вызвать у руководителей КБ недоверие к его опыту, то самое недоверие, которое так недвусмысленно выказал Боровский на методсовете перед несостоявшимся вылетом дублера? Но побуждения Боровского ясны, а вот Углин чего добивается?

Однако спорить с Углиным, а тем более с летчиками, означало для Руканова рубить сук, на котором сидишь: требования летных экипажей, связанные с безопасностью полетов, обжалованию не подлежат, их нужно выполнять.

Первым поддержал Углина Долотов... Так и должно было случиться. То ли еще будет, когда вернется Данилов, и Руканов перейдет на прежнюю работу, а Долотов обоснуется на С-441! Ему история с характеристикой, наверное, в подробностях известна от Гая-Самари. На минуту вообразив, скольких людей он успел восстановить против себя, пока замещает Данилова, Руканов почувствовал смутную тревогу.

Но тут он укорил себя за то, что теряет драгоценное время на вещи ненужные и малозначащие, когда следует серьезнейшим образом обдумать первоочередное. Но поскольку для него не было ничего более первоочередного, чем зарекомендовать себя в полной мере пригодным для повышения в должности, поскольку только эта цель владела им безраздельно и подсказывала направление размышлений и действий, ему трудно было отличить одну тревогу от другой.

На память пришел разговор с главным инженером производственной части летной базы. Он обещал выпустить дублер после доработок раньше срока. Вот и Белкин уже приходил хлопотать насчет наземного экипажа.

Впрочем, Белкин – себе на уме, опасается, как бы на дублер не посадили кого-нибудь из молодых, кто растянет испытание самолета до второго пришествия... С высоты собственных устремлений Руканов презирал устремления Ивочки, считая, и не без основания, что Белкин принадлежит к «товариществу с ограниченной ответственностью», представители коего никогда не связывали достижение целей с необходимостью блюсти апломб.

Но как бы то ни было, интересы Руканова и Белкина совпадали: и тот и другой, пусть по разным причинам, всячески противились работе Долотова на лайнере.

«Скорей бы кончал Журавлев свои эксперименты, – думал Руканов. – Чем раньше Долотов начнет летать на С-224, тем лучше».

Пока его не посадили на лайнер, Чернорай был куда покладистее.

«Ни капли самолюбия», – пренебрежительно подумал о нем Руканов, не замечая, что противоречит себе: все то, что было до сих пор удобно в характере Чернорая, стало никуда не годным, как только сделалось помехой Руканову.

Посидев в неподвижности еще несколько минут и не найдя в своих размышлениях ничего утешительного, Руканов потянулся к телефону – нужно было связаться с летным институтом и просить прислать на фирму парашютиста-испытателя для «опрыгивания» лайнера.

## 10

После майских праздников Долотов перебрался за город.

В первый день вместе с ним и Костей Караушем на дачу приехала Даля. Долотов избегал обращаться к ней по имени в подражание Косте, но и спросить, как ее величают, тоже было неловко; отчество могло смущать ее или «неблагозвучностью», или, что всего вероятнее, она могла считать, что ей еще рано, еще не по возрасту называться по имени-отчеству. Впрочем, если бы не положение хозяйки дачи, вряд ли он раздумывал, как ее называть. Но вскоре Долотов забыл об этом.

Простота и естественность Дали очень располагали к себе, устраняли все недосказанное, все недомолвки первого знакомства. А это немаловажно: всегда легче живется в доме человека, к которому испытываешь расположение.

Даля водила его из комнаты в комнату, раздвигала шторы, распахивала окна, что-то прибирала, что-то встряхивала, мимоходом расспрашивая о его семейной жизни. Отвечая, Долотов с недоумением обнаруживал, как немного нужно слов, чтобы кому-то постороннему стало понятно, кто он таков и почему, столько-то лет прожив с женой, ушел от нее. Все

выходило ясно и заурядно. Но попробуй то же самое объяснить себе! Едва примешься за дело и тут же по уши увязнешь в причинах и следствиях, обвинениях и сомнениях, обидах и угрызениях совести, в сопоставлениях прошлого с настоящим...

С той же обезоруживающей непосредственностью, с какой Даля интересовалась его жизнью, она рассказывала о себе, о своем неудачном замужестве, как если бы воочию убедилась, что такому человеку, как он, да к тому же другу Кости, можно говорить обо всем. Долотов терпеливо слушал ее, ходил за ней по пятам, прилежно оглядывал комнаты и все, что в них было, пытаясь составить представление о людях, которые здесь жили. На этажерке из декоративно подпаленного бамбука он обнаружил книгу Данте «Новая жизнь». Она лежала среди словарей, справочников оптовых цен на металлоизделия, машины и оборудование. Старинный рисунок в книге, изображающий встречу поэта с красавицей Беатриче, внезапно пробудил в Долотове далекое и летучее, как дыхание, юношеское предощущение любви к своей Беатриче, к той неведомой, единственной женщине, как бы сотканной из слов сонетов, – прекрасной и бесплотной. Но, едва появившись, ощущение это тут же исчезло. Зачем оно приходило? Что предвещало? Новую жизнь?

– Это очень старое издание, – сказала Даля. – Хотите, подарю?

– Спасибо.

Прохаживаясь по участку, оглядывая добротный сделанный дом, окруженный плотвой рощицей берез, пристройки, яблоневоый сад, кусты красной и черной смородины, посаженные вдоль плотного забора, за грядками с клубникой и ревенем, Костя приговаривал:

– Да, хорошо, у кого такой папа. А у кого ни папы, ни мамы?

Но что бы он ни говорил, Даля оставалась невозмутимой, и даже когда он по-свойски потрепал ее за двойной подбородок, она посмотрела на него скорее снисходительно, чем осуждающе, и, повернувшись к Долотову, заметила:

– Он, как мальчишка, хочет казаться хуже, чем есть.

– Для чего?

– О, причин – хоть отбавляй!

Костя промолчал, лишь коротко поглядел на Дालю. Глаза его были настороженно сощурены, словно он ждал первого же ее промаха, чтобы приняться палить в ответ.

Начатый в саду разговор продолжился на террасе, где они присели «на дорожку». Вспоминая потом этот разговор, Долотов понял, что оказался тем самым третьим лицом, без которого, как без посредника, иным не удастся ни высказаться самим, ни выслушать других.

Откуда-то тянуло дымом прошлогодней листвы, пахло намокшими за весну и еще не высохшими досками заборов, влажной землей. Солнце висело где-то низко за деревьями, его лучи касались вершин лишь самых высоких берез.

– Он только и делает, что старается показать, будто всегда был таким, – говорила Даля, глядя на Костю с шутиливой укоризной.

– Он был другим?

– Еще бы! Он был славным парнем. Я таких и не знала. То есть я никаких не знала, но у меня хватило ума понять, что мне повезло. Никакая девушка не забывает, как с нею обошлись, когда она еще ничего не понимала. – Щеки ее тронул легкий румянец. – На людях он всегда немного хвастал, но я-то знала, какой он.

Костя хотел было что-то сказать, но лишь вздохнул и поглядел в потолок.

– Зато потом он очень постарался все испортить.

– Ничего я не старался.

– Еще как!

Костя резко поднялся, вышел во двор, отыскал там старые грабли и принялся сгребать листья.

– Вот всегда так. То ничего, а то... Конечно, ему обидно. Что ни говори, эти пятнадцать лет, их не вычеркнешь. Вся наша молодость... Разумеется, я тоже была виновата, мне нужно было пойти к нему, найти его, а я отступилась.

«Людям всегда кажется, что все нескладное в их жизни – это следствие того, что когда-то они не догадались или не захотели сделать самое нужное и самое важное, – думал Долотов, слушая погрустневшую Дालю. – Но, ошибаясь, человек обязан понять, где выход. Вот главное.

И уже не отступаться. Иначе вся жизнь от рождения до смерти, от начала до конца будет бестолковой».

– В шкафу два пледа, одеяло и подушка. Постельное белье в комод, – говорила Даля, когда Долотов отвозил их с Костей в город. – Стелите где угодно: хотите на тахте, хотите на кровати, в маленькой комнате. Магазин недалеко, на краю деревни, ресторан на междугородном шоссе, рядом со станцией обслуживания автомобилей. А если надумаете сами готовить, на кухне газовая плита, только надо открыть баллоны, они в ящике за стеной дома.

По всему было видно, в этой заботе о нем сказала рука Кости Карауша.

Но Долотов не пользовался ни бельем, ни кухней, ни огромным, как гроб, «телефункеном», спал в трикотажном костюме под золотистым одеялом, по утрам ходил на реку или полоскался под холодным душем в будке с черной бочкой на крыше, там же брился, потом кипятил чай в электрическом чайнике и уезжал на работу.

Странно было слышать свои шаги в пустом доме, двигаться, одеваться, зная, что рядом никого нет. Он никак не мог привыкнуть к тишине, к шороху деревьев, к раскачиванию ветвей плакучих берез за окном. Если город давно притупил внимание к себе, научил сторониться назойливости шума, мельтешения лиц, ныли, пестроты, то здесь он невольно тянулся слухом к каждому шороху, скрипу, здесь все бросалось в глаза, здесь, наконец, он обнаружил, что не все в городе было скверно. И даже обрадовался, когда Витюлька передал ему приглашение Игоря «прибыть на плов»; металлург получил-таки свою премию.

...Стол был накрыт на тринадцать персон, о чем Долотов узнал от матери Игоря, Евгении Михайловны, едва ступив на порог вместе с Извольским. Хозяйка говорила это каждому входящему, так что для тех, кто был в квартире, в этом повторении слышалось заклинание духов неудачи.

У Евгении Михайловны было тонкое выразительное лицо и красиво поседевшая голова, приставленная к нелепому туловищу, состоявшему, казалось, из слишком больших костей. Она напоминала тех уродливо нескладных женщин, чье уродство хоть и явно, но не вдруг определимо. Таким женщинам все очень трудно дается, даже дети, и они их не просто любят, а проживают рядом с ними свои вторые жизни, более прекрасные, чем первые. И готовы на все, защищая свое богатство, а две разные, по-разному прожитые жизни предполагают в них и ум, и опыта ость, и непримиримую властность.

К оговоренным семи часам вместе с хозяевами в квартире собралось одиннадцать человек: маленький, высохший, внимательно слушавший всех, но молчаливый старичок – брат погибшего в войну отца Игоря, известного военного; бабушка Игоря по матери, в прошлом видная журналистка, сохранившая до старости нотки очарованности в голосе; два соавтора-лауреата с женами; худенькая девушка, которую словоохотливая бабушка называла невестой Игоря и «своей сестрой», потому что та была младшим научным сотрудником института языковедения; Витюлька и Долотов.

В ожидании приглашения к столу, сиявшему хрусталем и фарфором посреди большой комнаты, Евгения Михайловна наказала мужчинам развлекать женщин, затем включила серый магнитофон, что стоял на маленьком рояле, и принялась расставлять там и сям хрустальные, тяжелые, как булыжники, пепельницы. В это время послышался очередной звонок в квартиру.

– Это двенадцатый и тринадцатый! – оповестила Евгения Михайловна, заторопившись к дверям. И через минуту вернулась вместе с Валерией и Одинцовым.

Как бы ни была неожиданна эта встреча для Долотова, он все-таки не мог не заметить, что припоздавшие гости были представлены с той осторожной церемонностью, каковой хозяева выдают свое особое отношение к определенной категории приглашенных, которых видят впервые, но «премного наслышаны».

Из-за шума в комнате ни манерность представления новых гостей, ни сами гости ни произвели на собравшихся особого впечатления. Говор лишь слегка поутих, чуть притормозил течение, чтобы каждый мог скользнуть глазами в сторону новоявленных, улыбнуться, кивнуть, произнести слова приветия, и приостановившиеся беседы покатали по прежним ухабам.

Валерия не вдруг заметила Долотова, но когда увидела, то в первую секунду явно растерялась, а затем разгневалась на себя; волнение обернулось досадой, на красивом лице обозначилось выражение упрямого сопротивления... Чему? Может быть, в глазах Долотова

слишком ясно определилось нелестное отношение к ее появлению с Одинцовым?

Державшийся у нее за спиной Одинцов увидел Долотова сразу, словно искал его, тут же кивнул с тем равнодушным видом, который как бы говорил: я загодя знал о нашей встрече, предполагая твое недружелюбное отношение к ней, но я всего лишь сделал свое дело, привел Валерию и теперь умываю руки. И даже присел не рядом с ней, на один из стульев, а на угловую софу, в компанию к Витюльке, соавторам и их женам, и, пока соавторы изошрялись перед Извольским в аргументах «про» и «контра» новой гипотезы (после получения премии все кажется по плечу), Одинцов принялся рассказывать анекдоты. Одна из жен соавторов вначале сдержанно, с оглядкой, а там все раскатистой хохотала, в то время как жена другого соавтора, которой тоже хотелось посмеяться, лишь досадливо улыбалась. Наконец не выдержала, сдвинула Извольского и мужа к одной стороне и пересела поближе к Одинцову, принявшему ее с очаровательной улыбкой.

Долотов едва сдерживал себя от того, чтобы встать и уйти – до такой степени он почувствовал себя лишним, заметив почти презрительное выражение на лице Валерии, когда она обнаружила его среди гостей.

Поглядев, как устроились «двенадцатый и тринадцатый», Евгения Михайловна заторопилась на кухню, где ее сын алхимничал над пловом.

– А это из собрания бывалого авиатора, – травил Одинцов. – Курсанты собрались прыгать с парашютом...

Женщины смеялись так громко, что заставили замолчать даже соавторов. Витюлька воспользовался случаем и присел рядом с Валерией, радушно улыбнувшейся ему. Молчаливый старичок, приглядевшись к гостям и послушав каждого из них, не без удовольствия принялся разглядывать бухарские ковры, льдистое великолепие хрусталя за стеклами горки, старинный рояль с магнитофоном на нем, почти дворцовую драпировку окон, затейливую люстру, темно-вишневую обивку мебели и уставленный дулевым фарфором стол. Скрестив руки на груди, он как бы напивался убранством квартиры, ни разу не повернув головы в сторону Одинцова, словно там не было ни смеха, ни восклицаний. Некоторое время и Долотов вслед за стариком оглядывал наследное жилище, в котором находил много общего с коврами, секретерами, фарфором и горками Риты Арнольдовны... Пришла на память Лия – она ни разу не позвонила ему, не спросила, почему он ушел, где и как живет. Что ж, по-видимому, прекрасно обходилась и без его объяснений.

– Я не позволю вам скучать! Идите сюда. – Долотова взяла под руку шустрая бабушка Игоря.

Он присел рядом с ней, и бывшая журналистка принялась говорить об отличиях, «литературы будней» от прочих видов словесного творчества, обращаясь разом и к Долотову и к невесте Игоря, вежливо кивавшей на вопросительные междометия литбабушки. Невеста относилась к редкому в наше время типу девушек душевно утонченных и мягких, чьи жизни обойдены сильными привязанностями, переживаниями, страстями, и это откладывает на них отпечаток какой-то стерильности. Они робки, деликатны, все в них благопристойно – улыбка, глубина выреза на платье, цвет чулок и форма шляпок. У них одних несмело выступающая грудь выглядит так, будто обложена под платьем газетной бумагой.

Долотов старался быть внимательным и заслужил комплимент.

– Вы мне нравитесь! – со смелостью ничем не рискующего человека сказала литбабушка. – Чем-то напоминает Христа, но мужчинистее! И цвет лица несравнимо лучше!..

Долотову все труднее было поддерживать разговор. Как приемник с хорошей избирательностью, он цепко улавливал среди шума и суеты в квартире каждое сказанное Валерией слово, каждое ее движение. Быть с ней в одной комнате и не иметь возможности подойти – это настолько сковывало Долотова, требовало какого-то приниженного ложного поведения, что порой становилось невмоготу, и он выходил в коридор покурить, благо литбабушка увлекалась магнитофоном. И оттуда, из затемненного коридора, рассматривал Валерию без опасения быть ею замеченным.

Она сидела рядом с Извольским неподалеку от невесты Игоря, и один из соавторов, сунув руки в карманы брюк и положив ногу на ногу, уставился на Валерию как на главного докладчика научного симпозиума, только не умственным, а тоскливым собачьим взглядом,

изредка переводя его на невесту Игоря, будто сравнивая девушек. Валерии было далеко до интеллигентности соседки, да что в том – было написано на лице соавтора, – что девушка в очках тихим голосом цитирует Заратустру? Что этот Заратустра по сравнению с темным пушком па верхней губе Валерии, шоколадной родинкой на ее шее? Невеста присаживалась не иначе как на самый кончик стула, а ходила так, словно пятками затирала следы за собой – изящная, ломкая...

– Красивая девушка, – услышал Долотов. – Вы ее знаете?

– Да.

В коридоре к Долотову присоединился внимательный старичок.

– Грузинка, – то ли оповестил, то ли спросил он.

– Нет. Впрочем, не знаю...

Теперь и Долотов заметил на лице Валерии то одухотворенное тихой печалью выражение, какое можно видеть на лицах грузинских красавиц: в их огромных медлительных глазах, в чеканном изгибе губ таится как бы предчувствие страданий от дарованной им красоты.

– Я ее помню, вы меня понимаете? Да, ее. Она приносила что-то на комиссию. А что, затрудняюсь сказать. Может, платье, может, еще чего... Я вам не сказал, я работаю приемщиком в комиссионке. В этой девушке есть что-то настоящее, знаете. Без натяжки. Я еще тогда заметил. Не потому, что она красива, нет. В ней, знаете, деликатность высокой пробы. Я знал красивых женщин. Еще не очень давно они ходила в комиссионку чаще, чем старухи в церковь. В людях, знаете, бывает, что красота – одна видимость, как у вещей.

Старичок помолчал, выискивая, куда бы стряхнуть пепел сигареты.

– У Жени пристрастие – иметь все высшего сорта. Так когда эта девушка вошла, я подумал, что на этот раз Женя замахнулась «на всю катушку». И еще подумал, что рядом с Игорем она будет в медной оправе, вы меня понимаете? Но Игорь тут ни при чем. Это сначала мне показалось, что прилетела первая «пчелка» на его деньги. Вы меня понимаете?

Он посмотрел на Долотова так, словно ждал вопроса, и, не дождавшись, продолжал:

– Какой-то кретин сказал, что деньги не пахнут. Не верьте. Они не только пахнут, они имеют лицо. Все зависит, кто и как их зарабатывает и на что тратит. Это легко понять, когда видишь, как человек начинает складывать потрепанные изгаженные бумажки и засовывать в карман дорогого пиджака, или когда их вынимают из ароматного нутра дамских сумочек... Все имеет свой запах. И деньги и вещи... А вещи, знаете, много могут рассказать. От них всегда идет запах жизни человека. Они всегда выдают своих хозяев, и даже тайные склонности. Как бы там небрежно клиент ни разворачивал сверток, как бы он ни был одет и как бы ни смотрел на меня, я по запаху вещи понимаю, кто он. Или это скупердяй, который вернулся из-за границы с тремя нейлоновыми шубками; или это прожившийся актер, и ему позарез нужно взять четвертной за сторублевый плащ; или это студентка, которая принесла мамин оренбургский платок, потому что за нее никто не платит ни в кино, ни в сосисочной; или это забулдыга, встряхивающий только что почищенный бензином, давно уже не модный пиджак... Все несут с вещами запах своей жизни. Вы меня понимаете? И если я вижу перед собой ни разу не надеванный монгольский реглан с его благородным ароматом кожи, это, знаете, кое-что говорит о владельце. Монгольский реглан – это целая эпоха, которую тоже сдали в комиссионку. Когда начинаешь разбираться в вещах, начинаешь понимать людей. Это не просто, знаете. Тоже наука.

Старичок улыбнулся чему-то и прибавил:

– Было время, когда во всем городе один я отличал драп кастор от сурлагана... Вы меня понимаете?

– От чего? – спросил Долотов и подумал: «Жулик какой-то».

– Вот и приемщики, как и вы, даже не знали, что это такое. А сурлаган – это берете светло-серое шинельное сукно, красите в синий цвет, потом бреете ворс безопасной бритвой, обрезаете до нужной ширины и натираете растопленным на ладони сливочным маслом, чтобы придать сукну характерный для кастора блеск. Да еще «для булды» посыпаете его нафталином, делаете вид, что вы его вынули из сундука бабушки. Цена на отрез после такой обработки возрастала вдвое. Сурлаганчики имели свою копейку... Только не у меня. Вы понимаете?

Старик хитро посмотрел на Долотова и, словно заручившись его снисходительностью,

страхнул пепел прямо на пол. Он замолчал потому, наверное, что в комнате стало тихо.

Невеста Игоря стояла у рояля, между литбабушкой и Одинцовым, и негромко говорила, по-учительски разделяя слова:

– Кем, в нравственном понимании, проживет человек в наше время, определяет не род занятий и не то, что мы предложим ему почитать, а его общение с людьми. Общение людей в конечном счете всех со всеми – вот самая действенная наука. И если это общение будет лишено красоты, добра, возвышенных правил, если между мужчиной и женщиной мы будем видеть только сходство и не замечать различий, а это очень даже может быть при ложно понимаемом равноправии, то никакое образование, даже гуманитарное, не воспрепятствует дурному в человеке. Чтобы поступать «как надо», человек должен на собственном опыте удостовериться, что это достойнее, чем «как мне хочется».

Ей отвечал Одинцов, которого литбабушка слушала как бы даже с наслаждением, любясь его барственным баритоном, его большой головой.

– Ныне простота общения – бзик, – сказал Одинцов.

Услыхав это слово, старушка опустила голову так, словно собиралась бодаться, видимо, ей послышалось в нем что-то неприличное.

– Как вы сказали?

– Бзик. То же, что и хобби, только по-славянски и более точно определяет суть явления.

Долотову мало-помалу все надоело – ожидание, разговоры, голос певицы из магнитофона... Он дал себе слово найти предлог выбраться из квартиры сейчас же, как только пройдут первые минуты программной трапезы. Идти в комнату не хотелось. Он стоял и стоял в коридоре напротив распахнутых дверей и непрерывно курил, чтобы это его стояние в стороне от всех не выглядело странным, не бросалось в глаза.

Справа от стола, на угловой софе, уютно расположились Извольский, жена одного из соавторов и Валерия. Здесь, будто в пику отвлеченным материям, о которых шла речь возле рояля, говорили о «мирском», о том, «что почем», где играет пятая жена знаменитого итальянского кинорежиссера и какими достоинствами должны обладать мужья. Жена соавтора, маленькая, вертлявая, с какими-то лисьими несытыми глазами и ультрасовременными взглядами, считала, что главное достоинство мужа – его профессия.

– Да и вообще профессия – это и есть человек, – говорила она.

– Вот как? – Извольский откровенно усмехнулся. – Вы где работаете?

– Я? Нигде. Значит, пустое место?

– Это не мой вывод.

– Но ваша логика.

– Нет, ваша! – Извольский рассмеялся. Чувствуя, что попала впросак, дама принялась объясняться:

– Я окончила юридический, работала в НИИ консультантом. Но муж против. А вообще я могла бы прекрасно устроиться на киностудии, у меня есть связи.

– Лицедействовать?

– Сниматься, – пояснила дама, не очень уверенная, что это то же самое.

– У вас талант?

– Не смешите. В кино главное – обнахалиться.

– Главное – что?

– Обнахалиться. Освободиться от стеснительности.

– Ах, так?

«Главное, обнахалиться, – усмехнулся Долотов. – Словно ты еще не обнахалилась».

Не злобствуй, – тут же одернул он себя. – Если тебе не везет, это не ее вина».

Мать Игоря вернулась из кухни и объявила, что плов поспекает, и попросила гостей освободить для него место в середине стола.

Все в комнате дружно принялись теснить богатую сервировку. Вставшая у Стола рядом с Извольским Валерия показала Долотову ниже ростом, почти ровень с Витюлькой. А когда отошла, Долотов увидел, что на ней простенькие черные босоножки на очень низком каблучке.

Едва он присел к столу, как Игорь внес внушительный казан с пловом. Водруженный на богатую столешницу черный от копоти сосуд выглядел модной грубостью рядом с позолотой



фарфора.

– Вот! Готово! – объявил Игорь.

Евгения Михайловна стояла рядом, переводя глаза с сына на гостей, будто выискивала, нет ли среди них кощунственно сомневающихся в талантах ее единственного.

– Друзья, одно условие! Никаких речей, тостов! Никаких поздравлений, никакого ритуала! – Игорь прижал руки к груди, – Это не кутья, а плов, не надо портить его вкус. Очень прошу!

Это было хорошее начало. За столом сразу стадо легко, весело и громогласно.

– Вы от меня прячетесь? – услышал Долотов и только тогда заметил, что Валерия присела рядом.

По другую сторону от нее сидел Извольский, как видно, взявший на себя обязанности ее кавалера. Долотов смешался. Он был почему-то уверен, что она знает, не может не знать, что он думает о ней, и никак не ожидал увидеть ее рядом, а того менее – услышать вот это дружелюбное обращение.

– От вас надо прятаться? – уступая непонятному желанию одернуть ее, спросил он и отвернулся, чувствуя на себе ее взгляд, как чувствуют солнечный зайчик.

Она повернулась к Извольскому, а Долотов услышал, как весело и легко они заговорили.

«Ты никогда не умел разговаривать с женщинами, – сказал себе Долотов. – А с кем ты умел разговаривать?»

...Вечер затянулся. Все были в меру оживлены, все много говорили, но уже не о литературе, а о плове, грибах, осетрине, об умении пить «в плепорцию», о минувшей зиме, хоккее, а та минута, которая подсказывает гостям, что пора и честь знать, все не приходила.

Наблюдая за сидевшим напротив Одинцовым, ставшим к концу вечера притягательный центром внимания, Долотов представлял его рядом с Валерией и чувствовал в душе нарастающую обиду.

– Непростой вы какой-то, Борис Михайлович, – услышал он игриво-доверительный голос жены соавтора, сидевшей справа от Долотова. – Честное слово! Рядом с вами только и думаешь, как бы не ляпнуть чего или повернуться не так! Разве мужчины такими должны быть?

– А какими? – Долотов спросил это с таким озабоченно-заинтересованным видом, словно ему посулили сообщить чрезвычайную новость.

– Сказала бы, да, знаю, высмеете... – Она уже была не рада, что начала разговор.

– То есть как?

– Ну, не высмеете, так про себя... определите. Возле вас вообще не знаешь, куда себя девать. А вот для Анатолия у любой женщины все на ней хорошо... – Сморозив глупость, она покраснела и досадливо обронила, чтобы хоть как-нибудь выбраться из дурацкого положения: – Проще надо быть.

«Опростилась, – подумал Долотов. – Дальше некуда».

Витюлька весь вечер ее отходил от Валерии, был ловок, умен и хорош собой – так думал он потом.

Магнитофон неумолимо гремел. Так гремел, что нельзя было не удивляться, как этот серый пластиковый ящик не взорвется от собственного грохота. А Извольскому только того и нужно было. Он то и дело приглашал Валерию танцевать, а она охотно шла, ни разу не выразила неудовольствия.

Но, вспоминая потом о своей лихости, Витюлька забывал, что своим оживлением долго и без особого успеха пытался подавить душевную робость.

– Ты что-то разошелся сегодня, жуткое дело! – усмехнулась она.

– Тебя увидел! – ернически отозвался Витюлька и, словно испугавшись собственной дерзости, виновато прибавил: – Я ведь люблю тебя.

– Выпил, что ли? – рука ее, лежавшая на ладони Витюльки, дрогнула. Валерия прижала подбородок к его плечу, пряча лицо.

– Не веришь? – чужим, непослушным голосом спросил он.

Она долго молчала и ответила, не глядя на него:

– У меня будет ребенок.

## 11

На аэродроме появилось новое лицо – парашютист-испытатель Миша Курочкин, человек двадцати шести лет, широкогрудый, низкорослый и крепкий, как дубок. Он сразу всем приглянулся, в особенности Косте Караушу. Курносое лицо парня так и светилось невозмутимой уверенностью в себе, глаза – понятливостью: нет, мол, ничего загадочного в этом мире, хороша земля, небо, облака, дождь, ведро. С той же доверчивостью относился он и к тому, что испытывал, был непоколебимо уверен в надежности всех тех ремней, костюмов и приспособлений, которые на него надевали. Миша очень располагал к себе непосредственностью, общительностью, ясноглазым доверием ко всему и всем.

Он был одного роста с Витюлькой, но маленькая фигурка Извольского выглядела в сравнении с фигурой Курочкина так, как выглядит законченная отполированная статуэтка рядом с наспех обработанной заготовкой из того же материала.

В первый день своего появления в шумной комнате отдыха Миша был представлен летчикам лайнера – Чернораю и Радову.

– В газетах писали, скоро пассажиров повезете? – уважительно поинтересовался Курочкин, невольно вызывая улыбки своим простодушием.

– Мы – со всем нашим удовольствием, – дурачась, отозвался Радов. – Да, говорят, не справляемся, вот какое Дело. Ты вот, спасибо приехал, подсобишь. Еще один ас посулил. На тебя да на него вся надежда.

– Кто такой? – спросил Курочкин, решив, что речь идет о парашютисте. – Может, знаю?

Радов не торопился отвечать. А стоявший неподалеку Долотов молча ждал, еще не веря, что о нем может столь пренебрежительно говорить этот молодой летчик. Наступила тяжелая пауза: Радов, здоровый, мрачноватый парень с плоским затылком боксера, не умел шутить, а Долотов не понимал шуток, во всяком случае, так считали многие. Раньше других почуяв неладное, Костя Карауш взял Курочкина под руку.

– Он у нас шутник, – сказал Костя. – Ему бы в цирке выступать.

– А ты, радист, дыши в сторону, понял? – угрожающе произнес Радов, явно отыгрываясь на Косте за свою нерешительность перед Долотовым.

– О! Чуешь? – Костя качнул головой в сторону Радова. – Прямо Козьма Прутков! Миша, я что хотел спросить... У тебя редкая специальность, ты тоже мог бы выступать в цирке. Видел в кино – женщину выстреливают из пушки?

– Видел. Киношники горазды «лапшу вешать», – лениво тянул Курочкин. – В своих туфельках она бы ни в жизнь не выдержала перегрузки, да еще стоя.

– А ты действуй по науке. Достань старую катапульту, размалуй ее всякими узорами и валяй.

– Стоп, Макарий, тут плетень!.. А куда катапультироваться? В потолок? Башку расшибешь.

– В потолке сделают дырку. Туда проскочишь, а обратно на парашюте. И читаешь стихи! Представляешь эффект?

– А если отнесет на какую-нибудь крышу? Темно, кошки бродят, а ты пятый угол ищешь. И кошек я видеть не терплю... Раз пришел к ветеринару сделать собаке прививку, а у него в углу кошка с котятами. Только взошел на порог, она как бросится! Я в дверь, а она вцепилась, понимаешь, и висит. Еле отцепили. Ветеринар мазал, мазал зеленкой. Смеешься, а мне на другой день с вертолета прыгать. Я саккуратничал, оттолкнулся слабо, и унтом за какую-то скобу зацепил. Унт так и остался на вертолете, а я в одной портянке приземлился. Пока спускался, ногу чуть не отморозил – дело под Новый год.

– И как ты попал на эту работу?

– Как... Поступил после армии на аэродром слесарем. А там послали катапультный стенд собирать. Когда смонтировали – дайте, говорю, попробовать. Это, говорят, для парашютистов. А я кто? Три года в десантных войсках служил. Ну, поглядели военный билет и в комиссию, обрадовались...

– А не взяли, так и работал бы слесарем?

– А чего? Работа как работа.

– Я не о том. Тянуло к парашютам?

– А чего? Интересно. Раз, правда, чуть не задохся – выскочил из туполевской машины на скорости под тыщу километров спиной вперед, а вдохнуть нет сил, разрежение. Потом ничего, кресло ногой отпихнул – и нормально.

– Смелый ты человек, Миша! – восхищался Карауш.

– Будешь смелый, когда жареный петух клюнет.

...Салон лайнера напоминал тоннель: в нем убрали все кресла, пол устелили мягким полотном, а в хвостовой части за аварийным люком установили две лебедки, от которых к креслам летчиков тянулись тросы, оканчивающиеся легкоразъемными карабинами. После включения лебедка должны были подтянуть испытателей к аварийному люку, в каком бы положении самолет не оказался. Курочкин быстро уяснил, что от него требуется, сходил на самолет, где его ждала рослая женщина из отдела высотного оборудования, присел на отведенное ему место, выслушал подробную инструкцию, проделал пробные включения, осмотрел люк, в который ему предстояло прыгать, и сказал:

– Добро. Суду все ясно. На когда вылет?

Утром в день вылета Руканову позвонил Главный. Ощувив разом и значение того места, которое он временно занимал (в бригаду ведущих инженеров Старик не звонил), и удовольствие от того, что свидетелем события был сидевший в кабинете Гай-Самари, и холодок страха от неожиданного звонка, Руканов внутренне напрягся: непросто было соблности собственное достоинство в глазах Гая и произвести хорошее впечатление на Главного, когда не знаешь, о чем тот собирается говорить. Но разговор вышел настолько коротким, что Руканов не успел выразить на лице ничего, кроме растерянности. Главный наказал сообщить ему о результатах «опрыгивания» сразу же после полета. Приняв суровую краткость Старика за признак нерасположения к нему, Руканову, Володя раздраженно сказал:

– Одни ищут дешевой популярности, а другие расхлебываются!

– Ты о чем?

Гай был одет в полет. Серебристо-зеленый комбинезон придавал его артистической фигуре юношескую стройность и как-то особенно был к масти его побелевшей шевелюре. Но и теперь можно было заметить, что радушные цвета корицы глаза его словно застыли, – это случалось, когда он смотрел на Руканова. После случая с характеристикой Долотова (не желая усложнять отношений со старшим летчиком фирмы, к которому благоволил Старик, Руканов переписал характеристику) Гай стал присматриваться к Володе очень критически и открывал много неожиданного для себя.

– Все о том же! – отозвался Руканов, короткими касаниями пытаясь уложить поровнее чистый лист бумаги на стекле стола. – Углин прекрасно сознавал, что настаивает на никому не нужном эксперименте! Никакое «опрыгивание» не прибавит надежности этому во всех отношениях ненадежному средству спасения! Глупая затея.

– Но и противопоставлять себя Углину было не очень умно, – сказал Гай.

– Почему?

– Ты дал понять, что твое участие в деле определяется некой формулой компромисса между твоей незаурядной личностью и служебными обязанностями. – Гай остался доволен и хорошо высказанной мыслью самой по себе, и тем, что она была сформулирована вполне в стиле Руканова, на его языке, и тем, что содержала в себе продолжение разговора.

– Что за компромисс? О чем ты говоришь? – Руканов недовольно посмотрел на Гая.

– Ты как бы дал обязательство точно следовать должностной инструкции.

– Это называется по-другому.

– Нет. Никак по-другому это не называется. Знать свои обязанности и согласиться выполнять их – первое, по далеко не последнее условие, чтобы тебя признали человеком на своем месте.

– Вот как? А Углин своим отношением к делу доказал, что он не на своем месте? Так, что ли?

– Отношение к делу Иосифа Ивановича – это даже не какое-то отношение, а безоговорочное участие. Никакой «дешевой популярности» он не ищет и ничего не добывается для себя. Человек этот на редкость глух ко всяким амбициям. Они – забота людей, не столько

делающих дело, сколько обеспокоенных поддержанием впечатления о своем присутствии в деле.

– Допустим. – Последнюю фразу Володя принял как к нему не относящуюся. – Чего же добивается Углин? Кому и что даст это «опрыгивание»?

– Насколько это в его силах, Углин заботится о самочувствии экипажа.

– Да что они, дети? Поверят в это устройство после «опрыгивания»!

– Поверят? Не думаю. Но будут чувствовать себя уверенней. Это да. Не случайно Долотов поддержал Углина.

Говорить о Долотове Руканову не хотелось, и разговор иссяк.

В раздевалке, за час до вылета, Долотов увидел Козлевича. Он только что закончил, пыхтя и отдуваясь, облачаться в комбинезон, выразительно подчеркивающий брюшко штурмана. Оглядевшись, Козлевич поманил Долотова пальцем.

– Я тебе одну вещь скажу, только не лезь в бутылку... а там тесно. Как ты смотришь, что тебя в подмен Славки посадили?

– А как мне смотреть? Начальству так хочется. – Долотов вспомнил слова Радова и насторожился.

– Это понятно. Начальству... Ему что? «Ага, этот волокет, как паровоз, вали на него!» А будь ты на место Чернорая?

– Ну и что? Меня тоже снимали с «четырнадцатой».

– Э, не ровняй! Ты тогда набуробил, я помню. Где тебе было рыпаться! – Маленькие глаза Козлевича хитро сощурились, – А тут совсем другой колер, тут и дураку ясно: если тебя сажают, значит, Чернорай вроде не волокет, не оправдал доверия. Ты вроде можешь, а он нет. Не чисто дело, Боря.

– Ну и что прикажешь? Идти к Добротворскому: «Не хочу летать, Чернорай может обидеться»?

Козлевич вздохнул.

– Вообще, конечно, тут дело такое...

Как это часто случается с добрыми людьми, Козлевич поторопился дать понять Долотову, что в этой истории вышло нехорошо, несправедливо, но стоило показать ему обратную сторону медали, и он почувствовал себя не по плечу озадаченным, если не пристыженным неожиданной сложностью того, что казалось ему простым и понятным. Он постоял, в недоумении прикидывая, что можно придумать, какой выход найти, но ничего не придумал и облегченно вздохнул, когда заглянувший в раздевалку летчик позвал его на самолет.

– Ты чего не заходишь ко мне, Борис Михайлович? Живем, понимаешь, рядом, а ты носа не кажешь? Загляни, Мариша будет рада, – сказал Козлевич, выходя из раздевалки.

Замечание второго летчика лайнера насчет аса, который «посулил помочь» довести самолет, не очень задело Долотова. Он решил, что по молодости лет и неосведомленности о причинах его назначения на С-441 Радов, сам того не замечая, поставил в неловкое положение скорее себя, чем его, Долотова. Но если Козлевич нашел нужным сказать ему об этом, значит, не один Радов так думает. Долотов оглядел раздевалку. У окна стояли двое молодых парней. Ему показалось, что они умышленно не замечают его. И наверное, слышали разговор с Козлевичем.

...Во второй половине дня управляемый Чернораем С-441 поднялся в воздух. Долотов сидел в кресле второго летчика. А у окна комнаты отдыха сгрудились все свободные от полетов: интересно было посмотреть на работу Курочкина.

Набрав три тысячи метров, Чернорай развернул самолет в сторону летного поля и предупредил парашютиста:

– Приготовься.

– Понял.

– Включай сброс люка!

С сильным хлопком вырвался и улетел аварийный люк. От резкой разгерметизации пустой фюзеляж наполнился туманной дымкой. Чернорай круто завалил машину на крыло.

– Покидай самолет!

– Понял!

Курочкин щелкнул тумблером включения лебедки, и его, как альпиниста по крутой скале, поволокло вдоль ряда иллюминаторов.

Долотову показалось, что у люка Курочкин замешкался, впрочем, ненадолго: мелькнули ноги в черных ботинках, и Миша исчез.

Развернув самолет, Чернорай посмотрел на мирно висевший в небе белый купол парашюта.

– Вроде нормально, Юра? – спросил он штурмана, словно событие это не имело никакого отношения к Долотову, как к человеку, случайно оказавшемуся на борту.

– Вроде да.

«Они почти год летают вместе, сработались друг с другом, и мое появление здесь обидно не только Чернораю, но и всему экипажу. Может быть, и того хуже: они перестанут верить в своего командира, подмена послужит причиной подозрений в неспособности Чернорая. Вот что ты натворил!».

К зарулившему на стоянку лайнеру РАФ подъехал уже с парашютистом. Курочкин сидел у окна, положив рядом с собой кое-как скомканный парашют и прижимая к скуле окровавленный носовой платок.

– Ударился? – спросил Чернорай.

– По обшивке малость шибануло, пока с поясом возился.

К концу дня облепленный лейкопластырем Курочкин написал заключение о степени надежности устройства, внес свои поправки в инструкцию, посоветовал увеличить рукоять поясного замка, чтобы проще было отцепиться, и уехал на свою фирму, оставив Косте Караушу очень полюбившееся ему выражение: «Стоп, Макарий, тут плетень!»

Неделю спустя, когда С-441 подготовили к первому полету на «большие углы», девушка-врач нашла у Долотова пониженное давление, а в его ответах на вопросы, замедленных и равнодушных, приметы «некоторой депрессивности», как она выразилась.

– Как спите? Неважно, да? Я так и думала. У вас нет желания отдохнуть? – бодрым голосом спросила она. – Ведь вам скоро на освидетельствование?

Только теперь, сидя в светящейся от всего белого комнате врача, Долотов вспомнил мерзкий сон, который видел минувшей ночью. Был он в каком-то беззвучном, невнятном полусвете, стоял и глядел на свои оголенные ноги, а когда повернул, как бы даже против воли, правую, то увидел икру – всю покрытую язвами разной величины, красными, лоснящимися, бескровными, с отворотами кожи по краям, и в середине каждой – по белому цветку, напоминающему колокольчики. Бутоны цепко росли прямо из бугристой красноты ранок. Он принялся торопливо обрывать лепестки, но сразу же изнемог от сознания бессмысленности попыток избавить себя от невиданной гадости. «Поздно, – услышал Долотов, – ты проглядел начало всего...»

Ему очень не хотелось, чтобы этот голос принадлежал Одинцову, но увидел именно его – чистого, гладкого, с большой блестящей головой. Он смотрел очень вежливо и беззвучно смеялся, поблескивая золотыми зубами.

Гай только что вышел из «малыша» – экспериментального истребителя-бесхвостки и, оглядывая летное поле, увидел, как на большую полосу, оставляя поверх себя дымный след, резко снижается С-441. Коснувшись земли, самолет чуть подскочил, как это случается при очень грубой посадке.

«Они не очень аккуратно обращаются с такой машиной», – думал Гай, стараясь дать самое мягкое толкование тому, что видел и что вызывало в нем тревожные подозрения: лайнер сажал Долотов.

Гай-Самари решил подождать, пока самолет зарулит.

День был жаркий, широкая бетонная дорожка, по которой катил лайнер, будто полыхала невидимым пламенем. Марево волнисто искривляло, делало причудливо двигающимися контуры большого самолета. Слева, за дальней стоянкой, где опробовали двигатели и где земля была выжжена огненными струями турбин, лениво клубились и не опадали дымно-коричневые облака пыли.

Лайнер зарулил и остановился, загородив собой чуть не всю ширину выезда со стоянки. Гай взглянул на хвостовую часть фюзеляжа: створки отделения для противоштопорного

парашюта были раскрыты, за нами зияла желтая глубина.

«Видно, нелегко пришлось», – думал Гай в ожидании, пока экипаж спустится по трапу.

– Что, Боря, потерял парашют? – спросил он у Долотова, едва тот оказался на земле.

Долотов ответил не сразу, сумрачное лицо его выражало непривычную растерянность.

– Да... – как бы собираясь с мыслями, отозвался он. – То же, что и у Лютрова на «девятке». Примерно на скорости двести восемьдесят – сильная вибрация. А когда я еще убавил тяги, сразу подхват. Самолет опрокинулся на спину, затем – штопор... Никогда не думал, что такая машина может штопорить. Я уже собирался, как тот Курочкин, да вспомнил про Лютрова: если «девятка» вышла, значит, и лайнер выйдет.

Но одна беда не приходит. Заводя самолет на посадку, Долотов забыл поставить поворотный стабилизатор в положение «кабрирование», что уравнивало пикирующий момент, и, когда на последней прямой лайнер ринулся к земле, единственным на борту, кто понял ситуацию, был Углин.

– Стабилизатор! – крикнул он, стоя позади Долотова и указывая на рычажок, зафиксированный скобой в нулевом положении.

Но было уже поздно. Долотов успел только прибавить обороты двигателей, чтобы перебалансировать самолет увеличением скорости, и ему в определенной степени удалось это перед самой землей, но они с такой силой ударились колесами о бетон, что кресло Долотова сорвалось с креплений и вместе с ним отскочило назад, так, что он не мог дотянуться ногами до педалей, чтобы управлять передней, поворотной, стойкой шасси.

Едва не развалив машину при посадке, теперь он рисковал сорваться с полосы: лайнер уже повернул в направлении здания КДП со скоростью более ста километров в час. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не Углин: ведущий уперся ногами в кресло Долотова и изо всех сил двинул его вперед.

Час спустя, сославшись на рекомендацию врача, Долотов попросил Гаю подписать ему заявление об отпуске.

– На неделю, не больше. Дублер простоит на доработках, а на лайнере без меня отлетают, да и Чернорай косо глядит.

– В самом деле прихворнул?

– Черт его знает! Устал. Тяжко что-то. Поживу за городом, поваляюсь на солнце. Да и в госпиталь скоро...

Гай не возражал. Оп не первый день был обеспокоен видом Долотова. А тут еще слухи о его разрыве с женой... Гай-Самари без лишних слов направил заявление по инстанции.

Но едва оно попало на стол к Руканову, тот сразу же позвонил Гаю и потребовал объяснений.

– Донат Кузьмич, Долотов назначен на испытания лайнера. Как ты решился отпустить его?

– Устал человек, случается. Да и на вид не очень здоров.

– Если нездоров, надо лечиться.

Гай промолчал.

– Не очень убедительно, если нужно будет держать ответ перед Николаем Сергеевичем, – продолжал Руканов.

– Вали все на мое самоуправство. Устроит?

– Вполне, – слитком поспешно, как показалось Гаю, отозвался Руканов, и тут же голос его стал ниже, доверительнее. – Откровенно говоря, назначение Долотова на лайнер мне не очень нравилось. Чернорай оказался в несколько двусмысленном положении.

– Считай, Долотов понял это.

Ни Руканов, ни Гай еще не знали, что расшифрованные записи перегрузок на шасси и других узлах лайнера во время посадки вынудят КБ надолго приостановить испытания самолета (чтобы провести непременно в таких случаях дотошные исследования конструкции).

Положив трубку, Гай задумался. Вначале Руканову не нравилось назначение Долотова на лайнер, теперь не нравится, что Долотов отказался. В первом случае Володя предпочел остаться в стороне, а теперь?..

Пришел на память давний разговор с Лютровым о Руканове, но Гай не хотел вспоминать,

что тогда говорил Лютров, потому что не хотел думать о нем в связи с Володей Рукановым: рядом с Лютровым ему виделись совсем другие лица.

Когда сошел снег и немного потеплело, они с женой несколько раз ездили на кладбище. Посеяли траву на могиле Лютрова, поставили глиняные горшки с цветами, В последнее посещение застали там девушку-шофера. Гай не сразу узнал Надю в этой аккуратной светлоголовой девице, строго поджинавшей пухлые губы. Заметив, с каким откровенным удивлением глядела она на его поседевшую шевелюру, Гай вспомнил слова жены, сказанные в один из долгих тоскливых вечеров после похорон Лютрова: «Мы с тобой постарели на целую жизнь...»



Они спустились с лесистого холма и вышли на узкую, гладкой канавкой протоптанную тропинку в пойме реки. Май стоял теплый, но перемежался дождями, ветрами, шумными грозами. Нередко на рассвете над рекой и лугом слоисто висел туман, и чем ближе подходил Долотов к реке в такие утра, тем сильнее веяло от нее недружелюбным холодком.

Но сегодня было солнечно, тепло и тихо. Тишина над рекой была чуткой, звонкой, будто хрустальной. Казалось, все вокруг – и небо, и серпообразная излучина реки, и возвышающийся над противоположным берегом лес – все будто прислушивается, опасливо ждет, что кто-то спугнет эту тишину, воздух вздрогнет, сорвется ветер и нарушится какая-то тайна, общая для реки, луга, леса.

Делая вид, что не хочет мешать разговорам мужчин, Валерия ушла вперед, чувствуя на себе взгляд Долотова.

Шедший рядом с Долотовым Витюлька, очень нарядный в своем светло-сером спортивном костюме, поигрывал коробкой сигарет и рассказывал, как добирался до Хлыстова, а Долотов, ни слова не понимая из того, о чем говорил Извольский, молча смотрел, как отраженные рекой солнечные лучи пронизывают легкий сиреневый сарафан Валерии, и думал: «Жить рядом с ней, слышать ее голос, видеть, как она двигается... И не нужно больше ничего. Все во мне унялось бы...»

Как ни был занят собой Извольский, он не мог не заметить перемену в Долотове – лицо посерело, осунулось, глаза в красных прожилках. «Нездоров», – подумал Витюлька, и в душе его шевельнулся укор самому себе за неуместный приезд, да еще с Валерией. Но он успокаивал себя тем, что Долотов в отпуске и у него будет время отдохнуть от гостей. «Не возвращаться же обратно!»

Неожиданно вышли к белой избушке бакенщика, стоявшей на высоком месте берега, где он как бы вспучивался, а затем круто сползал к реке. По ту сторону домика просматривалось устье маленькой речки, но берегам взлохмаченной зарослями. Сильно пахло острым салатным запахом скошенного камыша. Домик окружала плохая и, по-видимому, ненужная ограда из тонких и длинных еловых жердей с облезлой корой, лежали когда-то красные и белые, а теперь облупившиеся трехгранные бакены. У реки на приколе стояли две лодки – большая, новая, по виду казенная, и маленькая, черная, местной работы. В той, что побольше, стоял плотный человек в старой летной куртке. Наклонив коротко остриженную голову, он возился с катушкой спиннинга. А когда его окликнул вышедший из домика хромой бакенщик, друзья узнали Козлевича.

– Привет! – крикнул Извольский.

– О!.. О!.. – отозвался Козлевич, поочередно узнавая друзей и вскидывая руки. – Кто из вас рыбак?

– Я нет! – сказал Витюлька.

– Э, что же ты? Боря, помоги распутать. Спина затекла – такая, брат, «борода», не приведи господи! Час, наверное, вожусь... Я вас за это ухой угощу.

Он посмотрел на Валерию, и круглое лицо его расплылось в улыбке.

– Идите-ка сюда. Вас как величают?

– Валерией.

– Глядите.

Протянув Долотову спиннинг с запутавшейся лесой, Козлевич вытащил из воды за кормой связку рыб.

– Красавцы, а? Мы с Акимом никогда пустые не ходим! Вить, снимай «парад», помоги почистить!

Валерия поднялась к домику, где на скамье возле окошка сидел бакенщик и протыкал шилом сложенную вдвое полосу толстой кожи, старательно заводил и туго стягивал дратву.

У его ног, высунув язык, лежала пестрая собачонка.

– Доброе утро.

– Утро доброе, дедушка. – Бакенщик оставил работу и вытащил изо рта папиросу. – Неужели купаешься? Рано еще. Гляди уволокет водяной.

– А у меня защитники!

– Ну разве что, – уступил он, принимаясь за работу.

В двух шагах от лавки над погасшим костром висела привязанная за ручки кастрюля. Пахло картошкой в мундире, холодной золой, чуть керосином от висевшей на стене «летучей мыши» и разогретой в руках бакенщика сыромятной кожей.

– Что вы делаете? – спросила Валерия, радуясь возможности поговорить.



– Патронташ ловчу.

– Что это?

– Патронташ-то? Устройства такая, куда, значит, патроны кладут, чтоб сподручней было брать.

– А в кармане не сподручно?

– Можно и в карман, да патронташ всеж-таки аккуратнее будет. Устройства, девушка, большая подмога. Без устройства ничего не дается. Вся, значит, наша жизнь – сплошь устройства, куда ни повернись. Вон, глядя, на берегу лошадь бегит. Красиво? Потому, устроена бегать. Человек так не побегит.

– Да у нее четыре ноги!

– Верно, да ить лошадь несколько тяжелше меня али тебя? Разов вчетверо, впятеро?

Бакенщик прикурил погасшую папиросу и поглядел куда-то вверх леса на той стороне реки.

– Все в жизни ладно устроено, – произнес он. – Иной раз поглядишь, как день занимается, и на душе так делается, будто диву видишь, такая верная на всем свете устройства. Ты еще глаза не продрал, а уж день подпалили, занялся, батюшка, чтобы всем видно было. И все люди за дело. Мужик твой, значит, летать привился, ты по дому там чего гоношишься, по радио музыку заиграли. – Он помолчал и улыбнулся. – У нас до войны, почитай, в каждом дворе гармонисты были. В праздник заведут музыку – эх!.. Песни, хороводы! И девки! Тебе против них не устоять.

– Как не устоять?

– А так. Мясa на костях маловато.

– Зачем оно?

– Затем, – бакенщик подмигнул подошедшему со спиннингом Долотову. – Мужики не собаки, костей не грызут.

– Скажете тоже... – Валерия покосилась на Долотова, уловила знакомый взгляд, отвернулась и покраснела.

С берега послышался голос Извольского.

– Жабры надо выбрасывать! – кричал он. – Говорю тебе, на них всякая дрянь оседает!

Валерия сидела в настороженно-застывшей позе. Изредка она поворачивалась на голос Витюльки и видела руки Долотова, распутывавшего лесу. Они казались Валерии не по-человечески цепкими и злыми.

– Погодите малость, – продолжал бакенщик. – Мы вот рыбалку как следоватй наладим, плохо-бедно, а тебе на прокорм добудем. Гляди, и ты в тело войдешь

– У вас есть попить? – спросила Валерия, поднимаясь.

– Как не быть? Эвон в пристройке. Ведро там, мелированное.

Войдя в пристройку позади дома, она едва успела поднять кружку с водой, как почувствовала, что кто-то встал в дверях, за ее спиной.

«Он!..» – тут же подумала Валерия и, обернувшись, увидела Долотова. Рука ее, державшая кружку, ослабла и опустилась. Не в силах, произнести ни слова, она заворожено уставилась на него, не видя лица: освещенный со спины, он казался тенью.

– Вы тоже... попить, да? – с трудом выговорила она.

В каком-то раздумье оглядев небольшое помещение, заваленное сеном, бухтами толстой проволоки, веслами, Долотов шагнул внутрь и закрыл дверь. Стало темно, хотя сквозь многие щелк ярко прорезывался свет.

– Вы что? – шепотом вскрикнула она, задыхаясь от страха, жары, запаха сева.

– В прошлый раз вы не захотели слушать меня... Почему? Я вам неприятен?

– Вы?... Н-нет!... Откуда вы взяли? – бормотала она, не решаясь отвести взгляда от его блестящих, пугающих решимостью глаз.

– Все это время я думал о вас. Мне нужно сказать... Наверное моя идея никуда не годится, но... Она появилась с, тех пор, как я увидел вас – и тут ничего не поделаешь. Глупо признаваться в любви человеку, которого видел два раза в жизни. И все-таки мне нужно знать.

– Что знать?

– У, вас есть кто-нибудь?

- Нет... Только Витя.
- Вы его любите?
- Я? Он... Он хороший.
- Тогда послушайте... – Он протянул руку.
- Не надо!
- Что не надо?
- Ничего не надо!

Ни слова не сказав больше, Долотов повернулся и вышел. В пристройку хлынул свет. За распахнутой дверью ослепительно сиял день. Плечи Валерии опали, дыхание далось торопливым, а колени мелко дрожали, словно она спаслась бегством. Выбравшись на воздух, она подошла к ограде и, едва владея руками, принялась обдирать кору на жердях.

С берега доносился смех Извольского. «Зачем он привез меня сюда? Зачем я поехала?» Над рекой пронесся долгий песенный зов. На том берегу стояла женщина, выделяясь на фоне плотной зелени деревьев ярким палевым пятном.

- Кличат никак? – встрепенулся бакенщик. – Ай почудилось?
- Аким!.. – неожиданно ясно послышалось из-за реки. И совсем отчетливо: – Старый черт...

– Есть! – Бакенщик отложил работу. – Должно, Степанида. Я е вчерась перевозил, к тетке в Выселки навевывалась... Счас! – сердито бросил он в сторону реки и двинулся к лодкам, заносчиво приподнимаясь на негнушейся ноге.

Он долго, по-стариковски копотливо возился с веслами, а когда начал грести, лодку уже отнесло течением. Пересекал реку он медленно, едва приметно для глаз, не верилось даже, что ему удастся перебраться на тот берег.

Из-за дальнего поворота реки показался пароход. Медленно надвигался топающий и плещущий звук гребных колес.

Не зная, что делать, чем занять себя, Валерия долго смотрела на него, стараясь прочитать название, и наконец это удалось ей. «Чернышевский» – дугой было написано над колесами. На палубе, позади надстроек, женщина в белой косынке развешивала белье, истово встряхивая каждую тряпицу. Рядом прыгала на одной ножке девочка лет восьми.

Пароход уже миновал домик и его водопадный шум стал затихать, когда вернулся бакенщик. Послышался заглушаемый водой булькающий лязг причальной цепи. Первой от берега поднялась молодая женщина. Она с интересом взглянула на Валерию, приветливо поздоровалась с Долотовым и встала у крыльца домика, чтобы снять туфлю и вытряхнуть из нее песок. Затем принялась убирать волосы.

– В Выселках была? – насмешливо спросил у нее пришедший со стороны деревни крупный небритый мужчина в рубаше навыпуск и руками в карманах.

Ну, была, – держа в зубах заколку, а потому невнятно ответила женщина. А когда уложила волосы в узел и, опустив подбородок, воткнула заколку на место, прибавила: – Еще чего скажешь?

На лице ее обозначилось презрительное равнодушие.

Мужчина направился к лодкам, а женщина, еще раз взглянув на Валерию, вышла на тропинку и легкой походкой зашагала в сторону деревни.

О чем-то коротко переговорив с женщиной, отплывшим вскоре вниз по реке, к домику поднялся бакенщик.

– Приехал, – пренебрежительно сказал он, принимаясь за прерванную работу. – Муж ейный. То есть, вернее сказать, они разведенные. Развели, пока отсиживал. Пять лет влупили. О как нынче!.. А не зверствуй, рукам воли не давай.

Разметан золу костра, с реки потянул ветерок.

– Ну что, молодежь, двинули? – сказал Козлевнч и поглядел на Валерию.

Они сразу понравились друг другу. На пути к дому Козлевнч совсем не обращал внимания на друзей, говорил только с ней.

– Познакомились с Акимом? Это человек. Всех мер!.. Я с ним каждое лето рыбачу. Профессор! А глянешь – так себе, верно? Ни лицом, ни статью. Да еще хромой. А жена – красавица, вроде вас! Так уж повелось в деревнях: у хорошего работника и жена что надо. Не

зря говорится: возле умного мужика и глупая жена – умница, а у дурака и умная – дура. Уважает его. Все «бычком» зовет. Фамилия у него – Бычков...

В резиновых сапогах и старых брюках, заросший щетиной, Козлевич своей говорливостью и простецким видом, сам того не подозревая, смягчал ту натянутость, которая образовалась между его спутниками: Шагая рядом с Валерией; он добродушно корил ее за неумение пользоваться своей красотой, иначе «эти двое несли бы ее на руках», рассказывал о своих детишках, четверо из которых отправились в город на утренний спектакль.

Валерия слушала с интересом. Тот страх, который она пережила полчаса назад, сменился легким возбуждением, потребностью двигаться, телесной ловкостью. Упруго шагая рядом с Козлевичем, она то и дело оборачивалась, всякий раз порывом, лихо встряхивая волосами, и с кокетливым недоумением глядела то на Долотова, то на Извольского, как бы говоря: «Не надо ссориться из-за меня!» Но втайне была довольна насупистым лицом Витюльки.

А тот попросту не понимал, зачем они идут к Козлевичу и на кой черт нужна им эта уха...

«Пора выбираться из этой глупости, – думал, в свою очередь, Долотов, безуспешно стараясь не замечать Валерию, не слышать ее голоса, не видеть ее живости, ее короткого сарафана. – Хоть бы Извольский догадался увезти ее с глаз долой!»

Шли «коротким путем», как предложил Козлевич – берегом заросшей речка. Она то скрывалась, точно под землю уходила, то растекалась так, что нужно было поворачивать в обратную сторону. Потом началось мелколесье, пошли совсем уж гнилые места.

Здесь Долотов с Козлевичем ушли вперед, а Извольский, шагая чуть сзади по настилу из длинных, хлюпающих вод ногами жердей, поддерживал Валерию за локоть, с волнением замечая, что она благодарно прижимает его руку к своему горячему боку.

Но вот речка и болотистая низина остались позади, тропинка круто пошла вверх, по сосновому бору, а Витюлька все медлил убирать руку, хотя теперь, когда не было необходимости в его помощи, не знал, приятно ли ей вот так без нужды чувствовать его руку или, напротив, стеснительно. И когда Валерия повернулась на какой-то вопрос Козлевича, отчего рука Витюльки соскользнула вниз, он принялся торопливо закуривать, чтобы видно было, что рука ему понадобилась и он вовсе не огорчен.

Исхоженный, без подлеска, дачный лес быстро поредел, потом окончательно расступился. Показалась мощеная дорога, по другую сторону которой, за пустырем, начинался дачный поселок, Она прошли по широкой, уставленной бетонными мачтами электропередачи улице и повернули в гостеприимно распахнутую Козлевичем калитку. Вокруг дачи был старый сад.

– Осторожней, Валерочка, глаза береги, – то и дело напоминал Козлевич, отводя ветки. Пропустив гостей на веранду, он весело крикнул: – Мариша!

Первым из комнат выскочил мальчик лет пяти, тащивший за веревочку защитный шлем. Увидев отца вместе с незнакомыми людьми, он остановился на пороге, озадаченно поморгал глазенками и застеснялся, спрятался за косяк. Вслед за ним, вытирая руки о красный передник, вышла высокая дородная женщина. Лицо ее было уже немолодо, но по-молодому оживлено карими глазами, смелыми и подвижными. Уголок рта отмечен небольшим шрамом, а точеный нос с горбинкой наводил на мысль, что она каких-то нездешних кровей.

– Знакомься, мать. Это Валерочка – видишь, какая красавица! А это Виктор Захарович и Борис Михайлович, ребята так себе, даже не рыбаки.

Извольский поглядел на Валерию и удивился какому-то трудно уловимому сходству женщин, точно перед ним были сестры, старшая и младшая. И улыбнулись они друг другу как-то по-домашнему, по-родственному.

– Держи! – сказал Козлевич жене, подавая рыбу и глядя на нее своим пристально-веселым взглядом. – Хороши поросятки? Ты промой, уху я сам. Понятно?

– Понятно, понятно, – отозвалась она, глядя на его ноги. – Иди-ка переоденься да помойся, прибралась я. Да сапожищи-то сними, у крыльца брось.

Донесся плач грудного ребенка, и Марина заторопилась в комнаты.

– Я вам помогу! – объявила Валерия и, не слушая возражений хозяйки, скрылась вместе с ней.

– Ага... – неопределенно пробормотал Козлевич, отмечая столь бесцеремонное исчезновение женщин. – Ну, вы тут пока того, в шахматы, что ли... Я мигом!

Десять минут спустя, когда он, переодетый в сильно вылинявшую, но чистую клетчатую рубашку и обутый в домашние, тапочки, вернулся на веранду, женщины были уже во дворе у водопроводного крана. Хозяйка чистила рыбу, а Валерия держала на руках грудного ребенка – сидела, с ним на скамье и, слушая Марину, легонько шлепала себя по щеке ручонкой малыша. Тому, видно, нравилась забава, он тянул к ее лицу вторую руку, заодно выпрастывая из пеленок пухлые ножки.

Наконец рыба была промыта, и Козлевич скрылся во флигельке, где располагалась кухня. Прибрав столик возле крана и вымыв руки, хозяйка потянулась к Валерии за малышом, маленький заплакал.

– Ему лопать пора. – Грубовато-умелым движением Марина взяла ребенка и понесла в комнаты, па ходу высвобождая грудь.

Спустя полчаса на веранду прошествовал Козлевич с кастрюлей в руках. Лицо его блестело от пота.

– А ну бросайте безделье! Садитесь уху трескать! Уха, она только с пылу хороша.

Хозяйка принялась хлопотать у стола, выслушивая шуточные попреки Козлевича в нерадивости, что несколько не смущало ее. У нее был вид женщины, уже привыкшей нежиться в комплиментах супруга, уверенной в его неизменной приязни, любви. Плотная, с сильными крестьянскими ногами, она двигалась у стола со свободой уверенного в себе человека, и это особенно было заметно рядом с нарочито шутовским оживлением Козлевича.

Марина и Валерия переглядывались так, будто про себя уже решили, что рядом с тем, что известно им двоим, мужские понятия ничего, кроме снисхождения, не заслуживают.

Уху Козлевич разливал с суровым выражением лица и первой подал тарелку Валерии, строго наказав есть деревянной ложкой, чтобы почувствовать «настоящий вкус».

– Водочку принимаете? – спросил он, управившись с разливом ухи. – Полагается по капелюшке, а то Аким засмеет... Мариш, ты чего бегаешь? Компанией брезгуешь? – крикнул он отлучившейся на минуту жене.

– Выдумывает! – улыбнулась та, присаживаясь. – Век застольем не брезговала. А ушицу так вообще люблю, грешна.

– Не велик грех. Я вот тебе беленького плесну, это уж действительно грешно.

...Возвращались в сумерках вдвоем. Долотов остался у Козлевича – смотреть футбол. На Валерии был толстый свитер, в который ее обрядила Марина.

Вначале шли по ровно блестящей булыжной дороге, подсвеченной закатным краем неба, в то время как другая его сторона, справа, уже сумрачно синела, и на этой синеве громоздкой тенью высилась церковная колокольня, под которой белели кресты погоста.

– Как, должно быть, жутко сейчас там, – сказала Валерия, убыстряя шаги и прижимая локтем руку Витюльки.

Не доходя до деревни, свернули на пустырь, за ним вдали темнел сосновый бор. Здесь, на бездорожье, Валерия все крепче сжимала руку Извольского. Но, несмотря на уединение и густеющие сумерки, близость Валерии лишь озабочивала его. Можно было понять, что Валерия ни о чем другом не думает, как только о том, чтобы не споткнуться, не упасть, не повредить себе, а все остальное пустяки и глупость.

Дорога свернула в лес, над головами сонно вздыхали сосны.

– Днем лес такой приветливый, заманчивый, – говорила Валерия, глядя вверх. – А ночью жуткий.

Начались узкие, плохо освещенные улицы дачного участка и всякий раз, когда проходили круг света от лампочки на столбе, Валерия поворачивалась к Витюльке, будто высматривала что-то на его лице.

Они уже подходили к даче, когда по верхушкам сосен могучим выдохом прошелся порыв ветра, протянул вдоль улицы, громыхнул лоскутом старой кровли на крыше соседнего дома. Потом ветер надал с новой силой, взбил и разметал длинные волосы Валерии.

Чем ближе подходил Витюлька к крыльцу дачи, тем сильнее овладевало им предчувствие, будто здесь должен завершиться, получить окончательный смысл весь тот нескладный вечер у Игоря, когда она дала ему понять, что негоже вот так, на вечеринке, походя говорить о важных-вещах, но, когда и как говорить о них, Витюлька не знал. Вот и сейчас, когда он

включил свет в большой комнате и увидел, каким чужим явился этот дом, уставленный чужими вещами, полный примет чужой жизни, Витюлька вдруг решил, что и здесь ничего не может завершиться, и заторопился надевать пиджак, опасаясь, как бы Валерия не заподозрила его в промедлении с отъездом.

Тем временем Валерия молча окинула взглядом развешанные на стенах репродукции, подошла к окну и встала там, глядя в темноту.

В окна мягко бил ветер, тот шальной летний ветер, что суматошно несется впереди дождя, вздымает пыль на дорогах, яростно тормозит деревья и затихает с первыми каплями ливня.

Наступила долгая тишина, которую ни он, ни она не решались прервать. Витюльке на минуту показалось, что уединение не тяготит Валерию. Она стояла спиной к нему в свободной позе – прислонившись плечом к косяку, словно прислушивалась к шуму леса. Свитер сминался у нее на талии глубокими волнистыми складками.

– «Буря мглою небо кроет...» – негромко произнесла она. – В детстве эти слова казались мне длинными-длинными... – Она с улыбкой посмотрела на Витюлька.

– Не жалеешь, что приехала? – Ему прибыло смелости от ее улыбки.

– Нисколько! Мне возвращаться не хочется! – Блеснув глазами в его сторону, она тут же отвернулась, точно по ее лицу можно было узнать больше, чем из слов.

– Давай останемся? – в тон ей предложил Витюлька.

– Ой! – Валерия отшатнулась: порыв ветра с грохотом распахнул окно, и в комнату вместе с ветром ворвался неистовый шум леса.

Извольский деловито прикрыл рамы, но не отошел, а остался у другого края окна.

Валерия принялась водить по стеклу указательным пальцем. И Витюлька почувствовал, что наступила та самая минута, когда нужно высказать все, в другой раз ему уже не случится стоять с ней вот так рядом. Но что и как следовало говорить, он не мог придумать. А палец Валерии все медленней вычерчивал узоры на стекле, ей отчего-то все чаще требовалось запрокидывать голову и поправлять спадающие на глаза пряди волос. Наконец она принялась старательно вытирать испачканный палец. «Вот и не надо, не говори ничего...» – казалось, выражало теперь ее молчание. И Витюлька сразу же почувствовал неловкость своего стояния рядом с ней, словно он принудил ее к этому уединению, к этой близости, к ожиданию того, что он собирается ей сказать.

Сколько прошло времени? Пять минут? Час? Он слышал, как свистит и шипит ветер, как бьются о стекла, точно просят в дом, ветви плакучих берез, но едва сознавал происходящее. На мгновение им овладела дикая, отчаянная мысль – пока она здесь, пока еще можно что-то поправить, пока ему никто не мешает! – подойти и обнять, прижаться к ее теплому плечу, укрытому мягким свитером, и сказать что-то сокровенное, что-то такое, что заставит ее понять и почувствовать происходящее в нем!..

Но ничего этого он не мог.

– Ты, наверное... – Он повернулся к ней. – Наверное, ты подумала...

– Ничего я не подумала! – перебила она.

– Извини, мне показалось.

– Ну вот и выяснили. – Показывая, что она нисколько не сомневалась в его добрых намерениях, Валерия положила ему руку на плечо. – Поедем, да?

Витюлька сжал ее пальцы, словно намереваясь согреть их, счастливый уже тем, что она не делает попыток высвободиться.

– Ты решила?

Она не сразу поняла, о чем он спрашивает, хотя все время ждала этого вопроса.

– Не знаю, Витя... Может, потом, а?..

«Она хочет сказать, – догадался Витюлька, – что не чувствует себя свободной, что в ее положении всякая женщина принадлежит одному человеку – отцу будущего ребенка. Пусть он родится, заживет своей жизнью, тогда и ей позволительно будет думать о себе».

– Но ведь тебе... так лучше?..

Ей действительно так было лучше, но говорить об этом было совестно, и, чтобы не говорить ничего, она дала обнять себя.

Что это было? Жалость? Признательность за любовь?

«Только бы он понял, что сейчас нельзя ничего... Нельзя и нехорошо... Господи, только бы он понял!..» – думала она, зажмурив глаза и упираясь ладонями в его плечи.

«Да, да, ей трудно вообразить себя рядом со мной, – думал, в свою очередь, Витюлька, чувствуя ее настороженные, готовые оттолкнуть руки. – Что же я могу сделать?..»

– Поедем, да?

...Сторонясь холмов, поросших вековыми соснами, дорога изощрялась в кривых линиях. Машина то проваливалась в глубину оврагов – и тогда звук мотора прослушивался ясно и гулко, как из бочки, – то карабкалась на косогоры.

Валерия без конца вспоминала бакенщика, Марину, изображала, как двигался у нее на руках маленький, какие строил уморительные рожицы, как вертел головкой, и счастливо смеялась, хлопая в ладоши.

Он слушал, что-то отвечал, стараясь показать ей, что все, чем она восхищается, так же необыкновенно и ново для него, как и для нее. Но в этом оживлении Валерии он с каждой минутой все сильнее чувствовал неладное – словно она хотела помешать ему сказать о том, что было бы самым естественным сейчас, самым главным... И эта невозможность говорить о главном выдавала, что их отношения никак не переменялись.

Встречных машин было немного, и потому появление впереди, милиционера с поднятым жезлом показалось особенно неожиданным. За его спиной можно было различить высокие борта грузовика, милицейский «газик» с зажжениями фарами, силуэты людей.

– Встаньте здесь, за МАЗом, – сказал милиционер, – Дорожное происшествие, переждите немного. Витюлька свернул на обочину и под светом фар, направленных теперь вдоль кювета, увидел перевернутую машину.

Валерия тихо вскрикнула.

Лежащая вверх колесами «Победа» чем-то напоминала огромную черепаху. Крыша кузова была сплющена, бока – в ссадинах и вмятинах, оконные отверстия обрамляла колючая бахрама осколков.

Витюлька погасил свет и вышел из машины. Приметив торчащую из кабины грузовика руку с огоньком папиросы, он сказал:

– Послушай, друг, что произошло?

Парень не спешил отвечать. На слабо различимом лице его застыло тупое свидетельское выражение. «Самое главное для него в этой истории: как бы не влипнуть в нее», – подумал Извольский.

Шофер заговорил в тоне стороннего наблюдателя, не поворачиваясь к собеседнику, словно боялся не удержать свою непричастность к ночному происшествию.

– Иди погляди, – с предостерегающим намеком сказал шофер. – «Победа» кувырнулась... Как и что, не знаю, выдумывать не буду.

Витюлька прошел вперед. Его заметили стоявшие под светом «газика» милиционеры.

– Столкновение? – спросил он и невольно посмотрел на радиатор МАЗа.

– Да нет, непохоже, – ответил офицер постарше. – Скорее попытка избежать удара, крутой вираж на повышенной скорости.

– А водитель?

– Жив... Пьяного и дурака бог бережет.

– Мне что?.. Ночевать тут? – донеслось из МАЗа.

– Езжай! – Милиционер махнул жезлом. – Второй случай с начала месяца, – сказал он, закуривая.

Он говорил о чем-то еще, но за воем проезжающего грузовика нельзя было разобрать ни слова.

– Ничего страшного. – Витюлька захлопнул дверцу и запустил мотор.

Валерия не отозвалась, словно ее и не было в машине.

Из темноты, от поверженной машины веяло чем-то жутким и знакомым. Валерия чувствовала существование этой зловещей силы с той минуты, как узнала о гибели Лютрова. Ее враждебное присутствие она ощутила и теперь. Если раньше привязанность Лютрова к своему делу составляла какую-то очень мужскую и привлекательную его сторону, то теперь она знала, что не случайность, а сама работа Лютрова, только она подстерегала их счастье, противостояла

ему.

Извольский плавно тронул машину и до самого города ехал очень опасно, как это делают, когда в машине сидит ребенок.

– Ну вот ты и дома.

Машина остановилась у подъезда. Ливня лил дождь, ровно и мощно рокотавший по крыше «Волги», заглушавший все звуки города. Витюлька включил свет.

– Не надо, погаси.

Ей не хотелось, чтобы он сейчас видел ее, угадал по лицу, о чем она думала.

– Устала?

– Немного.

– Скажи, о чем ты молчала?

– О чем? Обо всем. – Она улыбнулась и вскинула на него глаза. – Ну до свидания? – почему-то спросила Валерия.

– До свидания. – Он попрощался как посторонний.

«Нехорошо вышло... Будто тороплюсь поскорее убежать», – думала она, забыв, какую ручку нужно дернуть, чтобы дверца отворилась. Когда он наклонился, чтобы помочь и невольно навалился на нее, она не потеснилась.

– Будешь приходить?

Извольский посмотрел ей в глаза.

– Потом не пожалеешь? – От недавней скованности Витюльки ничего не осталось, он говорил легко и свободно, словно рядом с ее домом все было проще, уместнее.

Не отводя взгляда, она покачала головой.

– До свидания, – сказала она еще раз, но уже по-другому. А перед тем как захлопнуть дверцу, наклонилась, мелькнула улыбкой и быстро побежала к подъезду, хотя дождь уже перестал.

...Поднявшись в квартиру, она, не зажигая света, поглядела во двор. Машины не было. На асфальтированной дорожке, где только что стояла «Волга», поблескивала лужа. Потом на лужу наехало такси, глухо хлопнули дверцы, завыл мотор, лужа поволновалась и разгладилась. На жестяной откос по ту сторону окна падали редкие крупные капли, видимо со стены.

День, которого она ждала, оказался долгим, до краев наполненным переживаниями... и оставил после себя чувство нечистоты.

«Но теперь все, теперь хорошо. Я думала об этом, когда встретила его в городе...» – мысленно повторяла Валерия.

Но сколько бы она ни старалась уверить себя, что в первую же встречу прониклась сердечным расположением к Извольскому и ни о ком другом не думала, это было неправдой.

Она уже не была той беспечной девочкой, обласканной заботливостью Лютрова. То недолгое время она прожила, как в тумане, в неведении настоящей жизни, начавшейся для нее только теперь, когда Лютрова не стало. Наваждение прошло, и невозможно было оставаться прежней. Чувство перемены в себе, опрощающее ее прежние понятия о жизни, – вот что определяло и оправдывало все то, что казалось невыносимым раньше.

Это пришло не сразу.

Сначала были слезы, чувство незаслуженной обиды, и не было никого, кто мог бы утешить, сказать какие-то слова, которые говорят людям в ее положении. У нее не было близкого человека. Бабушка стара и больна, а мать... Валерия хорошо знала мать, вернее, все дурное в ней. И наступили похожие один на другой дни душевной глухоты – будь что будет. Но продолжалось это недолго. В голове стали рождаться самые невероятные планы: то она собиралась уехать в какие-то далекие края, в то же Заполярье, откуда скоро вернется отчим, то решала подыскать комнату в городе, однако, когда подруга сказала, сколько платить за такую комнату, получалось, что жить будет не на что. Несколько дней она всерьез думала уехать в Перекаты, но и это было невозможно. Там вся улица знала ее, все считали, что она вышла замуж. Жить там одной, с ребенком на руках... Нет, уж лучше оставаться здесь, в большом городе, где никому нет дела до тебя.

От всех этих забот совсем худо стало на работе. Чертежи все чаще возвращались к ней для исправлений, и, глядя на сердито подчеркнутые старшим инженером ошибки, ей хотелось

плакать...

Когда Валерия познакомилась с Одинцовым, она и в самом деле подумала, что интересуется его. Он говорил о ее красоте. Говорил, что пишет либретто балета «о временах древнего Египта, не оставившего миру ничего, кроме красоты». С Одинцовым было успокоительно. Неторопливым движениям журналиста, его жестам, походке хотелось подражать, его шуткам не нужно было улыбаться через силу, они смешили. Его умение беседовать в каком-то подстрекающем тоне заставляло спорить с ним, и у Томки, и у Валерии всегда находилось, что ответить. Он ухаживал так, что это не бросалось в глаза, и потому его внимание льстило, как похвала по секрету. Он умел смотреть на все просто, невозмутимо... Примеряя все эти свойства журналиста к своей главной заботе, к себе – матери, Валерия решила, что рядом с таким человеком ей жилось бы легко, – он так уверенно чувствует себя в жизни, будто ему наперед известно, чего людям ждать завтра, через год...

Но они как-то вдруг перестали бывать вместе. И Валерия не понимала отчего, пока не узнала, что Одинцов предпочитает проводить время с Томкой.

В день встречи с Долотовым в редакция Валерия собралась в летний театр, где начинались гастроли столичной драматической труппы. И хотя балеты по ее просьбе доставал Одинцов, сам он не пошел с ней.

– Вечерняя работа, – сказал он по телефону. – Но вашей спутницей будет большая любительница театра!

И случилось так, что не спектакль потом вспоминала Валерия, а все то, что говорила ей Лидия Владимировна. Она жила вдвоем с малолетней сестрой и, как все незамужние женщины в ее возрасте, за глаза говорила о мужчинах без обиняков. Прогуливаясь в антракте по дорожкам вокруг деревянного здания театра, Лидия Владимировна высказывалась об Одинцове весьма определенно.

– При всей респектабельности он двоечник.

– Двоечник? – не поняла Валерия.

– Именно. Знаете, среди школьников двоечники всегда насмешничают над теми, кто поспособнее... Вам он нравятся?

– Мне? – Валерия не сразу нашла, что ответить. – С ним не скучно. Больше ничего.

– Человек он неглупый, но... Не выносит ни сложных людей, ни сложных обстоятельств... «Женщина должна быть пуста и покорна, как барабан!» Это его афоризм. На других инструментах он не играет. Вот и теперь у него «барабанный» роман с какой-то Томкой, такой здоровенной девицей. Более, чем простоватой.

– Это моя знакомая, – сказала Валерия, впервые услышав о «романе».

Вот в чем дело!.. – несколько не смутилась Лидия Владимировна. – То-то и в толк не могла взять, как это вы оказались вне внимания Одинцова.

Узнав, что Лидия Владимировна врач-гинеколог, Валерия поведала ей о своем будущем материнстве.

– Если по чести, я вам завидую, – вздохнула Лидия Владимировна.

– Господи, чему завидовать?..

– Когда мне было столько лет, сколько вам, у меня не хватило духу прийти на свидание с человеком, которого я любила. Вот и ругаю себя всю жизнь. Пусть бы потом и ребенок, пусть одиночество, но все это было бы оттого, что пережито главное, самое великое. А не потому, что ничего не было.

Спросив, как Валерия готовится к столь важному событию, Лидия Владимировна с профессиональной настойчивостью посоветовала заранее подумать об условиях для будущего малыша.

– Это не шутки, милая. Неблагополучная обстановка в доме, неустроенность скажутся не только на вас, но и на здоровье маленького. Выходите замуж, наконец! Ничего! Девушке с такими глазами многое простят.

Лидия Владимировна была права: у Валерии не было другого способа устроиться с маленьким. Но и не было возможности выйти замуж иначе, как только обратив к выгоде чувства человека, который «ни на что не посмотрит».

И если Извольский и Одинцов казались ей такими – подходящими каждый по-своему – то



в Долотове Валерию сразу же насторожила его серьезность. О, для таких совсем не пустяк, что представляет собой будущая жена! Такие ничего не простят «за красивые глаза». И, почувствовав свою непригодность для него, она поторопилась дать понять, что не расположена ни к каким особым отношениям с ним.

Но почему же теперь, зная, что будет женой Извольского, думая о нем с благодарностью и стараясь представить себе, как она его любит, Валерия невольно возвращалась памятью к Долотову, видела его широкоплечую фигуру, его быстрые решительные руки, его бледное, гладко выбритое лицо, его пронизывающие глаза, слышала все то, что он говорил ей сегодня и тогда, в машине?

«Почему я думаю о нем?» – спрашивала она себя.

Вкрадчивым холодком набежал страх от мысли, что Долотов и теперь будет любить ее по-прежнему. Валерию пугало значение этой любви, а более всего – ее возможное происхождение: «Лютров полетел вместо меня...»

В словах этих Валерии чудилась какая-то скрытая, но предопределенная связь с Долотовым, неуловимая для нее, но вполне осознанная им...

Пытаясь избавиться от наваждения, она снова стала думать об Извольском, о пережитом на даче волнении, по ощущение нечистоты не проходило.

Во двор больше никто не въезжал, а лужа у подъезда, только что золочено блестящая, вдруг потемнела, чаще забарабанило по жестянке за окном. Снова посыпал дождь.

## 13

«Смеется. Чему он смеется?»

Одинцов то пропадал, расплывался, то просматривался четко, словно приближаемый подзорной трубой. Он сидел, как позировал. И смеялся.

– Как забрел сюда?

«Здесь хорошо... Усадебный дух. Вот я и... Неизменная русская черта – проникаться расположением ко всему и вся изначальному, сиречь – душевность. Она-то и сталкивает нас на одних и тех же тропинках».

– Лжешь.

«А как выглядит правда?»

Долотов чувствовал, что Одинцов здесь потому, что знает что-то о нем, и не мог прогнать его, не выяснив, что он знает.

– Демона из себя корчишь?

«В каждом из нас сидит демон, каждый из нас или лжет ему, или упивается его ложью. Истинны в человеке одни побуждения, но и они изменчивы, и потому человек вечно противоборствует и с окружающим, и с самим собой. Это и есть та реальность, которой мы живем. И тут нельзя не лгать».

– Зачем?

«О, причин много! Лгут, нападая и обороняясь, лгут из презрения, страха, корысти, из желания принарядить себя, лгут по-страусиному – в утешение. Ты...»

– Я не умею лгать.

«Неумение лгать – признак идиотизма. Ложь – одежда существа нашего, как платье – естества. Нагими же ходят одни юродивые, все остальные одеты, а значит, лживы. Ты переодеваешься, только и всего... Тебе было просто там, в воздухе, пока нечего было терять здесь, на земле. Как видишь, все дело в обстоятельствах. Ты не любил свою работу, презирал машины. Потому что они были у тебя в подчинении, а все, что подчинено, не вызывает душевных привязанностей, оно как бы вне твоего «я». Машина могла убить тебя, но это не было бы твоим поражением... Но вот погиб Лютров, появилась Валерия, и ты понял; настоящая зона испытаний не там, в поднебесье, а здесь, на земле! И ты «не волокешь». Тебе стало жаль себя, ты отвратил душу от работы, еще недавно бывшей панацеей от всех бед. Ты искал помощи у Валерии, тебе позарез нужно было знать, что думает о тебе эта девочка – чудная чистая душа, видение из снежного облака!.. О, как ты старомоден! Ни спутники земли, ни нейлоновые подштанники не сделали тебя отличным от твоих предков, и потому не машины, а

Валерия спасение для тебя... Во всяком случае, ты так думаешь; а если разобраться, то главное для тебя не она, а твое влечение к ней. Да, да, ты настолько старомоден, что не в состоянии смириться с тем, что она сама выбрала, с кем ей жить!.. Нехорошо. Теперь так не принято. Помнишь кино, где девица ночь напролет выбирает, с кем ей жить: с физиком экспериментатором или с физиком-теоретиком?.. А те сидят рядом и ждут! Тут уж ничего не скажешь – современно! А то, что происходит с тобой, происходило не однажды, происходило всегда, когда женщина становилась воплощением смысла жизни. Ты идешь привычной старой дорогой, но, едва вступив на нее, не можешь одолеть первого препятствия – того подозрения, что Валерия видит в тебе человека, из-за которого погиб Лютров. Препятствие кажется тебе неодолимым, хотя существует ли оно на самом деле, трудно сказать. Ты шел к Валерии, заранее зная, что она тебе скажет... Да если бы она и согласилась – вот так – вдруг, легче тебе не стало бы. Ты знал: даже она не заполнит собой всего будущего (тебе ведь непременно нужно – всего!), ее великолепие лишь сгладит, приглушит на первых порах все то, что тебе предстоит узнать о ней потом, ведь потом все и начинается. Вспомни свою супружескую жизнь... Да, Боря, желание обладать женщиной прекраснее всякой женщины, как желание жить всегда значительно нашего бытия... Куда же ты?»

...В комнате сумеречно и по-утреннему прохладно. От одеяла сильно пахнет постельным запахом, как это почему-то всегда бывает, когда проснешься в холодной комнате.

С трудом одолевая тяжкую оцепенелость тела, Долотов приподнимается. Мокрые ветви берез космами липнут к стеклам. Зябко, сиротливо – и странное ощущение провала времени; кажется, только и сделал, что лег и встал.

Спал он плохо. Часто просыпался и чувствовал в темноте и эти стены в старых обоях, и громоздкий буфет одной породы с комодом, на котором стоял длинный «Телефункен», и темный овальный стол красного дерева, инкрустированный пластинками карельской березы, и стулья с тяжелыми резными ножками, и большие репродукции каких-то древних восточных картин – белые кони, запряженные в колесницы с кривыми оглоблями, красные верблюды на фоне сиреневых дворцов, brave молодые в тюрбанах, с головами в профиль, а усами целиком, обнимающие посаженных на колени обнаженных красавиц, пестреющих глазами в поллица...

Ночью на крыше мелко и вкрадчиво зашелестел дождь, – это он хорошо помнит, потому что проснулся и долго вслушивался в шелест, пока понял, что это дождь.

Утро пасмурное, листва на березах холодно поблескивает, воздух густ и пресен, как туман, и пахнет мокрой белой. Во дворе тихо.

Как это непросто – быть свободным от полетов, вырваться из привычного ритма работы, если нет ничего взамен, никаких привязанностей, никакого дела. Впрочем, нет, не то, не так как-то... Не так просто объяснялась вот эта подавленность, слабость, неуверенность в себе.

Возвращаясь в субботу из города, Долотов не заметил, когда спустило переднее колесо машины, и даже не подумал, отчего «Волгу» тянет влево, и только сейчас, увидев обмякший баллон, вспомнил, как всю дорогу придерживал сворачивающую влево машину, не думая о причине.

До обеда возился с колесом, потом бросил, надоело. Переодевшись, пешком направился к остановке автобуса, чтобы подъехать к ресторану у станции обслуживания автомобилей. Шел медленно, гуляючи, в каждом шаге, каждом движении обнаруживая свое безделье.

Старая булыжная дорога огибала небольшой холм с двумя церквями в окружении разлапистых осин. Проезжая мимо, Долотов лишь мельком оглядывал церкви, но теперь подошел ближе и долго стоял, очарованный веянием покоя, исходившего от них на все вокруг.

Большая церковь, построенная, видно, очень давно, с колокольной, похожей на крепостную башню, с пегими от облетевшей штукатурки стенами, с коваными решетками на окнах вызывала в Долотове чувство неясной печали. Ему виделись бредущие сюда люди – мужчины с обнаженными головами, мрачные старухи, какие-то невыразимо прекрасные женщины с печальными лицами, одинокие девушки стояли здесь, склонив головы, покоряясь слабым разумом и пугливыми душами всему тому, что снисходило к ним под этими сводами, замирали от голосов причта, от таинственной сумеречной укромности храма, от маслянистого блеска икон, от мысленно произносимых клятв, молений, покаяний.

Маленькая церковь, старательно выбеленная, с зеленой крышей и такими же куполами,

увенчанными алюминиевыми крестами, напоминала жилой дом.

«Кто же теперь приходит сюда? Что там?»

Двери маленькой церкви были распахнуты, и Долотов решил войти. На паперти стояли трое нищих: белобородый, библейски благообразный старик, рядом с ним – согбенная старушка с головой в кулачок, плотно повязанной линиялым синим платком, а напротив них, опершись на палку, с запрокинутой головой, стоял горбун. Шедший впереди Долотова тучный мужчина остановился и протянул старику подавание. И Долотов собирался подать тому же старику, но услышал негромкий горько-насмешливый голос горбуна:

– По выбору подаете, православные.

Долотова как обожгло. Он обернулся, встретился взглядом с прищуренными глазами горбуна и торопливо подал ему рублевую бумажку.

«Он прав, и нищих выбираем по благодати вида, как женщин». В церкви было сумрачно и заметно прохладнее, чем на улице, пахло смесью запахов сырого подполья, свечных огарков и еще чего-то незнакомого, древнего. Не торопясь вышел старый священник в негнущейся ризе, встал у небольшого столика, держа в одной руке кадильницу, в другой толстую свечу, и принялся негромко читать.

К священнику потянулись несколько человек мужчин и женщин, рядом с Долотовым осталась одна девушка, испуганно косившая на него темным немигающим взглядом.

– О приснопамятной рабе божией господу помолимся, – слышал Долотов. – О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения... Да избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды... И да придет на мя милость твоя...

«Говори, старик, говори, – мысленно отозвался Долотов. – Это легко – быть добрым, утешая людей вымыслом. Но, как и тысячу лет назад, вера твоя довлеет слабым, врачует убогих. «Плачущие и болезнующие», они слышат тебя...»

Девушка по-прежнему осторожно косилась на Долотова глубоко темнеющим взглядом; только это и было божественным в храме божьем.

...На улице проглянуло солнце, еще не целиком – из-за укрывших полнеба туч, но и слепящий краешек его празднично оживлял землю. Голубел дым над деревенскими домами, блестела булыжная дорога с лужами по окраинам, посветлела зелень леса.

Долотов зашел в бетонную будку с перекошенными стенами, разрисованными голубым и желтым, и приготовился ждать автобуса в сторону города, как и две укутанные в платки старушки. Раскрашенная будка рядом с рублеными избами в кружевной резьбе оконных наличников казалась вывеской на незнакомом языке. Слева, у новой бревенчатой чайной, стояло несколько грузовиков, а в стороне от них – запряженная в телегу лошадь, понуро опустившая голову и подогнувшая заднюю ногу. Вслед за Долотовым в будку пришли солдат в мундире и девушка.

Поблескивая стеклами, пронеслись грузовики, катили «газики»-вездеходы, а автобуса все не было. Из рупора на столбе над лошадью неслось разудалое:

Елочки, елочки, елочки-метелочки!..

Степенно шепчутся старушки, напряженно молчат парень с девушкой. Солдат то и дело поглядывает на часы, девушка, не поднимая опущенной головы, тербит концы пояска на платье. Парень сидит вполборота к ней, точно укрывая от посторонних, заносчиво поглядывает на Долотова, на старушек, а если и обращается к девушке, то всегда под шум проезжающих машин.

– Еще минут десять от силы, – говорит он и смотрит на часы.

Девушка кивает, мол, десять минут и в самом деле немного, и вдруг тихо всхлипывает. Растерянно оглянувшись, парень шепчет:

– Не надо, Ксения! Я не какой-нибудь там такой...

Девушка судорожно вздыхает.

– Сколько тебе напоминать? Я же попинаю, ты это учти... Разберись, не как другие. Всякое в жизни случается, если детально... По молодости мало ли об чем наобещаешь! А замуж идти тоже не фунт изюму, если детально...

Он старается говорить солидно, обстоятельно, но его солидности не хватает, чтобы скрыть растерянность.

– Ты, Ксения, обо мне не сомневайся. Вернусь из армии, подыщу себе кого-нито, чего уж...

– Не надо! – прикрыв лицо руками, говорит девушка. – Не женись, Митя!

Оторопев, парень тут же соглашается:

– И то! Подумаешь, какая радость, если детально! Да и не нужно мне!..

Со стороны города подходит автобус. Громыхают двери. Несколько человек выходят и направляются в деревню. Девушка присаживается к окну и смотрит вниз на парня широко раскрытыми влажными глазами. Качнувшись с боку на бок, автобус трогается. Солдат провожает его долгим взглядом и идет через дорогу к закусочной.

Автобуса в сторону города все не было. Долотов вставал, разминался, посматривал на хлопающую дверь чайной и наконец решительно направился вслед за солдатом.

Когда он вошел в людную закусочную, вдохнул запахи еды и сладкий дух красного вина, то пожалел, что поздно догадался прийти сюда. Однако присесть было негде, Долотов прислонился к черному боку голландки и принялся ждать места. Солдат, только что проводивший «отступницу» – так Долотов мысленно назвал девушку, – сидел у стены, спиной к окну, в которое сквозь тюль пробивалось солнце. Перед ним стояла пустая бутылка «Плодово-ягодного». Приметив Долотова, солдат жестом подозвал его:

– Садись. Я уже.

– Спасибо, друг. – Долотов хотел прибавить что-нибудь ободряющее, но солдат отвернулся и пошел к выходу.

Закусочная сыто гудит голосами. Входная дверь с подвешенной на блоке пудовой гирей хлопает так, что диву даешься, как она не рассыплется. Солнце пронизывает тюль высоких окон, лучи его досаждают официанткам, девушки щурятся и отворачивают лица. Здесь не раздеваются, а кепки суют под столы, на колени. Ожидающие своей очереди с пристрастием глядят на сидящих: едва только кто выказывает намерение подняться, рядом вырастает преемник – пошевеливайся, мол, пора и честь знать.

Долотову принесли стакан вина, борщ. Он выпил, с аппетитом поел, закурил. Стало совсем хорошо – так бы и просидел до темноты...

За его столом, прихлебывая чай, негромко разговаривали старик с белой гладкой лысиной и хвора старуха: губы безжизненно обесцвечены, глядит тихо и пахнет лекарствами.

– Печень, говорит, – сокрушается она. – Сохну вот. Так сосет, спасу нет! А то дергать невозможно. Так дергат, что кобель цепной.

– Кишочный порок. – Старик понимающе сжимает губы в куриную гузку и прикрывает глаза. – При ем главное, дело – баня. Как рукой... А то водочки с полынью.

Говорит он, как одалживает, неохотно, словно болезни происходят от глупости больных.

Видя, с каким вниманием слушает старуха дурацкий треп старика, Долотов понимает, как одиноко ей с ее болезнью, со всем важным и тайным, чем живет она теперь, на закате дней; с теми высокими в невыразимо печальными думами, что рождаются отчаянием; с той обостренной душевной чуткостью, с какой постигается жизнь перед жутью небытия.

А за соседним столиком звучит трескучий бас бородатого человека, истово втолковывающего молодым сотрапезникам:

– Главный корень греха в чем? В помыслах! Не помышляй о дурном, так и греха не будет! Я вот с малолетства мечтаю обо всем человечестве. Однако не люблю матерьялистов – греховно живут! Денно и ночью по магазинам шныряют – не прозевать бы какой мебели, ухватить самое лучшее, не то кто другой опередит и не будет через то им никакого счастья! И так до смерти, до последней мебели старинного фасона. – Он прочертил рукой со стаканом крестное знамение, выпил – как подвел итог, откусил огурец, да, видно, солон попался: бородач сморщился, челюсть свело, глаза плаксиво сощурились.

– Тоже мне, идеалист! – ругался один из парней. – «Мечтаю о человечестве»!.. Сектант, что ли?

Старик со старухой поднимаются. Он сразу шагает к выходу, а она домовито оглядывает место, где сидела, – не оставила ли чего? Но делает это без особого старания, так, по привычке.

...Небо совсем прояснилось, солнце припекало, но было душно, парило – где-то кралась гроза.

Вернувшись на дачу, Долотов переоделся в спортивный костюм и пошагал к реке. Миновав дачный поселок, долго шел лесом, а когда вышел на опушку, перед глазами раскинулся пойменный луг в островках ольхового кустарника, дальше просматривался изогнутый плес реки, а за ней, опоясывая чуть не весь горизонт, боевым валом вытянулся высокий берег, и на его ровной высоте, будто в дозоре, стояла одинокая ветряная мельница.

С лугов тянуло слабым ветром, радостно и будто захлебываясь, звенели жаворонки.

Добравшись до реки, Долотов искупался и знакомым путем побрел вдоль берега, пока не вышел к домику бакенщика. И неожиданно пробыл там допоздна.

Аким Иванович был общителен, говорлив, в запасе у этого хромого небритого человека, похожего на веселого каторжника, было много разных историй – фронтовых, житейских, историй-притч, всегда подтверждающих, а может быть, определяющих его жизненную философию. Он с интересом расспрашивал Долотова о летной работе, однако ничему не удивлялся и лишь иногда как бы прикидывал в уме, куда бы приспособить услышанное, какое место ему предоставить среди всего ему понятного и хорошо осмысленного.

– Всешь-таки управлять самолетом, наверно, сильно мозгой шевелить надо? Али у каждого ума хватит?

– Да как сказать? Управление любой машиной требует навыков, а они не всем одинаково легко даются. Но ведь и в любом деле так, Аким Иванович?

– Верно! Я мужика одного знаю, всю жизнь плотничает, а чего ни сделает – глядеть не хочется.

После полудня к бакенщику пришли гости: свояченица, маленькая подвижная старушка, старшая сестра первой жены Акима, Марья, и его дочь от первого брака, полногрудая девушка с веселыми глазами и стыдливой улыбкой. О их появлении возвестил голос старушки. Поднимаясь по высоким ступенькам крыльца и упираясь при этом руками в колени, она по-хозяйски говорила:

– Ну вот, дошла, слава те господи! Думала, не доберусь, каторга содомска... Принимай гостей, Аким!

Маленькая, чистенькая, в бархатной кацавейке, старушка была занята, как веселая диковинка, и Долотов с удовольствием наблюдал, как она говорит, опрятно поджимая в паузах свои еще румяные губы. Все в ней выдавало умишко прибранный, здешний, обстоятельный, в облике не было ничего лишнего, как в избе перед светлым праздником – все вытерто, вымыто и выстирано, все на своих местах. По всему видать – дожила до внучат и в почете. Так, бывая в Москве, Долотов иногда бог знает по каким приметам угадывал вдруг коренного москвича – слышал в его словах живой домашний звук замоскворецких интонаций, эту от исконных кровей исходящую легкость определений, веселую здравость мысли.

Долотову нетрудно было обнаружить нечто общее между ней и Акимом, но не внешнее сходство, а приметы какого-то веселого крестьянского рода, где испокон веку умеют говорить, любят шутовское слово, как-то вкусно живут и ценят жизнь по-своему.

Приметив Долотова, девушка тихо поздоровалась, поставила на подоконник алюминиевый бидон и присела на скамью рядом со старушкой, держа на коленях белый сверток.

– Чего это у тебя? – спросил Аким.

Девушка встала и, положив сверток на стол, молча развернула.

В нем оказался большой пирог и чекушка водки.

Глядя на озадаченного Акима, старушка всплеснула руками:

– Совсем обасурманился, каторга содомска! Полине-то ноне восемнадцать сполнилось!

– Тех!.. – встрепенулся Аким. – А я-то думаю-гадаю, чего вас принесло? А оно воно что!

Полина от смущения перед незнакомым человеком спряталась в работу. Да и нечисто было в домике: под столом – пожухлая кожура картофеля, на столе – закопченная кастрюлька с какой-то едой, тут же фонарь «летучая мышь», ржавые гвозди. Полина протерла клеенку, собрала посуду и побежала к реке мыть.

– Пойдем, говорю, к отцу, – рассказывала между тем старушка, – печеньем побалуем. Браги-то да пирог я спроворила, а на чекушку Александра, жена твоя, дала. К тебе грозилась прийти. Честит тебя чегой-то, каторга содомска, совсем, говорит, от дому отбился.

– А ты еще девка ничего, – говорил Аким, разрезая пирог, от которого исходил свежий грибной дух. – На что другое, а пироги печь годиться.

– И, милый, где там! – Старушка засмеялась, приложив пальцы к пустому рту. – Та ж труба, да ростом ниже и дым пожиже! По всему видать, скоро к Марьюшке нашей в кумпанию. Здоровье пошатнулося, каторга содомска. Спасибо, Полинка не оставляет без догляду: и в сельмаг сбегает, и дров принесет...

Вернувшись от реки, Полина поставила на стол миски, стаканы и присела на сундук у стола с таким видом, что, мол, теперь уж ей некуда деваться.

– Что ж это я! – спохватился Аким. – У меня ж для тебя обновка. Эх, мать чесиа! Погодь-ка!..

Он открыл крашенный сундучок и достал яркую шерстяную кофточку – голубую, с белой окантовкой.

– Примеряй, дочь!

– Ой, па, на каки деньги-то?

– Не твоего ума дело. Нашел-купил-украл-подарили... Бери, коли дают. Эка телятина! Носи, красуйся, а то отобьют учителя-то.

– Ну тебя, пап, неудобно даже! – сердито говорила Полина, а уж радость светилась в ее серых глазах, я руки будто сами собой блуждали по воротнику красивого подарка.

– Неудобно ежа за пазухой прятать... Прикинь-ка. Она сняла с головы цветастый платок и пригладила светлые волосы, в ушах тускло блеснули серьги. При общем молчании девушка не торопясь обрядилась в кофту и, враз одеревенев всем телом, опустила руки.

– Королевишна, право слово! – Старушка сцепила перед грудью пальцы рук и восхищенно покачала головой. – Вот мать-то поглядела бы!.. Да ты пройдишь, чего окостенела-то? – вдруг насмешливо прибавила она.

Полина было повернулась спиной к Долотову, да что-то смутило ее, она покраснела так, что стал заметен светлый пушок на щеках.

– Ну вас... Потом.

– Ну как, Борис Михалыч? – Довольный Аким качнул головой в сторону чекушки.

– По такому случаю...

Выпили все вчетвером, старушка будто воды глотнула, даже не закусила, Полина только пригубила, сморщила лоб и брезгливо отставила стакан. Явно поддразнивая дочь, Аким говорил Долотову:

– Ко мне, понимаешь, учитель зачастил. Рекомендуются, значит, в зятя. Ему бы, дураку, не меня улещать, а вон ее, а он – бутылку на стол и начинает про то, какой он самостоятельный, какеи в ем мысли да какеи дела обдумывают на будущую жизнь. Мне-то что? Я ноне лягаюсь; завтра с копыт долой. Того в разум не возьмет, что по мне – пусть хоть за козла выходит.

– Будет тебе все про меня да про меня, али разговору другого нет! – Теперь Полина покраснела сердито. – И никакой он мне не жених, че придумываш?

– Чего ж он шастает?

– Его спроси!

– Будет вам, – сказала старушка. – Каторга содомска! Как сойдутся, так царапаться. Спели бы лучше. Гость-то и не знает, поди, как поете-то.

– Волоки струмент! – приказал Аким.

Полина сняла со стены балалайку и подала ее отцу.

Аким с независимым видом взмахнул кистью правой руки, словно стряхнул с нее что, одновременно звонко ущипнул пальцем левой струну у самых колков и, броско пройдясь враз по всем струнам, тут же придавил, приглушил их ладонью.

– Че спеть, говори? Новых этих шлямбуров не знаю, не приживаются. Вот Полинка разве сполнит какую.

– Лучше старую, – сказал Долотов.

– Это можно. – Аким степенно кивнул и, ссутулившись, принялся осторожно подыскивать, нащупывать мелодию.

Искал он долго, и Долотов отчего-то понимал и соглашался, что так нужно – не торопиться. Он сидел рядом с довольной, смиренно притихшей старушкой, глядел на свежее,

точно березка из светлой рощицы, лицо Полины, привалившейся к столу и уложившей подбородок на сильный кулачок, и боялся шевельнуться.

Аким негромко запел про разбойника, подстерегавшего возок с богатым седоком.

Кусты руками раздвигая,  
Идет разбойник д'череа лес...

Ждет разбойник, сжимая кистень в руках, не подозревая, что богатый седок – его отец. И вот уже...

С разбитым черепом на землю  
Упало тело д'ямщика...

А вот в седок прикончен, но не до корысти лиходею, узнавшему в убитом своего родителя, – проклят он на веки вечные.

Песня была наивно-назидательная – вот, мол, что ждет дурного человека в наказание за несправедную жизнь.

Окончив петь, Аким продолжал сыпуче раскидывать обрывки мелодий, то так, то этак повторяя напевы.

– Па, давай «Матушку», – предложила Полина и смутилась до блеска в глазах, словно не подобало ей решать, что петь.

Аким понимающе улыбнулся, расстегнул пуговицу на воротнике рубахи, шумно потер ладонью о ладонь и, посерьезнев, как-то по-новому принялся наигрывать.

Тонко заныла-заплакала балалайка, Полина, словно откликаясь на ее зов, запела хорошо и стройно, уже не смущаясь. Так самая несмелая мать преображается, охраняя дитя.

Матушка, матушка, что во поле пыльно? Сударыня матушка, что во поле пыльно?..

Ах, песни, песни!.. Разве не все в них? Разве дано человеку сказать о себе по-иному полно и хорошо?

Пела Полина, перекрывая то родниково-звонкую, то стонущую музыку струн, и Аким, ставший напряженно строгим, глядел на дочь так, словно говорил: «Слушайте. Хорошо это».

Матушка, матушка, на двор гости едут, Сударыня матушка, на двор гости едут!..

Чувствуя комок в горле. Долотов торопливо закурил и судорожно затянулся. Но песня уже овладела им, и не было сил пересилить самого себя, справиться с колкой болью в глазах. Долотов глядел на Полину, на Акима, время от времени молодецки вскидывавшего голову, как, наверное, делал когда-то, когда на месте теперешнего голого темени с прилипшими к нему редкими волосами была настоящая шевелюра; видел старушку, мило глядевшую на Акима, на Полину, и думал, что все они – да и сам он! – вышли из некогда большой семьи, где были и старики со своими немощами, и старухи, пекущиеся о нравах невесток и здоровье внуков, и молодые парни, женатые и неженатые, лентяи и работники, озорники и тихони; были в доме молодые сильные женщины – дочери, жены – лукавые, смиренные, хохотуньи, плясуньи, певуньи... И вот разошлись, разбрелись кто куда, осталось от всего рода разорванное звено, обеднел дом голосами, духом живым, да и на месте дома – вот эта избушка с желтыми, до костяной гладкости промытыми стенами, в которых тесно душе, тесно песне.

«Как много нужно понимать, на скольких людей распространиться, чтобы иметь основание любить или не любить кого-то из них, осуждать или оправдывать!» – думал Долотов, поражаясь простоте этой мысли.

Матушка, матушка, образа снимают. Сударыня матушка, меня благословляют...

– Эх, мне бы силенок поболее, – вздохнул Аким, откладывая балалайку. – Я б те спел!

– Если б молодость знала, если б старость могла! – сказал вдруг оказавшийся на пороге парень, взглядом спрашивая Долотова: так ведь?

– Ишь ты! – встрепенулся Аким. – Поясни, учитель. Тот повторил.

– Дураки выдумали. Вроде тебя, – досадливо усмехнулся Аким. – Ты смолоду накуролесь чего положено, детей нарожай, пока кровь бабы просит, пока печенки свои не прокурил да не пропил. А ума сподобисси. Во благовремение. Ежели не дураком уродился.

– В двадцать лет ума нет, не будет! – снова изрек парень.

– У тебя есть? – Аким широко улыбнулся.

– Вроде не жалуясь.

– Эва! А кто жалуется? Думаешь, отсидел в своем институте, так супротив других умнее?

– Нет, конечно.

– Во! А дале тебе путь каков? Живешь ты на квартире у деда Панкова, а я в своем доме.

Коли повезет, крестьянку в жены возьмешь, так и я женат на крестьянке. Что в тебе сверх мово? Один синий значок. А время тако, что синим значком красиву девку не проймешь, отцовой волей не согнешь, деньгой не улестишь.

– Это верно, образование еще не фонтан.

– Во! А фонтан – ежели у человека в душе тонкость. Я те по секрету скажу: девка не тем красна, что не мята, а тем, что душа не занята.

Аким снова взял балалайку и с победительным видом принялся что-то наигрывать – веселое, хвастливое, как бы в насмешку над собеседником.

Много неприятного наговорил Аким учителю, пользуясь положением отца любимой парнем девушки. Тот, может быть, и отстоял бы свое понимание вещей, да опасался выказать себя непочтительным, он и без того, видно, не был избалован вниманием Полины.

К концу дня он ушел вместе с ней.

А они втроем все сидели, вели нескончаемые разговоры, пили мутную брагу из алюминиевого бидона.

– Ты сальца, сальца бери, – потчевала старушка Долотова. – А капусту че хрумкать?

Долотов обнимает старушку за плечи, она отзывается на его ласку понимающим душевным взглядом и все угощает, угощает...

– У меня друг погиб... – зачем-то говорит он ей и чувствует, как перехватывает в горле.

– А ты не казни себя, не казни! – сурово наставляет она.

Потом, будто во сне, Долотов слышит еще один голос. Это у входа в домишко, в дверях, за которыми уже ночь, стоит молодая женщина в новой телогрейке и, засунув руки в карманы, смотрит с веселым удивлением, с готовностью рассмеяться. И скоро уже сидит рядом с Долотовым и все смелее, все более по-свойски всматривается в него. Ей, наверное, забавно видеть его хмельным, и она, всплескивая руками и запрокидывая голову, возбужденно хохочет.

«Славная, – думает Долотов. – И морщинки у глаз. Наверное, от привычки смеяться...»

– Как зовут? – спрашивает она.

Долотов склоняется к ее маленькому незнакомому ушку и шепчет с каким-то особым значением:

– Борисом.

– А меня Степанидой.

Звенит в руках Акима балалайка, и совсем рядом Долотов слышит:

Мальчик черненькой, ты мне нравишься, Поцелуй меня, не отравишься!..

И его уже не смущает ни прикосновение теплого плеча Степаниды, ни ее дерзкие глаза, какими женщины глядят на хмельных мужчин. Аким вдруг громко затянул про «Ваньку-ключника, злого разлучника». Вступила Степанида, несильным, но стройным голосом укрощая грубоватое буйство певца. Голос ее то пропадал, то вновь вплетался ладной нитью, когда казалось, песня была вконец испорчена.

Появился еще какой-то человек, по виду рыбак. – Ну их! Идем отсюда... – слышит Долотов и чувствует в своей руке ее ищущие шершавые пальцы.

– Куда?

– Ай, боишься? А ну как живого не выпущу? – сдавленно смеется она, увлекая его вон из домика.

На улице темь, того и гляди ткнешься во что-нибудь. А вроде была луна...

С лугов тянуло ветром, замешенным на запахе трав. Теплые ласкающие потоки чередовались с зябкими, суровыми. Высокий камыш длинно вздыхал неподалеку, будто за ним то и дело опускалась стая легкокрылых ночных птиц.

– Опять смолить? – насмешливо говорит она, услышав спички в его руках. – Только и научился?



... По пути в Хлыстово их дважды настигал дождь, каждый раз быстро прекращавшийся, и тогда видно было, как мимо бело светящейся луны проносились рваные тучи, будто в небе копотно горело что-то. Но едва он подошел к даче, как ливень наддал с новой силой, и, стоя на залитом крыльце, Долотов почувствовал себя потонувшим в шуме дождя, в упругой стоне деревьев. Время от времени набатно гроыхало железо старой кровли, а дождь то густо сыпал на плотную листву берез, то коротко и хлестко орошал стекла веранды, то вдруг обрывался, и тогда ровно прослушивался плеск потока, только что раздувавшегося ветром и прерывисто павшего из желоба на углу крыши.

## 14

На подходе к месту демонстрационного пролета ведомая Боровским группа стала самолет за самолетом снижаться, чтобы, наращивая скорость, пройти над трибунами в стремительном бреющем полете, а затем уйти на высоту. Но едва Извольский вслед за «корифеем» начал снижение, как самолет вздрогнул, развернулся и, как подстегнутый, взмыл вверх...

Не понимая, что происходит, Витюлька убрал газ, кое-как выровнял полет и только тогда почувствовал, с каким трудом перемещается ручка управления в диапазоне «на себя – от себя».

– Кормовой, погляди, что с рулями!

Минута, пока кормовой стрелок отстегивал ремни и прилаживался, чтобы разглядеть рули через блистер, тянулась бесконечно.

– Командир! – услышал Извольский.

– Слушаю!

– Нема его, руля поворота! А который на стабилизаторе, вроде скрипит, помятый он!

Извольский шевельнул педалями, машина не отзывалась... Нет, у него, наверное, на роду написано попадать в самые неприятные истории! Что на этот раз? Не мог же руль оторваться ни с того ни с сего? На худой конец должны были быть какие-то признаки, предвещавшие поломку. Или он не заметил?.. Извольский принялся мысленно перебирать все перипетии недолгого полета.

Взлет... Он пристраивается позади самолета Боровского и чуть ниже, чтобы уберечься от реактивных струй. Набор высоты, проход контрольных пунктов, снижение... Все без замечаний. Боровский вел свой С-04 безукоризненно, Витюльке оставалось только поглядывать на ведущего.

До сих пор они летали вдвоем, но на этот раз к ним присоединили одноместный высотный разведчик серии «ВР» – длиннокрылый, напоминающий планер, самолет, созданный в одном из опытных КБ. Высотный разведчик летел вслед за Извольским, чуть выше, на одной высоте с ведущим группы. По утвержденному построению их тройка составляла одно из звеньев участников парада, ей было отведено свое окошко времени. Как и все церемониалы, пролеты эскадрилий на авиационных праздниках есть искусство дисциплины, умение не расслабляться, держать внимание в постоянном напряжении. Без тренировочных полетов здесь не обойдешься, они необходимы, чтобы освоиться с визуальными ориентирами, научиться проходить контрольные пункты в точно оговоренное время, а значит, скрупулезно выдерживать заданную скорость – и на маршруте, и во время демонстрационного пролета после снижения, с последующим набором высоты и уходом на посадку. Любая ошибка, любая заминка непременно нарушит расписанный по секундам генеральный план движения всей армады участников пролета, а потому постоянная связь с землей, немедленное и точное выполнение указаний контрольных пунктов приобретает решающее значение. И надо же: пока летали вдвоем с Боровским, все шло как нельзя лучше, на совещаниях с представителями командующего парадом претензий к летчикам фирмы Соколова не было, а вот в первом же полете тройкой...

– Что будем делать, командир? – сердито спросил Булатбек Саетгиреев, штурман.

– Сажать будем.

– Без руля?

– На нет и суда нет, – не очень весело пошутил Извольский.

Но штурману было не до шуток. Он поглядел па землю и вспомнил прошлые «художества» Витюльки и с недоверием покачал головой.

– А может, того, не испытывать судьбу?

Извольский не ответил. Ему предстояла задача посадить самолет, пользуясь элеронами и рулем высоты. Кое-как со скольжением, он развернул машину и взял курс на аэродром.

Связавшись с КДП аэродрома, Витюлька предупредил, что из-за неисправности руля садиться будет на грунт между бетонными полосами.

– Сделайте пробный заход, – предложили с земли.

Извольский вышел на посадочную прямую и нацелился на большую полосу, выдерживая направление сменой оборотов то правого, то левого двигателя.

– Отлично получается, – отметили на земле. – Может, на полосу?

– Нет, на грунт, – стоял на своем Извольский, опасавшийся, что самолет может увести с полосы во время пробега.

– Добро, – отозвались из КДП. – Действуйте по своему усмотрению!

Среди тех, кто наблюдал за посадкой и в глубине души не верил в благополучный исход, был «корифей», только что выбравшийся из кабины и стоявший в группе техников у кромки бетона.

Но Извольский очень аккуратно посадил самолет и вырулил на стоянку.

– Молодец, – сказал Боровский.

Вокруг самолета сразу же собралась толпа. Оглядывая вмятины на хвостовом оперении, никто не мог понять, что произошло. Говорили о высокочастотных колебаниях, якобы возникших во время разгона со снижением, но это были слишком скороспелые домыслы, машина была серийной, и рули прекрасно работали в значительно более сложных условиях.

Потолкавшись на стоянке и ровным счетом ничего не поняв, Извольский поднялся в диспетчерскую, и тут ему сказали, что оторвавшаяся часть руля угодила в высотный разведчик.

– Ну?

– Вот и ну, – сказал Гаврилыч, отводя глаза. – Рухнул самолет.

– А летчик? – Витюлька побелел.

– Разве на такой высоте успеешь что?..

Теперь разговоры о слабом месте в конструкции С-04 уже не казались нелепыми. Если таков будет и официальный вывод расследования, значит, все находящиеся в строевых частях самолеты этого типа перестанут считаться годными для использования до тех пор, пока в конструкцию не будут внесены соответствующие исправления.

Соколов приказал Добротворскому создать свою аварийную комиссию и включить в нее Боровского, Гая-Самари, а также направленных из КБ инженеров.

Витюлька ходил как в воду опущенный. Его должны были утвердить ведущим летчиком на опытный С-14М, который готовили к вылету в начале будущего года, но если решат, что катастрофа произошла из-за его нерадивости, то о новой машине и думать нечего. Что бы ни говорили о причинах поломки подвижных узлов руля, Извольскому непременно припишут неумение держать свое место в построении. Такой вывод напрашивался сам собой: если бы самолеты находились на должной высоте и должном расстоянии друг от друга, злополучный руль, оторвавшись, не смог бы зацепить высотный разведчик.

«Теперь труба, – размышлял Витюлька, не находя себе места. – Ничего не докажешь, а валить все на погибшего – скажут, совести нет. У парня, говорят, осталось двое детишек... И не возражать против обвинений – тоже не сахар. Руканов будто бы говорил, что обвинят обоих. Меня, как ни крути, с машины долой и до пенсии опытную больше не дадут...»

Мысленно возвращаясь к происшествию, Извольский пытался найти какое-нибудь упущение со своей стороны, но не находил.

– Витенька, – говорил Гай-Самари, – давай как на духу: совесть не мучает?

– Нет. Виноват не я. Хочешь верь, хочешь нет.

Гай верил. Он знал, что Извольский признался бы в ошибке. Таким он был всегда. Но ни Гай, ни Боровский, ни инженеры КБ не могли рассчитывать, что, отстаивая честь фирмы, им удастся доказать абсолютную невиновность Извольского. Для этого у них не было оснований. Нельзя же считать, что, защищая игрока своей команды во что бы то ни стало, выполняешь свой долг! И Витюлька это понимал.

От полетов его не отстраняли, никаких приказов на этот счет никто не писал, но

Извольский слонялся без дела, и дни эти прочно остались в его памяти, вернее – оставили после себя отвратный привкус. Исчезло вдруг чувство привычности всего вокруг, будто оказался среди чужих. Он даже не заглядывал в свой раздевальный шкаф – невыносимо было видеть висевшие там летные костюмы. Он словно потерял опору под ногами; события угрожали не только его назначению ведущим летчиком на опытный самолет, но и пребыванию на фирме.

Только теперь он обнаружил, что характер его взаимоотношений с друзьями по работе, установившийся стиль общения с ними словно бы исключал возможность их серьезного участия в его беде. Оказалось, что поговорить с ними по душам, выговориться ему вроде бы неудобно. Он чувствовал себя как в маске, которую не в силах снять. Как-то само собой получалось, что на сочувственные замечания, на дружеское похлопывание по плечу он беспечно улыбался, будто боялся обмануть представление о себе, если откроет все то, что у него на душе.

Едва ли не всех на работе Витюлька считал своими друзьями, у него были отец и мать, но все в его жизни складывалось так, что вот теперь, когда ему нужна поддержка, он почувствовал вокруг себя пустоту.

– Говорят, ты резко притормозил на повороте? – мрачно шутил Карауш.

Витюлька и тут улыбнулся, хотя ему было куда как не до шуток.

Его голоса теперь почти не слышали. У него сделалось привычкой стоять где-нибудь за спинами ребят и подпирать стену.

– Что заскучал? – сказал как-то Чернорай, положив на плечо Извольскому свою тяжелую, будто чугунную, руку. – Бог не выдаст, свинья не съест. Разберутся.

Он сказал еще, что уверен в непричастности в катастрофе как Извольского, так и летчика высотного разведчика, но это мало утешало Витюльку: «чужую беду рукой отведу»; если Чернорай не сумел постоять за себя, когда решалось, кому испытывать лайнер на строевые режимы...

Все считали, и Витюлька не оспаривал, что начальство поступило несправедливо, поручив испытание лайнера на большие углы Долотову. Было как-то неловко за него; каким бы сильным летчиком он ни был, одно дело, когда это говорят люди, и другое, если ты начинаешь вести себя так, будто сам несколько не сомневаешься в этом. С ним Извольский согласился бы летать на любые режимы, как и с Лютровым, но замкнутость Долотова, его сухость, отстраненность от друзей всегда стесняли Витюльку. Вот и теперь он никак не мог решиться съездить к Долотову в госпиталь, где тот проходил очередное медицинское освидетельствование, и рассказать о происшедшем.

«Еще не сделали выводов о неудачной посадке лайнера... Говорят, этот случай Долотову даром не пройдет, «кое-кто» собирается «заострить»... Ему теперь не до меня», – думал Извольский, оправдывая свою нерешительность.

Еще две недели назад ничто на свете, казалось, не могло его огорчить. Но то, что случилось теперь и сделало несчастным, оказалось сильнее того, что делало Витюльку счастливым. И Валерия, и все значение перемен в его жизни потускнели и словно испарились из сознания, а точнее – пребывали где-то там, где были покой, праздник, благополучие, бездумье...

«Все то (личное, домашнее счастье) могло подождать, я не против. Для него я всегда гожусь. Жил без него – и ничего. А не дадут летать, это навсегда, это уже конец...»

Ему и в голову не приходило искать понимания, сочувствия и утешения своим горестям у Валерии. Во-первых, она тут же расскажет обо всем будущей свекрови, а во-вторых...

«Во-вторых, где ей понять?» – думал Извольский, вспоминая свои разговоры с Томкой.

– Да брось ты! – досадливо говорила Томка. – Только и слышишь – техника, техника! Душу запродали своей технике. Машины такие, машины сякие, охаживают, любят!.. Заимеет какой-нибудь придурок машину, и больше ему ни черта не надо, предел мечтаний! Возит за собой вонь и дым и доволен!

– Ничего ты не соображаешь, – говорил Витюлька.

Как ей было объяснить, что стихия полета овладевает летчиком так же безраздельно, как художником стихия образов, мелодий, пластики, красок. Как ей было объяснить, что значит для него, летчика, видеть чистое нарядное небо, слышать рев разбегающихся, взлетающих

самолетов?

«Разве они могут понять, что даже фигура старого Пал Петровича, окошко парашютной, мимо которой я иду, – все для меня как прошлое?!»

Слаб человек. В одну из пятниц, когда Валерия ждала его у кинотеатра, Витюлька сидел за столиком открытого кафе над рекой, изливая душу перед Костей Караушем, называя себя невезучим, несчастным человеком, которого никто не понимает.

– А Руканов, ты подумай, а? «Изложите подробно!..»

Приказывает, понимаешь? Что я ему изложу?

– Хмырь он. Знаю я его. И отца его, и жену его. Тамарка Сотникова, официанткой была. Ее все знали...

– Доложит Старику, а тот выгонит, а? Выгонит! Подвел, скажет. Пропал я теперь. А еще жениться собрался, идиот!.. Ни, ни!.. – Витюлька прикрывал ладонью рюмку, предупреждая намерение Кости подлить.

– Малонесущ?

– Средней грузоподъемности.

– А если по лампадочке? Для пакости?

– Ну, если по лампадочке...

– И потопаем домой.

– Чего я там не видел?

– Понял. Зачисляю тебя в артель. В пять утра махнем на рыбалку. Ты, я, Булатбек и Козлевич. Идет?

– Во! То, что мне надо!.. Нет, серьезно? Ты не думай, я умею рыбу чистить.

– Думаю, до этого дело не дойдет...

Ночью, шагая через весь город, они то и дело останавливались, чтобы объясниться друг другу в любви и всемерном уважении. Потом оказались в аптеке, где полная красивая женщина тоже выразила Витюльке свое душевное расположение и в доказательство этого уложила спать на раскладном диване в крохотном кабинете.

Это была отгороженная от основного помещения маленькая комнатка, с дверью на улицу, с белым настенным шкафчиком, створки которого помечены буквами А и Б, с двумя стульями, конторским столом и большим раскладным диваном, туго обтянутым холодящим полотняным чехлом. Даля сидела за столом, напротив Кости, расположившегося в ногах Витюльки, была одета в накрахмаленный халат, который очень шел ей, и весело щурила свои прекрасные темные живые глаза.

Костя начал с того, что долго и красочно объяснял свое столь позднее появление сочувствием к другу.

– А что с ним?

– Ну, увидел меня и так разволновался, что я понял, он будет волноваться до тех пор, пока я не догадаюсь, что при таком волнении без выпивки нельзя!

Так уж у него повелось – заходить мимоходом, оказываться рядом из-за стечения каких-то обстоятельств: казалось, больше всего он был обеспокоен тем, чтобы не дать ей повода думать, будто причиной его поздних появлений в аптеке она, Даля.

Но какими бы причинами он ни объяснял свои визиты к ней, Даля была уверена, что они вовсе не случайны, и чем больше убеждалась в этом, тем острее чувствовала потребность Кости узнать все о ее прошлом, и не просто узнать, а убедиться, что и она испытывает некое покаянное чувство, что и ей знакома та душевная немочь, которую он старательно скрывает в себе и которая в иные минуты очень ясно проступает на его лице.

– А просто так прийти ко мне ты не можешь? – заметила она с оттенком обиды, стараясь сбить Костю с шутливового тона, вызвать на откровенность.

– Надо привыкнуть... – неопределенно ответил он.

– Ко мне?..

– Вообще... Вдовы – не мой профиль. – Костя щелчком смахнул пылинку с колена.

– Ты еще ухаживаешь за девушками?

– Девушка – имя обчье, – наставительно произнес он. – Им прозывается первойшая школьница и последняя... так сказать.

– Какие же тебе по вкусу? – Даля покраснела.

– У которых не слишком нежное воспитание.

Едва начавшись, разговор неприятно взволновал Костю, гнал вон из комнаты. И Даля не могла этого не заметить. Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но в дверь постучали: прибежала девочка-подросток с блестящими от слез глазами, поздоровалась, попросила валидолу и оставила после себя отголосок беды. Даля знала эту девочку, знала ее семью и, словно ни о чем другом теперь говорить нельзя было, неприлично долго рассказывала о родственниках и родных девочки – молодых и старых, больных и здоровых, душевных и бездушных. Наконец Костя встал, решительно вздернул кверху бегунок застежки-«молнии» на своей новой кожаной куртке и сунул руки в косые карманы.

– Пора? – Голос Дали прозвучал негромко, буднично. И Костя отозвался в том же равнодушном тоне:

– Да... Ребята, наверное, ждут уже.

– Снова пропадешь на три недели?

– Что делать, служба... – Он встряхнул Витюльку. –

Извольский, на вылет!

По пути в гаражи Витюлька спросил:

– Послушай, звонок, ты кем приходишься этой аптекарше?

– Раком, – глухо буркнул Костя.

– Невразумительная краткость – сестра мозгоблудия, как говорит Старик. Каким раком?

– Тем самым, который на безрыбье тоже рыба, – саркастически уточнил Костя, испытывая злое желание низвести свои теперешние отношения с Далей до пошловатой историйки.

...Уехали километров за сто, к Черному озеру. Впрочем, набрали на него случайно, ехали куда-то не туда, куда-то по карандашной схеме Козлевича, на какую-то Чвнрь. Но схема была ерундовой, они заплутались в проселках, и по совету прохожего перебрались через небольшую речку к Черному озеру, о котором тут же узнали, что оно очень глубоко и с двойным дном: второе – из наваленных в него то ли бурей, то ли половодьем деревьев, из-за которых утонувшего в озере пьяного попа так и не нашли.

Место выбрали там, где лес подступал вплотную к озеру, оставляя перед водой ровную травяную полянку. Хорошо вышло: позади сосновая роща, слева и справа кустарник, а впереди за короткой водой – поля.

Глушь, тишина наконец... Они раскинули палатку, выпили немного, спорили о чем-то, радовались безлюдью, солнечному дню, уже прильнувшие к этому миру, влюбленные в озеро, в ожидании ночного неба, в предстоящий сон на соломе, в надувание лодок – во все на свете.

Витюлька был возбужден, подвижен, шумлив и смешлив, хватался за всякое дело и всем мешал. Обозначившаяся на его бледном лице русая поросль суточной щетины и болезненно блестящие глаза делали его похожим на изнеженного отрока, сбежавшего из монастырского заточения к мирским радостям. О чем бы ни заговорили, он находил предлог, чтобы заявить, что ему наплевать, оставят его на фирме или нет.

– Ну выгонят! Ну и что?

– Кто тебя выгонит, дурашка? – говорил Козлевич, поворачивая шашлыки над жаровней.

– Допустим! Я говорю, допустим!.. – великодушно отступал Витюлька. и сердце его благодарно екало.

– Он что, сумасшедший? – Козлевич вопросительно смотрел на Карауша.

– Очумел малость. Природа действует.

К заходу солнца потянуло ветром, качнулись деревья, продавились стены палатки, колыхнулось и несильно хлопнуло дверное полотнище, а вода в озере вначале потемнела от ряби, потом разгладилась и полосато заблестела.

Но ничего этого Извольский не видел и не слышал, он спал. Волнения последних дней, сон вполглаза в аптеке и дорожные мытарства вконец измотали Витюльку.

А ночью, вдруг проснувшись в палатке, никак не мог заснуть, продолжая чувствовать острую горечь обиды. Ему отчетливо вспомнился Лютров, полеты на «девятке», «штопор», из которого они вышли с таким трудом... «Я думал, труба», – сказал тогда Витюлька. «И я думал», – отозвался Лютров. Как легко и просто было с ним! Какими радостными и полными

значения были дни!.. Где все это?

...Вернувшись домой и заглянув в почтовый ящик, Витюлька обнаружил там письмо Долотову, вначале направленное по его прежнему адресу, а затем – на адрес Извольских. Это был случай повидать Долотова. Забрав в квартиру, чтобы только побриться и переодеться, он взял такси и поехал в госпиталь.

Извольский хорошо знал этот старый загородный особняк, с навесом для карет у парадного входа, с высокими, под потолок, зеркалами, украшенными гербами какого-то княжеского рода и полуобнаженными бронзовыми одалисками, стоящими по сторонам со светильниками над головой; с широкими мраморными лестницами, огражденными резными дубовыми перилами, опиравшимися частоколом стоек, на потемневшие бронзовые розетки. В здании всегда было тихо, тишина казалась строгой. Белые лестницы, просторные палаты, высокие горделивые окна с длинными медными шпингалетами – все здесь было чуждо суетности, склоняло к раздумью, серьезности, покою.

«Наверное, в женщине, которая тебе очень нужна, есть что-то твое, что знаешь и видишь один ты. – Вот что вдруг пришло в голову Долотову, когда он увидел перед собой расплывшуюся в улыбке физиономию Витюльки. – Все было бы по-другому, если бы на его месте оказался Одинцов. Тот взял бы все. И оставил бы на ней следы своих рук...»

Вскрыв конверт и пробежав глазами какой-то печатный бланк, Долотов вложил его обратно и сунул письмо в карман. Извольский так и не смог, как ни старался, по лицу Долотова понять, приятно или неприятно послание, а спросить было неловко. И хотя казалось, что Долотов сразу же забыл о письме, расспрашивая Витюльку о делах на фирме, это не могло его убедить, что Долотов уже забыл о письме. Извольский никогда не мог по выражению лица Долотова угадать, что его занимает, о чем он думает и думает ли о чем-либо вообще. Никакие впечатления, казалось, не отражаются на его лице, а рождаются и умирают где-то в нем, бог весть в каких уголках души...

Из вопросов Долотова можно было понять, что он не догадывается о настоящей причине визита, а Витюлька никак не решался заговорить о своих бедах, да, наверное, так бы и промолчал, если бы Долотов не спросил вдруг:

- Что там у вас с высотным разведчиком?..
- Откуда узнал?
- Здесь все знают.

Они сидели в комнате, отведенной под читальню, у мраморного камина, топку которого заложили кирпичом и грубо замалевали известью. По обыкновению Витюлька стал рассказывать как бы не всерьез, сам не донимая, почему у него так получается, но скоро эта дурашливость исчезла сама собой. Долотов слушал серьезно, часто переспрашивал, заставляя подробно рассказать, как вел себя С-04 после отрыва руля, кто занимается расследованием, что предполагают... И, выслушав, сказал неожиданное:

– Высотный разведчик не годится для групповых полетов. Это машина-одиночка. Хотел бы я знать, какой деятель присобачил его к вашей паре?

Витюлька пожал плечами; ему и в голову не приходило искать причины происшествия так далеко.

## 15

Принять решение по «делу Долотова» было самым неприятным из всего, с чем пришлось столкнуться Данилову, едва он вернулся на работу. Ни Главный, ни его заместители никаких предписаний на этот счет не давали. Но от этого не становилось легче. На совещании в министерстве Разумихин обязан был объяснить причину задержки испытаний лайнера неудачной посадкой, после которой пришлось долго заниматься нивелировкой самолета, исследованием состояния силовых узлов шасси и многим другим. А коль скоро вина целиком падала на летчика, выступление Разумихина не осталось без внимания отдела летных испытаний министерства. Оттуда затребовали объяснительную записку, она была написана и отправлена Рукановым. В ответ министерство специальным письмом потребовало не позже такого-то числа «решить вопрос о возможности дальнейшего использования Б. М. Долотова в

качестве ведущего летчика-испытателя».

– И что вы намерены предпринять? – спросил Гай-Самари.

Они было втроем в кабинете и, судя по единодушию, с которым Данилов и Руканов сокрушались по поводу «дела Долотова», Гаю стало ясно: Данилов знает о происшедшем только со слов Руканова.

– Донат Кузьмич, вы же видите, дело обернулось так, что нам не ограничиться обычными административными мерами. В письме так прямо и говорится: решить вопрос о дальнейшем использовании.

– Значит, все, что было сделано человеком, по боку?

– Прошлые заслуги годятся для мемуаров, – с некоторым сожалением заметил Руканов. – А для живого дела важно, на что мы способны сегодня, сию минуту. Нам платят деньги не за то, что мы некогда прекрасно летали, а за умение это делать в период от аванса до получки.

Говоря все это тем же сожалеющим голосом, Руканов спокойно поглаживал ладонью одной руки положенную на стол кисть другой. И отчего-то Гая взбесило именно, это поглаживание. «Ах ты сукин сын! Как заговорил? Значит, по-твоему, для Борьки только то и важно, будет ли он получать деньги, которые ему платили до сих пор?»

Гай резко поднялся, зачем-то старательно подсунул стул под стол, за которым сидел, и, крепко опираясь на спинку этого стула, сказал:

– Вы правильно заметили, Петр Самсонович, решать этот вопрос обычными административными мерами нельзя. Никто лучше авторитетной комиссии не сможет решить, была ли эта ошибка Долотова случайной или... он не стоит тех денег, которые ему платят. Но вначале мы обсудим этот вопрос на общем собрании летного состава. Надеюсь, наше решение будет принято во внимание?

– Разумеется! Без оценки летчиков ни я, ни Савелий Петрович просто не имеем права делать какие-то выводы! – немедленно заверил Данилов.

Когда Гай вышел, Данилов сказал, пряча глаза от Руканова.

– Зачем вы так? Кому за что платят... Откуда у вас эта... терминология?

– Мы люди дела, Петр Самсонович, и должны называть вещи своими именами.

– Нельзя так, – Данилов поморщился. – Неужели вы не понимаете, что работа летчиков-испытателей – это в первую очередь призвание? А корысть, голубчик, ищет другие профессии. Нехорошо: ваши слова будут истолкованы как оскорбление. Да и по какому праву?.. Что мы, работодатели какие-нибудь? Скверно, очень скверно вы сказали.

Едва Гай вышел из кабинета, его окликнула секретарша.

– Вот возьмите, – сказала она негромко, протягивая ему какие-то листы. – Это копия объяснительной записки Руканова, он послал ее в министерство. Я слышала ваш разговор. Прочитайте внимательно, вам пригодится.

– Благодарю, – сказал Гай и, уловив жесткое непреклонное выражение на лице женщины, подумал: «Нет, Володя, не быть тебе в чинах».

Это была не объяснительная записка, а нечто вроде обвинительного заключения. Ни слова в оправдание, никаких упоминаний о причинах, которые могли повлиять на самочувствие летчика, а лишь подробное описание существа ошибки Долотова, «которая могла привести к необратимым последствиям», а также старательное перечисление дат и номеров приказов, где Долотову объявлялись выговоры и за что. Мало того, Володя не забыл упомянуть об устном приказе Главного отстранить Долотова от испытаний С-14 «за проведение непредусмотренного заданием режима полета». Завершая записку, Руканов как бы вполголоса, ссылаясь на свидетельство сослуживца Долотова, сообщал, что во «время пребывания в летном училище он снискал своим поведением печальную известность человека недисциплинированного, каким-то образом замешанного в историю избияния инструктора, и только недоказанность егопряного участия в драке помогла Долотову избежать отчисления из училища».

Теперь Гаю нетрудно было понять, на чем основывалось требование министерства «решить вопрос о возможности дальнейшего использования...».

«Я его уничтожу! – мысленно поклялся Гай-Самари. – Я его уничтожу, чего бы это мне ни стоило!»

Гаю больше не казалось случайностью ни история с характеристикой, ни отношение

Руканова к назначению Долотова на лайнер.

Раздумывая, «из чего все это может происходить», Гай спрашивал себя: «Неужели делание карьеры даже таким, не лишенным таланта работником должно быть сопряжено с низостью?.. Нет, – решил Гай, – низменное порождается чем-то ущербным в человеке». И делил сущность натуры Володи на две неравные и неравнозначные части. Главная, хорошо развитая часть была приспособлена к служебной стороне жизни. Никто из самых придирчивых наблюдателей не мог бы, не покривив душой, назвать Руканова незначимым специалистом, неумелым работником. Он был старателен, исполнительен, судил о делах «вполне на уровне», его выступления на совещаниях производили хорошее впечатление своей логичностью, обстоятельностью. Он легко разбирался в стоящих перед КБ задачах. Но вторая сторона существа Володи, проявляющая себя вне служебных взаимоотношений, та человеческая, житейская его часть, о которой Гай не задумывался ранее и не принимал в расчет, была на редкость плоска, худосочна, нетребовательна, лишена вкуса и опыта, а значит, подчинена любым внешним влияниям. В детстве – авторитету матери, учителей, кулакам дворовых мальчишек и однокашников, теперь – жене, построившей их совместную жизнь на свой лад. Гай знал ее еще в ту пору, когда был холост и хаживал на танцы в компании с Лютровым, Саниным, Костей Караушем. Тамара Сотникова, полногрудая коротышка, известная среди завсегдатаев парковой танцплощадки как одна из самых покладистых «кадров» из числа официанток загородного ресторана, без труда распознала, что представляет собой худошавый «очкарик», сбивчиво топтавшийся с ней на затененной стороне танцплощадки. Замужество было для нее стопроцентной удачей. Жила она в трехкомнатной квартире, по своему усмотрению тратила солидную зарплату мужа, бездельничала, толкалась по магазинам и была искренне убеждена, что при желании могла бы найти и более обеспеченного сожителя, о чем под горячую руку не смущалась говорить и Руканову.

«Как же тут не быть низости, – заключал Гай-Самари, – если служебная сущность Руканова целиком в услужении у этой вконец развращенной бабенки?»

«...И что за историю он знает о Долотове? Действительное это событие или «сослуживец» насочинял? Да и кто он, этот пресловутый сослуживец? Откуда знает Руканова?.. Стоп! Трефилов! Кому же еще злословить о Борьке?»

Гай очень ждал возвращения Долотова из госпиталя. Прежде чем приниматься за Руканова, Гай должен был точно знать, что произошло в училище. Знать правду.

«Да, но захочет ли Долотов вообще говорить на эту тему, вот в чем вопрос!..»

– Как держаться за ручку, не забыл? – спросил Гай, приметив вошедшего в диспетчерскую Долотова.

– Начальство желает проверить?

– На то оно и начальство.

– Ясно.

– Повеселим ручку для общей ерундии. Сначала я постараюсь оторваться, потом ты. Как на инспекторской проверке во время службы. Идет?

Долотов приехал на базу во второй половине дня, сразу же, как был выписан из госпиталя. Приехал единственно на нетерпения почувствовать себя вернувшимся, а возвращаться ему кроме как на работу было некуда. К тому же Долотову очень хотелось повидать Извольского, чтобы поделиться с ним своими соображениями о причине катастрофы высотного разведчика, над которой, как над замысловатой шахматной партией, он много размышлял.

Извольского на базе не оказалось, назавтра ему предстояло быть на заседании специальной комиссии, разбиравшей катастрофу высотного разведчика, и Гай отпустил его домой.

По пути на стоянку Долотов спросил:

– Не боишься, что уделаю?

Не говори гоп! – улыбнулся Гай. – Взлетать будем в паре.

Они набрали высоту и вышли в зону. Долотов летел справа от машины Гая, чуть дальше, чем следовало.

– А ближе? – услышат он в наушниках.

Долотов прижался к МиГу Гая так, что мог бы коснуться его машины консолью крыла.



Это было не по правилам, но Гай молчал. Он понял, что Долотов сделал это нарочно, потому что Гай поддразнил его. «Ожил, бегемот – решил Гай.

– Заходи в хвост и не отрывайся... если можешь, – сказал Гай.

Долотов отошел вправо, показал Гаю брюхо своего МиГа, прибрав газ и принял нужное положение – сзади и чуть ниже машины Гая.

– Начали, – услышал Долотов.

– Понял.

Два маленьких самолета, как в показательном парном пилотаже, проделали несколько классически законченных фигур – петлю, вторую, резво входили в виражи, сваливались в спирали, разгонялись, шли друг за другом в боевом развороте, крутили косые петли, «каруселью» ходили по кругу, уменьшая радиус до предела, до вибрационной дрожи машин.

Долотов шел за Гаем, как привязанный.

Гай-Самари стал менять тактику. Где-то в середине «горки», с переворотом через крыло, направил МиГ к земле, а когда вышел из пике, долго тянул на бреющем.

Долотов следовал за ним так, будто знал каждый следующий маневр Гая, шел не отставая, стараясь ни на мгновение не терять его из виду. Это было нелегко. Иногда самолет Гая пропадал из поля зрения, и только навыки истребителя помогали Долотову безошибочно угадывать, куда повернул Гай. В одно из таких мгновений, потеряв и тут же обнаружив самолет Гая-Самари, Долотов подумал: «Хороший обзор из кабины у этого старичка, не то, что у высотного разведчика».

И тут же счастливой догадкой другая мысль: «Ну да! Все дело в обзоре! Из кабины разведчика я бы не уследил. – вот где собака зарыта! Я же летал на нем!»

Прижав самолет ближе к земле, Гай некоторое время летел, не меняя положения, рассчитывая, что Долотов устанет от напряжения внимания, не успеет достаточно быстро вслед за ним включать тормозные щитки и проскочит.

Но едва лопасти щитков дрогнули на фюзеляже самолета Гая, как Долотов тут же придавил кнопку их выпуска у себя на ручке управления. Гай набрал высоту и сказал несколько осипшим голосом:

– Ладно, меняемся местами.

Все началось сначала. Теперь Долотов изворачивался, пытаясь оторваться от преследования Гая, но в зоне это ему так и не удалось. Казалось, тем дело и кончится. Долотов взял направление на аэродром и на подходе к нему стал снижаться, выпустив шасси. Гай решил, что Долотов идет на посадку, и сделал то же самое.

А Долотов словно только того и ждал: он убрал шасси, прибавил скорости и, сделав косую петлю, зашел в хвост самолета Гая.

– Хватит. Идем на посадку, – сказал Гай.

Машины приземлились почти одновременно, топливо было на исходе.

Зарулив на стоянку, Гай вылез из самолета и подождал, пока выберется Долотов.

– Не любишь проигрывать? – спросил Гай, обнимая Долотова за плечи.

– Так учили, товарищ начальник. – Устал?

– Да вроде нет...

– А я устал.

Гай был доволен настроением Долотова и решил сегодня же расспросить его об истории в училище.

В летных апартаментах было пусто, только уборщица Глафира Пантелеевна сердито громыхала стульями в диспетчерской.

Переодеваясь, Гай спросил:

– Ты на дачу?

– Нет. В город.

– Подвезешь?

– Едем.

– ...Скоро полетишь со Стариком на завод двигателей, – сообщил Гай по пути в город.

– Есть что-нибудь новое?

– Кажется, есть. Не очень вразумительное, правда: Обнаружили какую-то неисправность в

форсажной камере одного из двигателей. Но, по их словам, это не могло быть причиной катастрофы.

Знакомая песня. Каждый старается увильнуть от ответа.

. – Может быть, так, а может быть, не так. На месте будете разбираться. Минуту ехали молча.

– Что с лайнером? – спросил наконец Долотов.

– Он еще спрашивает! Поломал машину, только и всего. – Гай повернулся к Долотову и, встретившись с его вопросительным взглядом, улыбнулся. – Ничего серьезного не обнаружено. Только не думай, что это так просто пройдет для тебя. В министерстве было совещание, самолет выпал из графика испытаний, Разумихину пришлось держать ответ. Так что...

– Разбирать будут?

– А ты как думаешь?

– Будут. Черт меня дернул садиться на лайнер! И Чернорая подсек.

– Как подсек?

– Так... Если хочешь, чтобы человек потерял уверенность в себе – скажи ему, что кто-то может сделать его работу лучше.

– Вот, вот! Ты и выдай все это Разумихину, когда за тебя, раба божьего, примутся.

– Нет. Я у начальства в партизанах хожу, слушать не станут. Снимут с машины, а?

– Бог даст, обойдется. Данилов вышел на работу.

– Руканова, говорят, повесили?

– Собираются. Как тебе нравится?

– Не думал об этом.

– А я против.

– Что так?

– Так. Я его немного знаю.

– Вот и хорошо.

– Мало хорошего. Недошлый он, как говорит Глафира Пантелеевна.

– Почему? Ростом не вышел?

– Натурой. Таких пресекать надобно.

– Всех нас, любезных соотечественников, одолевает «тяготение к пресечению», до того обасурманились, что не знаем, что сказать о ближнем, если неизвестно, что он подлец.

Гаю очень хотелось напомнить Долотову его разговор с Трефиловым, но Гай превозмог себя, мысленно отметив, что эта терпимость – черта в Долотове ранее неизвестная, даже несоответствующая привычному представлению о нем.

– О Руканове и тебе кое-что известно, – сказал Гай.

– Имеешь в виду мою характеристику?

– Не только.

– Маленькие гадости – это маленькие гадости.

– Как прикажешь понимать?

– Очень просто, «оставить ему его крысу».

– То есть дать Володе возможность пакостить в пределах способностей? – Гай хитро прищурился. – Я слышал, ты уговаривал своего приятеля ответить на статью Фалалеева. Ты бы оставил ему его крысу?

– Здесь другое, Гай, – сказал Долотов после некоторого молчания. – Что такое Фалалеев? Сидел «мешком» рядом с Боровским, как говорит Козлевич, и вот не стесняется внушать читателям, что-де в «наше просвещенное время» истинная цена работнику состоит в его способности находить «оптимальные варианты». Что-де нынешний идеал – человек рассудочный, как в песенке: «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Если развить эту идею, выходит – поднимай лапки вверх, если в корзине у противника на два кулака больше. Печатный глагол – это не треп в комнате отдыха.

– Тут уж не от Фалалеева, скорей – от моды.

– Какой моды?

– В моде стиль деловых людей – рационализм. Все взвесить и делать то, что оправдано, выгодно.

– Когда рационализм становится философией, это уже не стиль деловых людей, а особый род проституции – поступайся всем, что не дает выгоды! Свойство наиболее развитых паразитов. Публика этого сорта куда как современна! На языке – полный набор добродетелей дня, а на деле – всегда в стороне, всегда вне... духовной генеалогии народа. Есть такое растение – повилика. Питается соками дерева, на котором паразитирует, но никогда не становится частью этого дерева.

– Почему же ты оправдываешь Руканова?

– Я не оправдываю. Он знает себе цену и торопится получить ее. Карьерист? Да. Но такие, как он, были еще на строительстве пирамиды Хеопса. И помогали строить, а вот типы вроде Фалалеева зарубили бы саму идею пирамиды как бредовую.

Гай вздохнул. Когда-то и он так считал: если хочешь иметь хорошего работника – дай шанс его человеческим слабостям, игра-де стоит свеч. Теперь он не был в этом уверен... А что касается Володи, то после его объяснительной записки, после разговора в кабинете Данилова никакие рассуждения не могли убедить Гай-Самари, что слабости Руканова окупятся его деловыми качествами.

– Нескромный вопрос, Боря...

– Да?

– Что за история была у вас в училище? Инструктора избили, а?

Долотов некоторое время рассматривал Гая, словно хотел угадать, зачем это ему понадобилось.

– От кого узнал?

– Трефилов говорил... Давно, – соврал Гай.

– Долотов закурил и надолго замолчал.

– Рыльце в пуху, Боря? – улыбнулся Гай.

– Был у нас в группе курсант... – начал Долотов. – Суров... Да, Вадим Суров. Впрочем, я не уверен, что это его настоящая фамилия. Маленький, вертлявый, разговаривал, как одесский жулик. Его отец жил за границей; во время войны работал на немцев. Вот и сын задумал умотать за границу, а его не допускали к самостоятельным полетам. Не тянул по технике пилотирования. Хотели отчислить. Но ему удалось упрямить комэска, и тот дал Сурову десять добавочных полетов на УТБ. В тот день «пешку» поднимал я, а он сидел позади капитана, на штурманском пятачке. После второго разворота – триста метров – помню, я собирался «затяжелить» винты. Слышу, какой-то удар. Сначала не понял. Обернулся – Суров с молотком. Но я не понял, что звук оттого, что он ударил капитана по голове.

– И тот потерял сознание?

– Нет, не думаю. На нем был зимний шлем, с мехом. Он наклонился, и тогда я понял, что Суров ударил его. Капитан повернулся к нему, а он его – молотком по лицу. Два или три раза...

– Представляю!

– Я попытался отгеснить его рукой, другой держал штурвал. Он и меня по руке. Я сказал капитану, чтобы взял управление. Хорошо, не был привязан. Ну, завалил Сурова, придавил коленом, схватил за горло, а он... – Некоторое время Долотов молчал. – Он вырвался, но я снова его схватил, держу. «Отпусти, я прыгну», – говорит. Меня подвел его голос. Показалось, в себя пришел... И тут он вырвался второй раз. Фюзеляжные баки были вынуты, в перегородке дыра, а в пустом отсеке – люк. Он и юркнул в эту дыру. Потом вижу – люк открывает.

«Капитан, – кричу, – выпрыгнет!» – «Ну и черт с ним!» Так-то оно так, только на Сурове не было парашюта.

– И прыгнул?

– Да... Я бы не дал, но капитан едва сидел, глаза кровью заливают, машина рыскает... Ребята видели, как Суров падал. Дикое зрелище. Когда ударился о землю, его подбросило, как мяч.

А Долотова будили по ночам и коротко говорили: «Пошли». И так месяца два. Оказалось, капитан отрицал, что говорил «пусть прыгает». И даже высказал предположение, что Суров был в сговоре с Долотовым. Все кончилось, когда из Москвы приехал полковник. Он беседовал с Долотовым всего дважды, но подолгу и дотошно. «Что с тобой делать? Героя давать или сажать?..» Не сделали ни того, ни другого. После экзаменов предложили остаться в училище

инструктором, но он попросился в часть. Невыносимо было жить рядом с капитаном, видеть его.

– Самое интересное, – сказал Долотов, – что и у меня мать за границей... Если жива, конечно.

– В анкетах обозначал?

– Нет.

Она уехала через два года после его рождения. О ее далеком существовании напоминали редкие письма, написанные наполовину по-французски и хранившиеся в тумбочке у изголовья кровати отца.

В разное время Долотов по-разному спрашивал себя: как она могла оставить его? Что принудило? Что могло случиться?.. С годами вопрос этот только внешне менялся, неизменно заключая в себе унижительное подозрение, что он ничего не значил в глазах матери, в тех спокойных, немного печальных глазах, которые глядели на него с маленькой фотографии.

Отца он помнил хорошо, хотя и о нем успел узнать немного. Работал на Адмиралтейском заводе, любил лошадей и часто брал с собой сына, отправляясь на ипподром. С тех пор ничто так не волнует Долотова, как бегущие лошади. Он может любоваться ими бесконечно.

Перед эвакуацией из Ленинграда он наткнулся на свернутый в трубочку портрет, хранившийся в старом сундуке, и не сразу узнал отца: он был снят в офицерской форме с Георгиевским крестом в дубовых листьях. Хотелось спросить о его прошлом, но так и не решился. И только перед отправкой эшелона с детьми, на вокзале, куда отец пришел в солдатской форме, Долотов спросил:

– Разве ты солдат?

– Как видишь, – улыбнулся отец. – И ты служи, когда вырастешь. Служба – дело чистое, как место в седле. Ты последний в роду, а он весь из служилого сословия.

С той поры он не видел отца, погибшего в блокаду. Жил в детдоме, потом у Марии Юрьевны, потом спецшкола ВВС, потом училище, потом служба.

– Приемная мать называла меня выучеником сорок первого года. «Это, – говорила, – главный учитель вашего поколения».

«Так оно и есть, – думал Гай. – Сколько лет прошло, а история с этим гаденышем все-таки дала о себе знать».

– Может, зайдешь? Поужинаем.

– Спасибо. Времени нет.

– А совесть есть? Начальник я тебе или не начальник? В воздухе, понимаешь, никакого почтения, так хоть бы на земле уважал!

– Не сердись, Гай. Уважаю. Но и причина у меня уважительная.

Гай кивнул: ну если так, будь по-твоему.

Причина действительно была уважительная: письмо, которое Витюлька привез в госпиталь, было судебной повесткой. И теперь Долотов направлялся в суд, где по заявлению жены должно было слушаться дело о разводе.

...Все произошло быстро, хотя и безболезненно.

Получив устное подтверждение «сторон» о нежелании продолжать совместную жизнь, сидящая женщина, судья, спросила, есть ли у них дети, не возникнет ли разногласий в вопросе раздела имущества, и, не вдаваясь в иные подробности, вынесла постановление о расторжении брака.

В ожидании этого постановления Долотов томился нелепостью своего сидения рядом с маленькой женщиной в синем, английского покроя костюме, которая на протяжении каких-то лет вызывала в нем разные переживания, вынуждала жить применительно к ней, была довольна или недовольна им, и вот теперь не вызывала больше никаких чувств, кроме неловкости за прошлое, которого могло и не быть, потому что она могла давно вот так же уйти из его жизни, сделаться посторонней и не иметь права на его настроение, ни на его время – стояло только написать бумагу и дать прочитать седой женщине, чтобы та, в свою очередь, написала и вручила им какую-то другую бумагу.

Церемония эта сводила их прошлое к такому незначительному, вернее – ложнозначительному событию, что Долотову было нестерпимо стыдно за все дурное, что он

думал о Лие, за то, что связывал свои неудачи, неудовлетворенность жизнью с этой маленькой женщиной, когда мог просто уйти. Ему было стыдно за то, что все, что некогда казалось важным, обязывающим к жизни с ней, на самом деле было не только не важным, но никому не нужным, ни ей, ни ему, и выглядело самообманом или чем-то того хуже.

## 16

Ко времени возвращения Долотова на базу стала известны новые данные экспертиз, которые перечеркивали все предположения о саморазрушении руля С-04. На вмятинах обшивки киля обнаружили макроскопические следы красочного покрытия высотного разведчика, а это неоспоримо доказывало, что в воздухе произошло столкновение.

Теперь Извольский вообще не знал, что думать, не решаясь даже предположить, какую вину могут ему, приписать.

Новым данным расследования было посвящено специальное заседание.

За длинным столом в кабинете Добротворского, кроме представителей КБ, министерства и летной базы, устроились все время державшиеся вместе трое конструкторов из опытной фирмы, где создавался высотный разведчик.

Атмосфера многолюдья, приглушенные разговоры вполголоса действовали на Витюлька угнетающе. Ему казалось, на него никто не смотрит, а это было плохим признаком, приметой враждебного единомыслия окружающих.

Вошел Руканов. К нему обратился один из приезжих. Слушая, Володя глядел себе под ноги; он ответил коротко и, не утруждая себя пояснениями, шагнул к большому столу. Здесь его остановил представитель министерства.

Этого Володя слушал, не отводя глаз, ответил обстоятельно и подождал, не будет ли дополнительных вопросов. Не было. Тогда Руканов подошел к большому столу, взялся за спинку стула и замер, глядя на Добротворского.

– Садись, – сказал генерал.

Володя сел и положил перед собой тонкую папку.

«Приладили, – мелькнуло в голове Извольского. – Прямо заводной...»

Украдкой оглядывая всех, выискивая на лицах если не участие то хотя бы какое-нибудь внимание к себе, Витюлька все сильнее чувствовал, что кого-то нет, кто-то не пришел. «Да, Лешка не пришел!» – мелькнула горькая мысль. И вдруг – фигура Долотова, его решительный профиль. «Позвонки!.. Когда он приехал?»

Лицо Долотова после госпиталя будто посветлело, резче обозначились сухие серые глаза и бритый подбородок. Минуту Витюлька пытался утвердиться в какой-то надежде, смутно шевельнувшейся в душе. И как бы в ответ на его немой вопрос Долотов посмотрел на него, выражение лица чуть смягчилось – улыбнулся. Но тут же снова оборотился к Гаю-Самари.

Томительную для Витюльки обстановку разрядив Добротворский. У генерала был один тон на все случаи жизни. Вот и сейчас он предложил, как скомандовал:

– Давайте начинать!

Невысокий худой человек раскрыл красную папку и принялся читать «Предположение о развитие событий в свете новых данных расследования». Читал он тем особенным безжизненным голосом, каким почему-то принято читать описание всяких провинностей, проступков, нарушений правил. От такого чтения виновнику начинает казаться, что, зная он все эти слова, никогда бы не совершал того, в чем его обвиняют. Когда прозвучали последние слова о «нечетко выполненных маневрах летевших друг за другом самолетами, что и явилось наиболее вероятной причиной столкновения», поднялся Долотов.

И с той минуты Витюлька вонял, что сейчас все станет на свои места, что, если Долотов решился на драку, значит, считает, что дело стоит того. А сломить его не всякий сможет.

Все приготовились слушать, и даже те, кто некогда не слышал Долотова, понимали, что перед ними человек, которому есть что сказать.

– Мне хотелось бы уточнить картину столкновения, как вы это назвали, – сказал он, проходя к доске, висевшей за письменным столом Добротворского.

Худой человек наклонился к генералу и о чем-то спросил.

– Борис Михайлович, – совсем не тихо ответил генерал.

Долотов взял кусок мела и нарисовал силуэты трех самолетов в парадном строю. Затем расходящимися лучами обозначил зону обзора из кабины высотного разведчика. Все терпеливо ждали. Оглядев нарисованное, он стал объяснять, глядя на человека с красной папкой:

– Как видите, ВР слегка подслеповат, у него плохой обзор передней полусферы. Можете поверить мне на слово, я летал на нем. Летчику не мудрено было потерять машину Извольского. Скорее всего – на развороте перед выходом на прямую и началом снижения. Извольский летел ниже... На минуту летчик разведчика принял самолет ведущего группы за тот, который все время был у него впереди, и чтобы соблюсти дистанцию, надбавил скорости. Но когда стал снижаться, перевел машину в наклонное положение, тут-то и увидел, что оказался над хвостом самолета Извольского. Что было дальше, нетрудно догадаться.

Долотов помолчал, вытирая испачканные руки.

– Пытаясь избежать столкновения, он решил отвернуть и зацепил крылом. Вот и вся история.

– По-вашему выходит, во всем виноват наш летчик? – заносчиво спросил один из трех представителей опытной фирмы.

– Нет, не выходит.

Стало совсем тихо, как это бывает, когда люди ждут услышать самое важное.

– Вся вина лежит на том, кто утверждал парадное построение, не сообразуясь с летно-техническими данными самолетов. А кто этот человек, вам лучше знать, – Долотов посмотрел на человека с папкой.

– Борис Михайлович прав, – сказал Гай. – Я тоже летал на этих машинах.

Несколько дней комиссия занималась версией Долотова. На тренажере были воссозданы заданные условия полета, приглашены летчики, летавшие на высотных разведчиках, которые тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная причина столкновения – в недостаточном обзоре из кабины этого самолета.

«Дело Долотова» разбиралось на собрании летного состава в один из понедельников. Эти «тяжелые» дни по негласному распорядку отводились для подобного рода мероприятий. В комнате отдыха не хватало стульев. Собрались почти все. Был и вернувшийся из отпуска Боровский, негромко и обстоятельно рассказывавший Добротворскому о ловле стерляди. Генерал был оживлен, поблескивал черными глазами, охотно отзывался на шутки. Чувствовалось, что среди летной братии он забывал и о чине и о возрасте. И даже сел подальше от председательского стола, втиснувшись между Боровским и Костей Караушем.

Долотов сидел на диване рядом с Булатбеком Саетгиреевым, и в сравнении с почти шоколадной физиономией вернувшегося с юга красавца штурмана бледное лицо Долотова выглядело болезненно. Однако очень уж удрученным он не казался.

– Прошу внимания, – начал Гай и с удовлетворением отметил, что говор в комнате разом стих. – На повестке дня один вопрос. И прежде чем мы обсудим его, я прошу разрешения изложить суть дела. Мне это представляется необходимым, потому что не все присутствующие до конца уяснили себе, о чем пойдет речь. Многие из вас были в отпуске или по другим причинам находились далеко от базы. Итак, существо дела. Долотов совершил грубую летную ошибку: не перевел стабилизатор лайнера в положение «кабрирование» перед посадкой, что повлекло за собой чрезмерные перегрузки конструкции во время приземления. Затем долгое исследование возможных последствий этих перегрузок, а, значит, нарушение графика проведения испытаний. Извинительна ли такая оплошность? Нет, разумеется. В нашем деле так ошибаться нельзя. Но прежде чем сделать окончательный вывод, нужно разобраться, понять, почему стала возможной эта ошибка, вспомнить некоторые косвенные обстоятельства, которые психологически подготавливали самую возможность срыва.

– Вот и начнем с Долотова. Пусть объяснит, как это у него получилось, – заметил Руканов.

Начнем с меня, – сказал Гай, – В свое время мои товарищи избрали меня старшим летчиком, начальником летной службы. Они оказали мне эту честь, полагая, что в случае надобности я сумею отстоять их интересы. В этой их надежде, собственно, и заключается честь быть старшим. Сумел ли я отстоять интересы Чернорая, когда решался вопрос о назначении

Долотова на С-441, никак, на мой взгляд, не обоснованном? Нет, не сумел. Я ни слова не возразил, когда встал вопрос о подмене Чернорая, хотя эта подмена была не по душе мне. Так же она не нравилась и Руканову, насколько я помню. – Гай-Самари посмотрел на Володю, и когда пауза сделалась вызывающе долгой, тот едва приметно кивнул.

«Погоди, ты у меня покрутишься!» – успел подумать Гай и продолжал:

– Как видите, не я один был против. Руканов придерживался того же мнения. Но мы оба промолчали. Теперь о Долотове. Его согласие на подмену означало не что иное, как молчаливое подтверждение неспособности Чернорая провести испытания лайнера на большие углы.

– Я так не думал, – сказал Долотов.

– Я говорю не о том, как ты думал, я говорю о том, какие выводы можно было сделать из твоего поведения. Или я ошибаюсь?

Долотов промолчал.

– Итак, ни я, ни Долотов, ни Руканов не подсказали Разумихину, как Чернорай воспримет это решение, какую моральную травму нанесет оно ему, и как, наконец, воспримет эту замену экипаж лайнера. Обсуждая назначение Долотова, Савелий Петрович и Разумихин беспокоились о пользе дела, их можно понять. Руканов, как обычно, не торопился с выводами. Так кому, как не нам с тобой, Боря, нужно было воспротивиться этому назначению? Но и мы промолчали. Я не решился возразить начальству, ты не подумал о последствиях, и в один прекрасный день Чернорай слышит: уступи свое место, у нас есть подозрение, что ты не справишься с работой. «Почему? – мог бы он спросить. – Разве какой-нибудь отдел КБ жаловался, что не получает нужных результатов испытаний?» Были претензии КБ к летчику, Савелий Петрович?

– Никак нет. Во всяком случае, мне об этом никто не говорил, – уверенно отозвался генерал.

Теперь я попрошу вас, Иосиф Иванович, как одного из ведущих инженеров и члена летного экипажа С-441, коротко высказать свое мнение о Долотове и о допущенной им ошибке.

Углин встал, застегивая пуговицы на пиджаке. Видимо, пока он приводил в порядок мысли, руки сами собой наводили порядок в костюме.

– Борис Михайлович, по моему мнению, такой же высококлассный летчик, как Чернорай, и каким был Лютров. Вот что я могу сказать, если я правильно понял, о чем идет речь. Что же касается ошибки... Смена положений стабилизатора на взлете и посадке – новшество в управлении самолетом, и, как всякое новшество, его легко запомнить, в особенности после трудного полета.

– Однако вы не запомнили? – усмехнулся Руканов.

– Я нет, – Углин широко улыбнулся. – Но ведь не я за десять минут до того выводил лайнер из «штопора», не мне его нужно было сажать. Со стороны виднее... А вообще обстановка на борту была тяжелая... Я потому и полетел. Мне не полагалось...

– Благодарю, Иосиф Иванович, – Гай подождал, пока Углин сядет. – Так считает ведущий инженер, который был на борту самолета и хорошо представляет себе, каково пришлось командиру незадолго до посадки. Но вот... в министерстве мне показывают объяснительную записку другого ведущего инженера, которого не было на борту и который на правах исполняющего обязанности начальника отдела летных испытаний фирмы дает в этой записке свое толкование происшествию, ни словом – запомните это! – ни словом не обмолвившись в защиту Долотова. Для Володи ничего, кроме факта, не существует. Он описывает, что произошло, ни звука не добавляя о том, как и почему это могло произойти, хотя, как вы знаете, Руканов был против назначения Долотова на лайнер, потому что «Вячеслав Ильич оказался в двусмысленном положении». Это слова Руканова. Когда объяснительная записка попадает в министерство, оттуда, как то и должно быть, приходит сердитая бумага с требованием «решить вопрос о возможности дальнейшего использования Долотова Б. М. в качестве ведущего летчика-испытателя». Я поинтересовался, как Руканов представляет себе решение этого вопроса, и может ли одна ошибка перечеркнуть весь послужной список Бориса Михайловича? Володя ответил мне примерно следующее – Петр Сансонович не даст соврать: нам-де, летному составу, платят не за прошлые заслуги, а за то, что мы в состоянии делать от аванса до получки... («Но и это еще не все, сукин ты сын!..») Я не искал эту твою в высшей степени оригинальную мысль?

– Донат Кузьмич, вы... немного отвлеклись, – осторожно заметил Данилов.

– Извините, я заканчиваю. Но чтобы до конца было ясно, как далеко простирается непонимание Руканова...

– Послушайте, речь идет не о моем непонимании!

– ...непонимание Руканова, что люди не роботы, – невозмутимо продолжал Гай-Самари, – мне придется покаяться в неблаговидном поступке, и уж воля Савелия Петровича оценить мое самоуправство по «номинальной стоимости». Дело в том, что я по своей инициативе отбил первый вылет дублера. Еще до запрета на его полеты. Нет, я ничего не знал о найденном дефекте в гидравлической арматуре. Меня вынудила к этому беседа Руканова с Долотовым перед вылетом. Да, Боря, тебя выпроводили с самолета по моей просьбе, потому что после беседы с Рукановым у тебя тряслись руки. Я не вправе касаться существа вашего разговора, но я знаю, какова цена начальнику, доводящему летчика до такого состояния перед вылетом, и чем он может кончиться, когда у летчика трясутся руки. Тебе не кажется, Боря, что рядом с Чернораем ты чувствовал себя не лучше?

Долотов промолчал.

– И в заключение перед тем, как дать слово желающим, я расскажу об одной новелле в рисунках из американского авиационного журнала. Рисунки следуют в таком порядке: летчик сел завтракать, жена сказала ему что-то неприятное, он вспылал, не допил кофе и выскочил на улицу; когда подошел к автомобилю, обнаружил, что забыл ключи; чертыхнулся с досады, взял такси; таксист ехал медленно, и летчик здорово поругался с ним; но все-таки опоздал на аэродром, за что ему сделал замечание руководитель полетов, а когда забрался в самолет, грубо оборвал механика, который пытался о чем-то предупредить... И последний рисунок: на разбеге самолет разлетается в щепки! Выразительно, правда? А все началось с одного неприятного слова за завтраком. – Гай оглядел повеселевшие лица, улыбнулся и закончил: – Прошу всех желающих высказать свои соображения по существу дела.

Некоторое время слышались смешки, говор, но никто не просил слова; видно, ждали, что Руканов не оставит без ответа выступление Гая. Но Володя сидел молча. Он был ошеломлен. Он едва понимал, о чем там говорят Боровский, ребята из экипажа Чернорая, Углин, Данилов, генерал... Молчал, кажется, один Ивочка Белкин. Он сидел, откинувшись в кресле, и, степенно сложив руки на животе, глядел на носки своих ботинок, делая вид, что занят какими-то важными размышлениями. Но Руканов понимал, что никаких особых размышлений у Белкина нет, что сейчас Ивочка не только не скажет ни слова в защиту его, Руканова, но и вообще не обнаружит своего отношения к делу, пока не станет ясно, что Долотова снимают с дублера.

Услыхав голос Гая, Руканов заставил себя вникнуть в его слова. Гай ставил на голосование предложение Добротворского «учинить» виновному инспекторскую проверку по всем статьям, дабы Долотов «подтвердил класс» летной и методической подготовки. Если оценки будут положительными, ограничить наказание строгим выговором. В случае серьезных замечаний – освободить Долотова от проведения дальнейших испытаний С-224 и понизить класс квалификации на одну ступень.

За предложение генерала проголосовали все, не исключая Руканова и Белкина.

– Здорово я тебя? – спросил Гай после собрания, встретив Долотова выходящим из раздевалки.

– По-божески. Руканову устроил избиение. Доволен, надо полагать?

– Но знаю, – Гай виновато улыбнулся. – Невеселое это занятие – делать подлости.

– Даже ради правого дела?

– Даже ради правого дела.

– Выходит, жалеешь?

– Да нет... Так, мутит малость, будто сам себе доказал, что способен на гадости. – Он крепко потер лицо, словно что-то стирал с него.

– Донат Кузьмич!.. Техника простаивает! – слезно крикнул молоденький ведущий инженер нового истребителя.

– Ладно, Боря! Пойду одеваться.

Уходя, Гай хлопнул Долотова по плечу, но слабо, нерешительно, как бы сомневаясь, что тому будет приятен этот дружеский жест.



– Все в порядке, Гай! Слышишь? – крикнул Долотов ему в спину.

Гай кивнул и благодарно улыбнулся.

«Так и должно быть, Гай, – думал Долотов. – Так и должно быть, иначе все разладится к чертям собачьим!» Он поймал себя на мысли, что уже не считает, что такие, как Руканов, «помогают строить пирамиды». «Ему наплевать, что строить, кому служить, как веровать. Это даже не Одинцов». Долотов не заметил, что впервые делает сравнение в пользу своего армейского приятеля.

## 17

– Тихо! – заорал Карауш, врываясь в комнату отдыха с кипой свежих газет. – Читайте и не говорите, что вы не слышали!

Он рассовал по рукам еженедельник «Транспортная авиация».

– Чего читать-то, баламут? – спросил Козлевич, не очень любивший это занятие.

– Страница шестая, статья обозревателя товарища Одинцова под названием «Мужество и рассуждения по поводу», – вещал Костя голосом зазывалы. – Обратите внимание, там два раза упомянуто имя известного бортрадиста К. А. Карауша.

Все дружно зашелестели газетами.

– Игорь Николаевич, – Костя подошел к Боровскому. – Может, поинтересуетесь? Тут про меня написано.

– Я про тебя и так все знаю, артист.

Боровский взял газету и присел в кресле у окна, ближе к свету.

После некоторого молчания послышались первые отзывы:

– Отоварили!

– Сам напросился.

– Кто этот Одинцов?

– Был у меня, – отозвался штурман Саетгиреев. – Толковый мужик. Борис Михайлович, он вроде твой друг?

Служили вместе, – откликнулся Долотов и сделал вид, что углубился в газету, отстраняясь таким образом от дальнейших расспросов, которые могли бы выявить его причастность к появлению статьи.

Но Извольский сразу же понял все и был очень обрадован случаю показать, что Долотов, которого все считают человеком не доброжелательным, что этот Долотов совсем не такой, и что он, Извольский, лучше всех знает это. И радость от возможности доказать справедливость этой мысли так бурно вскипела в Витюльке, что он не мог удержаться, чтобы тут же не возвестить:

– А, звонок! Теперь понятно, зачем ты у меня газету взял! Братцы, это Борис Михайлович руку приложил!

В комнате на минуту стихло, и Долотов, почувствовав на себе взгляды друзей, нахмурился, готовый воспротивиться каким бы то ни было хвалебным замечаниям.

– Бог шельму метит, – пробасил Боровский, аккуратно складывая газету и засовывая ее в карман пиджака. – Булатбек, пошли одеваться, потом дочитаешь. И ты, артист, собирайся, – добавил он.

– Надолго? – спросил Карауш.

– Нет... часов на шесть.

– Хороша уха! А если я не жрамши? Натощак одни грачи летают. Бортпаек где?

– На борту, где ему быть... Ладно, идем, дел на полчаса.

– Ну и шутки у вас! Того и гляди зайкой станешь.

Вслед за экипажем Боровского ушел в раздевалку и Витюлька, с которым Долотов собирался вылететь на С-224 – спарке. В комнате остались лишь двое молодых ребят, ничего не понявших в статье, кроме того, что какому-то Фалалееву «дали по соплям». Они увлеченно гоняли шары, забыв о Долотове, все еще сидевшем с газетой в руках.

С первых же строчек статьи было ясно, что Одинцов умеет работать. Он приводил выписки из наставлений о ночных полетах, из действующих инструкций, предписывающих

методы обхода грозовых скоплений. В статье уточнялась зона грозового фронта, который оказался на пути С-44, расположение запасных аэродромов и расстояние до них, указывалось, какое участие принимали в решении обходить грозу верхом штурман и второй летчик, «о котором экипаж вспоминает, как о великолепном товарище и высококлассном летчике». Затем приводились слова бортинженера Тасманова, лучше других знающего автора статьи «Наперекор стихиям» и считающего, что «Л. Фалалеев не принадлежит к числу тех, кто имеет моральное право давать оценки командиру С-44».

На фоне объективных констатации и высказываний членов экипажа субъективные мнения Фалалеева, извлеченные из его статьи и повторенные в статье Одинцова, производили должное впечатление. В заключение Одинцов сравнивал статью Фалалеева с «анонимными письмами, в которых есть все, чтобы читатель мог догадаться о причине, побудившей уважаемого автора трудиться над ними, и нет ничего, что оправдывало бы их появление в печати».

Прочитав статью, занимавшую треть полосы, Долотов вышел в коридор и позвонил Одинцову.

– А, это ты! – отозвался Одинцов.

– Не ждал?

– Да нет, ждал.

– Спасибо за статью.

– Не на чем... Ваш Фалалеев с утра бегаёт по редакции.

– Кого ищет?

– Кому бы вручить кассацию.

– Жалуются?

– Да.

– На что?

– На самоуправство. Обзывает меня невеждой, а Боровского пьяницей.

– И что твое начальство?

– Предлагает испросить и напечатать мнение Соколова.

– Соглашается?

– Кто?

– Фалалеев?

– Ты его за дурака считаешь? Говорит, «у нас с Соколовым были разногласия». Как у Швейка с господом богом.

– Переживешь?

– Таков мой хлеб.

– Зато ребята довольны.

– Услуга за услугу.

– Чего тебе?

– У вас на фирме проводят испытания лайнера на большие углы?

– Ну.

– Тема. Пятьсот строк. На носу День авиации. Кто летает?

– Чернорай. Знаешь?

– Узнавать людей – моя профессия.

– Сейчас ему не до тебя.

– Ничего, договоримся. И последнее, – Одинцов помолчал, как передохнул. – Ты хорошо знал Лютрова?

– Ну?

– Я разговаривал с ребятами из экипажа Боровского. Все они не столько говорили о «корифее», сколько о Лютрове. У меня с ума нейдет этот парень... Кстати, ты ведь на меня окрылся и из-за него тоже... Так вот мне бы хотелось лучше разузнать о нем.

– Пятьсот строк?

– Это для души. Побольше.

– Подожди до осени, я улетаю в командировку.

– Да! Из Москвы звонила некая Ирина Белова, говорила о тебе!

– Как говорила?

- Между прочим, разумеется, однако содержательно. «Ваш друг производит впечатление настоящего мужчины». Конец цитаты. Надеюсь, настоящий мужчина не хлопал ушами?
- Настоящие мужчины следуют совету древних.
- Какому совету древних следуют настоящие мужчины?
- Хранить в тайне щель в доме, любовную связь, почет и бесчестие.
- Ого! У тебя ложная репутация!
- Все лгут репутации.

Положив трубку телефона, Одинцов почувствовал потребность побыть одному. Он вышел в небольшой холл в конце коридора и встал у окна, косо зарешеченного лучеобразно расходящимися железными прутьями. Отсюда были видны ворота таксомоторного парка, навес для мойки машин, возле которого работала женщина со шлангом, в жестко топорщившемся непромокаемом костюме и больших резиновых перчатках. Мойщиц всегда торопили, и они так ловко наострились ополаскивать машины, что шоферы и не выбирались из них, въезжая на эстакаду, и даже не глушили моторы, в ожидании, пока дело будет сделано и мойщица махнет рукой – проваливай, мол.

В стороне от мойки, ближе к воротам, стояла еще одна женщина – полная, «фигуристая», как называли женщин такого сложения приятельницы Одинцова. С ней точил лясы высокий шофер с рыжими бакенбардами. Женщина то смеялась, запрокидывая голову, то опускала ее и как бы в кокетливом раздумье скашивала каблук босоножек. Справа от этой пары, в начальственной отстраненности, подальше от всех остальных машин, стояла «Волга» директора таксопарка. Машина была вымыта, сияла яркой голубизной снаружи и приглушенной краснотой внутри: на оба дивана была наброшена ковровая дорожка.

Все это почти бессознательно отмечал Одинцов, не умея освободиться от странного наваждения – раздумий о самом себе, что давно уже считалось им занятием бесплодным, нечего не обещающим, кроме скверного настроения.

«Довлеет дневи злоба его, – думал Одинцов, разглядывая стоявшую за окном женщину. – Все мы помаленьку гложем в повседневной очевидности, в сыплющемся потоке дней, и злоба их в нас, вокруг и над нами... Сиречь – повсеместно».

Стоявшая во дворе женщина в босоножках все сильнее, все настойчивее заставляла рассматривать себя, словно в ней была разгадка.

«Да, да, довлеет дневи злоба его!.. Только для каждого – своя «злоба»; стиль существования определяет круг наших интересов, мыслей, знакомых...»

Возвращаясь из редакции домой после визита Долотова, Одинцов чувствовал себя очень скверно. И не только потому, что выслушал нелестные слова от человека, чьим расположением втайне дорожил (и старался держаться подальше от Валерии, к которой Долотов, судя по всему, был неравнодушен). Это их свидание развеяло стойко державшееся весь день радостное предчувствие вечерней работы над либретто балета, которым он от случая к случаю занимался вот уже несколько лет, – из прихоти, без содружества с каким-либо композитором. Произведение было задумано, как небольшая пьеса. Первый акт дался легко, но второй, начинавшийся сценой встречи мудрой, очаровательной царицы Нефертити и юной, страстной Кийа, сановной любовницы Эхнатона, – эта сцена никак не хотела продвигаться. Одинцов не мог найти интонации диалога: Наконец ему показалось, что он почувствовал «музыку», беседы этак двух женщин: диалог умней, знающей жизнь Нефертити и Кийа, уверенной во всеилии своей молодости и красоты. Одинцов остался доволен первыми набросками и собирался продолжить работу.

И этот вечер был испорчен Долотовым.

«Что ему, наконец, эта статья, которую не помнит ни одна живая душа?» – думал Одинцов, добираясь домой.

А добравшись, сразу же, не раздеваясь, сел за письменный стол, торопясь проверить, живо ли в нем недавнее творческое настроение.

Он включил лампу, вытащил папку, обтянутую песочно-серой холстиной, некоторое время глядел на титульный лист рукописи, где значилось название будущего либретто: «Нефертити», – медленно перелистал несколько страниц, отыскал последний набросок и принялся работать.

Но чувство найденной тональности исчезло, египетские рельефы с их бестелесными фигурками уже не волновали его.

«Впредь наука! – думал он. – В другой раз будешь помнить, что отказывать тоже нужно умеючи...», «Вот и успокойся, – увещевал он себя, расхаживая взад и вперед по комнате. – Пусть сами разбираются. Что тебе до них? Что тебе до того, что какой-то Фалалеев сводит счеты с Боровским и что это не нравится Долотову? Ты давно уже не из их команды».

Шло время, а его либретто ни на строчку не продвинулось с тех пор, как эта порядком затертая газета со статьей Фалалеева лежала у него в служебном столе. Наконец он понял: покоя не будет, пока он не решит, что делать со статьей Фалалеева. Одинцов трижды прочитал ее, с каждым разом все больше убеждаясь, что Долотов прав, статья написана ради пакостного желания, изгадить репутацию Боровского если не в глазах широкой публики, то в авиационном мире, и сделать это так, чтобы Боровский не смог ответить: печатно защищать анонима, то есть самого себя – это значит предоставить Фалалееву право трепать имя Боровского в открытую, чем тот не преминет воспользоваться.

Одинцов начал работу скрепя сердце, но затем увлекся. («Члены экипажа Боровского говорили о своем командире и о втором летчике С-44, Лютрове, с такими просветленными лицами, что Одинцов не удивился бы, если бы Долотов, которого он хорошо знал по училищу, поколотил его за нежелание ответить Фалалееву»).

И вспомнились Одинцову юность, училище, годы службы, генерал Духов. Оказывается, все это не прошло бесследно и живо в нем. С этим чувством приобщения к прошлому он и принялся за статью и писал ее как будто не из намерения защитить Боровского, а чтобы уберечь от посрамления свою собственную юность, которая роднила его и с Боровским, и с Долотовым, и с неведомым ему Лютровым.

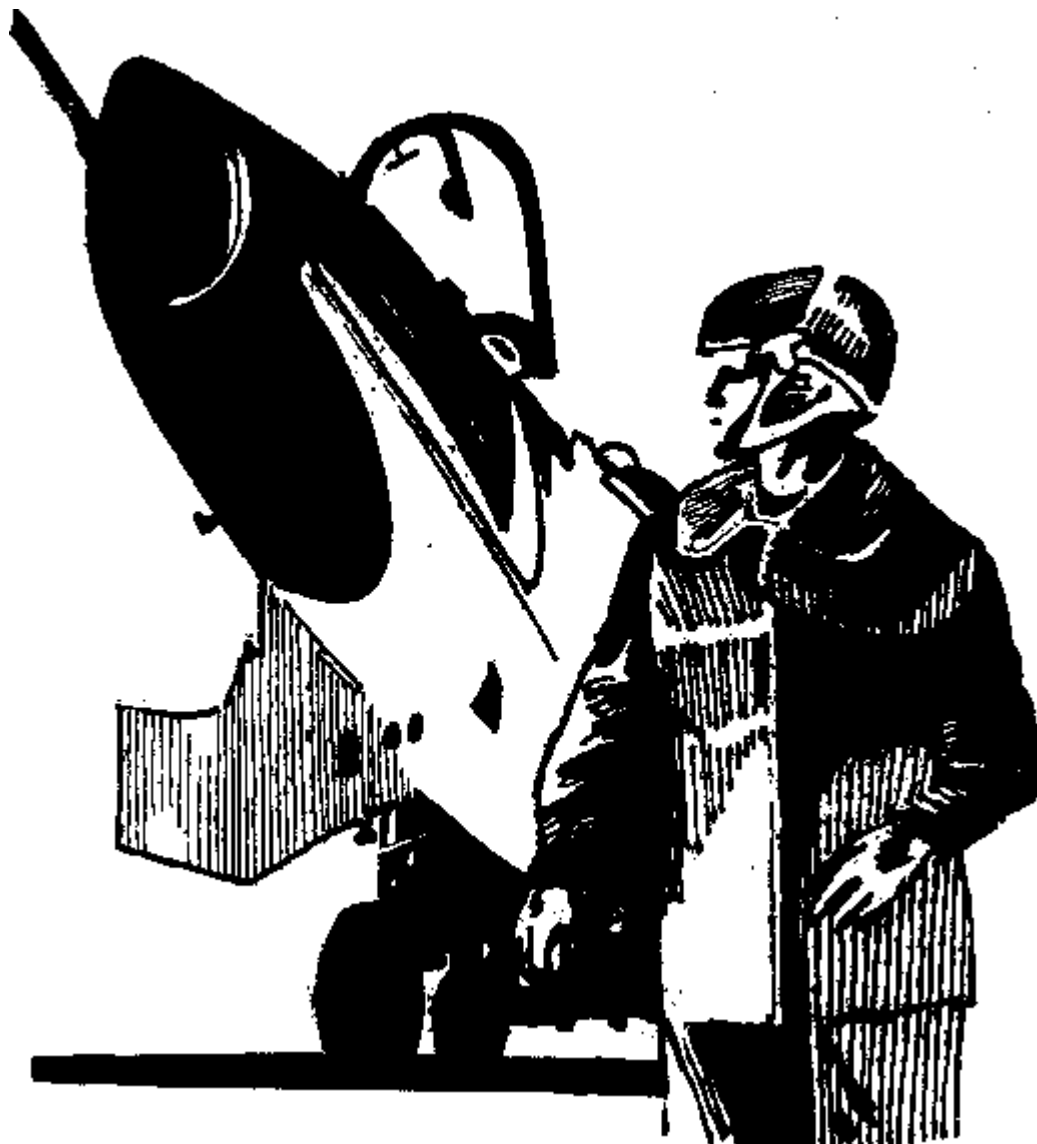
Теперь Одинцов был доволен, что у него хватило пороку и написать статью, и убедить редактора напечатать ее. Дело сделано, и теперь... Уж не собирается ли он жить по-другому?... Одинцов хорошо знал себя и был достаточно умен, чтобы не обещать себе этого.

Вернувшись в свою комнату, он достал из стола книгу о Древнем Египте и принялся читать. Сегодня он был «свежей головой» в редакции, и до выпуска сигнального экземпляра газеты у него оставалось много свободного времени. Но ему не читалось, что-то мешало сосредоточиться. Он лениво листал страницы, равнодушно глядя на них, наконец отбросил книгу и решил позвонить в «Салон красоты» юной парикмахерше, которая должна была вернуться или уже вернулась из отпуска. Ей можно было звонить без риска быть узнанным или хотя бы отличным по голосу от мужа – телефон стоял в закутке за ширмой, где располагалась со своим инвентарем полуглухая старуха уборщица. В ожидании ответа Одинцов не без волнения вспоминал юную мастерицу, ее пышно взбитую прическу, ее зеленые с поволокой глаза, ее высокую и какую-то ломкую фигуру, затянутую в халат цвета голубой ели, ее медлительную походку, большой бледно-розовый рот, ее голос, срывающийся на грубоватый мальчишеский альт, ее мечтательность и порочность... «Славная!» – с нежностью думал он, вспоминая ленивые движения ее ног, их какое-то равнодушное великолепие, как если бы они существовали сами по себе, жили своей жизнью – откровенной, чувственной. Она густо краснела всякий раз, когда видела его – от страха быть уличенной подругами, оттого, что постоянно думала о нем. Она краснела еще сильнее, когда он приглашал ее провести вечер вместе, краснела от ненависти к мужу, которому с некоторых пор невозможно было убедительно налгать о причине позднего возвращения домой.

«Славная!..» – думал Одинцов, нимало не задумываясь, какие семена посеял он в семье парикмахерши, где с его помощью разрушалось все то, что некогда свело вместе двух молодых людей, где не было больше покоя ни днем, ни ночью, где не смолкала бесстыдная ругань, где накапливалась, готовая взорваться, дикая смесь ненависти, лжи, отчаяния.

– Кого надоть?.. Наталью? Нетути!.. Она седни до двох!.. До двох, говорю!.. Взавтрева?.. Взавтрева с двох до восьми!...

– Положив трубку, Одинцов полистал записную книжку и позвонил в ателье, где работала Томка.



## 18

– Ежели вникнуть, тетя Глаша, я человек нежного воспитания. В этом все дело. – Костя ударил кием по шару, не попал в лузу и почесал в затылке. – Потому и холостой.

– Дураки, они все одного воспитания, – небрежно отозвалась Глафира Пантелеева, занимавшаяся уборкой в комнате отдыха. – Был бы самостоятельный, не бегал бы задрамши хвост.

– А ты спроси, почему? Может, я травмированный вашей сестрой!

– По голове, видать?

– Глубже. Поневоле приходится жить... напряженной холостой жизнью. Может, я и женился бы, не случись со мной метаморфозы в молодых годах, когда был, понимаешь, очумевши от радости... как тот червяк. Слыхала?

– Господи, червяк какой-то...

– Известный случай! Высунулся этот беспозвоночный из земли, а кругом весна, солнышко, благодать! Увидел рядом другого червяка и сразу влюбился. «Друг! – орет ему. – Иди, обнимемся!» А тот отвечает: «Совсем очумел, что ли? Я же твой хвост!»

– Ну срамник!.. – сдавленно смеялась Глафира Пантелеевна, прижимая щепотку ко рту.

Был день рождения Извольского. Но заведенному обычаю виновник торжества снимал отдельный кабинет в ресторане «Ермак». Круг лиц, вовлеченных в традицию, не менялся из года в год, разве что сокращался: Гай-Самари, Карауш, Козлевич. Извольский, а еще раньше – Санин и Лютров. Но первопричина была лишь формальным поводом для «застольного бдения». В такие дни легко выяснялись всяческие «отношения», во всеуслышание высказывались

откровенные мнения друг о друге и обо всем на свете. И никто не обижался, потому что все вставало на свое место. Не случайно, с разрешения постоянных членов застолья, Гай пригласил сегодня Долотова и Чернорая.

После памятного собрания Гай думал, что размолвка между ними уладится сама собой. Ан нет! И потому он решил положить ей конец сегодня вечером. Предстоявшее «радение» было удобным случаем, чтобы общими усилиями покончить с тем, что, как видно, этим двум не под силу. Другого такого случая может и не представиться.

Теперь в ресторане суетился Извольский. К шести часам все должны съехаться, но сам Витюлька, увы, обязан был вернуться на аэродром: в пять утра следующего дня начиналась генеральная репетиция парадного пролета.

Летные апартаменты опустели, рабочий день кончался.

Костя Карауш, Гай-Самари и Козлевич задержались только потому, что ждали Долотова и Чернорая. Они вот-вот должны были приземлиться на С-224-спарке: Долотов инспектировал Чернорая (вслед за Извольским), осваивавшего навыки управления новой для него машиной.

Полет планировался на первую половину дня, но то самолет не был готов, то какая-то бродячая гроза налетела – выпустили только в четвертом часу.

Прибравшись в комнате отдыха, Глафира Пантелеевна отправилась в летную раздевалку. Карауш сам с собой играл на бильярде, а Гай с Козлевичем стояли у распахнутого окна, глядели на опустевшее летное поле, на густеющую облачность и говорили о море, о санаториях, о приятностях курортного времяпрепровождения, хотя за последние пятнадцать лет Козлевич оставлял семью лишь на время медицинских освидетельствований, а отпуска брал в те периоды, когда ему могли начислить наивысший средний заработок. Тем не менее он мечтательно распространялся о деревенской тишине, парном молоке и запахе сена, завидовал Гаю, который собирался в отпуск. Гай закончил сложную серию полетов на «малыше», связанных с получением экспериментальных данных, необходимых конструкторам.

Слушая Козлевича, Гай-Самари неприметно косил на штурмана коричневые глаза и улыбочиво шурил их: он знал, что мечтательные рассуждения Козлевича были связаны не с воспоминаниями об отдыхе в деревне и даже не с предвкушением его, а с совсем другими событиями в жизни штурмана.

В начале пятидесятых годов они возвращались с востока страны на С-07 – первой послевоенной пассажирской поршневого двигателя Соколова, так и не попавшей в серию. Это был один из полетов на дальность для уяснения экономических показателей самолета – расходов топлива на оптимальных режимах полета. На самолете была установлена американская система автоматического контроля работой двигателей, да и приборы стояли американские.

Показания давались в футах, дюймах, температура по Фаренгейту. Они с Козлевичем постоянно путались в этих показаниях и для облегчения ставили метки карандашом на шкалах или просто писали «нормально», «ненормально». Все было «нормально», пока на высоте семь тысяч метров не вышел из строя крайний правый мотор. Козлевич предложил изменить курс, чтобы в случае надобности воспользоваться расположенный неподалеку аэродромом, о котором Козлевич помнил со времен войны, хотя ему не было известно, действует ли он теперь. Предусмотрительность штурмана оказалась не лишней: на подходе к аэродрому двигатели вдруг по-сумасшедшему взвыли и остановились. Гай двигал секторы газа, но моторы не отзывались, лопасти винтов вращались лишь от встречного потока, а на капотах можно было разглядеть следы пробоин от развалившихся цилиндров. Как потом выяснилось, аппаратура управления турбокомпрессорами сработала таким образом, что двигателя «пошли вразнос» от «передува» – моторы вышли на нерассчитанные обороты и стали разваливаться. То же самое случалось, как рассказывали, и на американских бомбардировщиках, пропадавших без вести во время перелетов через океан; так уж срабатывала эта автоматика.

Из-за потери тяги и недостаточной высоты дотянуть до аэродрома не удавалось, решили садиться на поле. Подобрали место поровнее и на подходе к нему старались выдерживать высоту с запасом. Но когда стали подходить к облюбованной площадке, поняли, что, выдерживая запас высоты, перестарались, ровное место проскакивали, «мазали» метров триста... Навалились брюхом на какой-то кустарник, за ним вдруг оказалась высоковольтная линия, и, когда самолет встал, вершина кия чуть-чуть не доставала до проводов.

Жить пришлось в ближайшей деревне за лесом, у каменной говорливой речки, где даже летом вода была колюче-холодной. Большую часть экипажа поселили в пустующей школе, а Гая с Козлевицем взял к себе в хату одинокий старик, целыми днями пропадавший то на рыбалке, то на охоте.

За день до прилета аварийной бригады в соседней со стариковом доме гуляли свадьбу. Хорошо гуляли.

Позвали и Гая с Козлевицем. Помнится, было немного стеснительно поначалу, неловко, но выпили, закусили, поздравили молодых, покричали «горько» и почувствовали себя совсем своими, словно жизнь прожили в этой деревушке.

Аkkордеонист – молодой паренек в белой рубашке – был настоящим музыкантом: водки в рот не брал и, если предлагали, опускал голову и отрицательно качал ею, глядя на клавиши. Зато играл беспрерывно, и как играл!

Жениху, плечистому здоровому парню, не сиделось на месте, и это заметно смущало молоденькую белолицую невесту, девушку крохотную, на голову ниже суженого и собой неприметную. А тому очень уж хотелось повеселиться, жениховский истуканий «чин» связывал по рукам и ногам его гульливую, видать, натуру. Он то и дело порывался встать, запеть, тянулся к бутылке, но сидевший слева от него плешивый сутулый дед хватал его за пиджак и осаживал:

– Сиди, шельмец!..

Но вот гостей потянуло в пляс, и все смешалось. Часа два трясли дом. А когда угомонились вроде, аккордеонист вдруг заиграл «Цыганочку». Люди потеснились – высвободили круг девушке в черном платье, которую Гай или до того не видел, ила ее вообще в доме не было.

Козлевич, глядя на нее, даже погрустнел – оттого, как вначале решил Гай, что лицо девушки было непоправимо испорчено рваным шрамом в уголке рта, делавшим выражение лица каким-то необычным. Но Козлевич, кажется, и не заметил этого.

– Ты только погляди, Гай! – говорил он нараспев и потому ничуть не заикаясь. – Бог не часто создает таких женщин!..

Он был прав. Бог создавал эту девушку в свободное от будничной работы время, не иначе. Какая-то по-дельфиньи гладкая в своем черном платье, гибкая, сильная, высокая, с медово загорелыми ногами девушка была изваяна так, что в голову невольно приходило: «Чего еще желать смертному?..»

– Маришка! – Сосед по столу восторженно толкнул Гая в бок. – Доярка. Корова ее рогом суродовала. Бодливая была, сволочь!..

«Цыганочка» игралась для Марины, и, пока она шла, выступая, откинувшись и прогнув спину, танца вроде и не было, ей до него еще дойти нужно было, добраться, грудью раздвинуть взгляды – завистливые и восторженные, наивно-радостные – и с прищуром, с косинкой.

Прошлась по кругу на своих сильных ногах – и стоп!

Тишина секунду... И – вкрадчиво-тихо, а там все громче, все учащаясь, пошла музыка, принялись дробить, частить рядышком черные туфельки! Касаясь клавишей очень коротко, аккордеонист рывками разводил и сжимал мехи, и оттого казалось, что движения плясуньи в коротких паузах, стук ее черных туфель – тоже музыка!..

Эх, «Цыганочка»! Нет шальнее пляски! В самом слове-то ласковом и очарование, и нежность, а вольность, и страсть! «Цыганочку» вроде и не плясать идут, а бросаются на зов красавицы – пьянит, дурманит, завораживает вольный напев!

Кто-то сунулся было в пару к Марине, но – урезонили, убрался добровольно-принудительно. И то: не лезь не в масть, не порть удовольствие!

За те полмесяца, покамест С-07 поднимали огромными надувными подушками, устанавливали на колеса, а затем расчищали путь и двумя тракторами буксировали до аэродрома, Козлевич успел сделать Марине предложение и получить ее согласие – к немалому удивлению всей деревни, сестер Марины и Гая-Самари.

Теперь, через пятнадцать лет, она была уже матерью шестерых детей, и с каждым новым прибавлением в семействе Козлевич все сильнее любил свою Марину. Ему и в голову не приходило, что он может куда-то уехать отдохнуть, то есть, по его разумению, вдруг остаться на

какое-то время без Марины...

– Как твои наследники, здоровы? – спросил Гай, поглядывая в ту сторону аэродрома, откуда должна была появиться спарка.

– Растут. Штанов не напасешься...

Он не договорил – в комнату вбежал диспетчер.

– Донат Кузьмич! Со спаркой нелады! Давай на КДП!

– Что говорят?

– С двигателем чего-то!

– Тянут на аэродром?

– Да.

– Врача вызвал?

– Побежала!..

– Разворот вправо и на обратный курс! – напомнили с земли

– Понял. Разворот вправо и на обратный курс.

Это был конец зоны, и на контрольном пункте опасались, что они могут выскочить на трассу Аэрофлота.

Но Чернорай уже делал боевой разворот и, когда спарка легла курсом на аэродром, Долотов взял управление.

– На сегодня все.

Все так все. Чернорай откинулся на сиденье. Можно было отдохнуть до посадки, которую по заданию надлежало сделать ему. Но вскоре звук двигателя изменился, стал расслабленно пульсирующим, и Чернорай невольно посмотрел на приборы. Стрелка одного из них стояла на критической отметке.

– Температура? – спросил он.

– Да.

Чернорай вспомнил Юру Владимирова, на самолете которого прогорела жаровая труба и огонь покоробил привода рулей.

– Как управление? – спросил Чернорай.

– В порядке.

Чернорай хотел напомнить Долотову о случае с Владимировым, но промолчал: задача второго – не мешать первому.

Долотов прибрал обороты почти до минимальных, затем выключил двигатель и доложил на аэродром о неисправности. В самолете стало тихо, как в планере. Спарка неслась к земле со скоростью почти тридцать метров в секунду.

– Сто девятый, ваша высота? – слышалось с земли.

– Высота четыре тысячи пятьсот, – ответил Долотов.

– Ваше решение?

– Готовьте полосу.

– Вас понял, полоса обеспечена!

– И проследите за мной. Дайте пеленг и удаление. Как погода над полосой?

– Ваше удаление двадцать километров. Облачность восемь баллов. Нижняя кромка пятьсот метров, верхняя тысячу семьсот. Выходите на привод!.. Ваша высота?

– Высота четыре тысячи.

После небольшой паузы снова заговорил руководитель полетов:

– Сто девятый, предупреждаю: согласно инструкции вы должны катапультироваться. Как поняли?

– Вас понял.

– С ходу можете не выйти к полосе! Повторяю: плотная облачность!

Некоторое время Долотов молчал, затем обратился к Чернорай:

– Я могу промазать... Слышишь?

– Ну?

– В крайнем случае один я успею выскочить. Вдвоем нет.

– Успеем оба.

– Нет. Ты покинешь самолет перед входом в облака. – И, не дождавшись ответа, сказал: –



Приготовься. Как понял?

– Понял. Ты на подходе попробуй запустить двигатель – Тогда, может быть, удастся повернуть на полосу.

– Да. Ты когда-нибудь пользовался этой адской машиной?

– Бог миловал.

– Если не сработает автоматика, фонарь сбрасывай вручную.

– Да. Скорость снижения вроде нормальная?

Долотов не ответил – заговорила земля.

– Я – первый! Сто девятый, как на борту? – Долотов узнал голос Гая-Самари.

– Я сто девятый. Засеките место, сейчас катапультируется второй!

– Вас понял!.. – Земля замолчала.

– Приготовился?

– Да. – Чернорай поглядел на высотомер: стрелка миновала отметку 2000.

– Пошел!

– Понял. – Он мысленно повторил все необходимые операции и с удовлетворением убедился, что хорошо помнит все, чему его учили «спасенцы». Помнит, что он должен делать сам и что сработает автоматически; помнит, как освободиться от кресла в падении; как подключается к маске парашютный кислородный баллончик, который, впрочем, на этой высоте не понадобится... Вспомнил даже, что в чаше сиденья, где раньше помещался запасной парашют, теперь упаковано все необходимое, чтобы подкрепиться, в случае, если придется долго добираться к людям.

– Ну! – напутственно сказал он себе и, опустив на лицо светофильтр защитного шлема, потянул кверху снятые с предохранителя красно-белые ручки катапульты.

С резкий хлопком оторвалась и улетела остекленная крышка кабины, ремни плотно прижали его к сиденью и спинке кресла, ручка сама собой отодвинулась вперед, Убрались до упора педали управления.

Сжавшись в предощущении толчка, Чернорай решительно надавил на полосатые рукоятки.

Удар!..

Его резко подтолкнуло вверх. Перед глазами метнулось облако дыма... В голову тупо ударило встречным потоком...

Чернорай не сразу понял, что остался на борту: катапульта вытолкнула его всего лишь до пояса.

Наклонив голову, он взглянул вниз, под ноги.

В кабине метался дым, а когда он рассеялся, можно было разглядеть у педалей маслянистую лужу топлива.

«Что это? Заело что-то? Нет, что-то разорвалось... Видимо, цилиндр стреляющего устройства. Да. и осколки проббили бак...»

Чернорай прижал голову к подзатыльнику.

У него не было связи с Долотовым, не мог он и покинуть самолет, даже если бы попытался выбраться собственными силами: расположенный в спинке кресла парашют мог быть поврежден взрывом. Беспомощней положения не придумаешь. Ко всему прочему, Чернорай сам посоветовал Долотову запустить двигатель на подходе к полосе, и он непременно попытается сделать это. И тогда...

«Достаточно искры от электрического провода – и самолет загорится. А затем... Затем Долотову ничего не останется, как покинуть спарку».

Время от времени он поглядывал на фонарь передней кабины и с обидой, неприязнью вспоминал разговоры о везении Долотова: у него был выход. «Зачем гробиться двоим, если одному можно выбраться?»

– Я первый! – услышал Долотов. – Как на борту? От самолета что-то отделилось!

– Вас понял. Не сработала катапульта второго. Второй в кабине. Пробит бак, под ногами топливо.

– Вас понял!

– Ваше решение?

– Буду сажать, как выйдет. Возможно – на грунт. Как поняли?

– Я первый, вас понял! Действуйте по своему усмотрению! Желаю удачи! Желаю удачи!..

Спарка неслась вниз.

...Девушка-врач стояла у белой «Волги» за кромкой посадочной полосы и смотрела в ту сторону, откуда ждали появления самолета. За несколько лет работы на летной базе ей не однажды приходилось видеть последствия аварий, катастроф, но ждать вот так, стоя на полосе, чтобы оказаться возможной свидетельницей несчастья, ей еще не приходилось. Волнуясь, она то и дело поворачивалась к пожилому шоферу «скорой помощи»:

– Не видно?

В той стороне, откуда должен был появиться самолет, сквозь облачность проглядывало небо, и врач до боли в глазах всматривалась в небесную синеву, в которой не за что было зацепиться взглядом.

Время от времени девушка опускала глаза к земле, давала им отдохнуть и снова запрокидывала голову.

– Э-эвон! Летит!.. – сказал шофер.

На фоне далекого облачка мелькнула несущаяся к земле темная точка. Нет, врачу совсем не показалось, что самолет летит, она была уверена, что он падает. Воображение отказывалось принимать это падение за посадку. И в ожидании страшного удара она закрыла глаза руками и не видела, как у самой земли падающая точка описала кривую, пронеслась немного над полосой, а затем плотно прижалась к ней.

– Черт, надо же! – восхищенно сказал шофер.

Спарка почти неслышно – без работающего мотора – катила по бетону. Врачу на секунду показалось, что летчики спешат покинуть самолет, она хорошо разглядела одного из них, который уже выбирался из кабины.

– Скорей! – крикнула она, садясь в «Волгу», радостно возбужденная тем, что самого страшного не случилось.

...Чернорай выбрался первым, снял шлем и, чувствуя неприятный озноб во всем теле, принялся растирать ладонями покрасневшее лицо. Наконец спрыгнул на землю и Долотов.

– В порядке? – спросил он, расстегивая ремешки защитного шлема.

– Вроде да...

Несколько мгновений они молча изучали друг друга. Чернорай опустил голову и принялся возиться с ремешками защитного шлема. Когда Долотов, давая выход настроению, по-медвежьи хлопнул Чернорая по широкой синие, тот даже не поднял головы.

...В раздевалку ввалились гурьбой – Гай-Самари, Долотов, Козлевич, Чернорай, Карауш. Но, едва ступив на порог, тут же шархнулись обратно.

– Куды вас несет! – крикнула Глафира Пантелеевна, Держа швабру наперевес. – Не видите, полы мою? Шлендрают, прости господи, опосля рабочего дня! Туды-сюды, туды-сюды, никакого покою!..

– Мы постоим, не беспокойтесь, – заикнулся было Гай.

– Нечего над душой стоять, уматывайте в коладор!.. Все попятились. Ни у кого не хватило духа ступить на мокрый пол раздевалки.

Гай замечал, что Долотов нет-нет и перекинется словом с Чернораем. И хотя, встречаясь взглядами, они тут же отводят глаза, точно обжигаясь, это не могло обмануть Гая-Самари. Он понял, что передряга в воздухе все за него решила. «Вот уж верно: не знаешь, где найдешь, где потеряешь!» – с облегчением думал Гай.

– Спасибо, Иван Фомич, все в порядке! – сказал Извольский пожилому официанту, заглянувшему к летчикам сразу же, как только они уселись за стол.

Официант по опыту знал, что как раз теперь может обнаружиться какой-нибудь недочет в сервировке. Ему очень хотелось, чтобы все было как следует. Он не впервые «делал стол» для летчиков и занимался этим серьезно и с удовольствием.

С важностью кивнув Извольскому, Иван Фомич вышел, неслышно прикрыл дверь кабины и поправил табличку: «Занято».

Одолеваемый беспокойством распорядителя, Витюлька оглядывал друзей, поворачивался на каждое слово за столом, готовый по первому сигналу исправить оплошность. Но все было

как надо. Полная «амуниция» была не только перед каждым из сидевших, но и перед двумя пустыми стульями – Санина и Лютрова.

– Позвонки, все нормально? Можно двигать? А то на службу опаздываю...

– Все, дорогой, будь здоров!

– Прими наши соболезнования!..

– Служи, раб божий!..

– Мавр сделал свое дело.

– Не завидуй, мы тут не мед пьем.

Насмешливые реплики сыпались на Витюлька, как из мешка, но он уже никого не слушал.

– Привет! – крикнул он и побежал к выходу из ресторана.

За оставшееся до темноты время ему нужно было добраться до аэродрома.

В городе смеркалось. У входных дверей, под светом больших окон ресторана, толпилась публика; как всегда в предвыходные дни мест не было. Пробираясь сквозь толпу надушенных нарядных людей, Витюлька нос к носу столкнулся с Томкой...

И не вдруг узнал ее. Он впервые видел ее в этом черном платье «в облик», с воротником под подбородок, с глубоким узким разрезом – щелью на груди. Броско причесанная, бледная – то ли от света, то ли от пудры – она поразила его странной непохожестью на ту простецкую Томку, которую он знал. И может быть, поэтому Извольский сразу подумал, что где-то рядом – ее спутник. Невнятно пробормотав что-то, что должно было означать приветствие, Витюлька метнулся было в сторону остановки такси, но Томка окликнула его:

– Вить, погоди!.. Своих не узнаешь?

– Нет, отчего же...

Все это он проговорил небрежно, тоном постороннего, опасаясь, что встреча с ним поставит Томку в неудобное положение перед тем человеком, с которым она пришла.

Из толпы вышла старшая сестра – полная, маленькая, круглолицая. Взяла Томку под руку, прижалась к ней, давая понять, что они вдвоем, а она не позволит ему увести Томку.

– Что, девки, «гудите»? – подмигнул Витюлька, стараясь казаться таким разбитным малым. Томка молча смотрела на него.

– А ты куда? – спросила ее сестра.

– Дела!.. – развел он руками.

– Знаем, какие дела! – игриво отозвалась та опять же с умыслом дать понять, что они не собираются его задерживать.

Подкатило такси. Извольский наскоро попрощался и двинулся к остановке. У машины его догнала Томка.

– И я с тобой. Можно?

– Нет.

Витюлька хлопнул дверцей, и такси тронулось.

– Томка, ты чего? – донесся голос сестры.

Томка не ответила.

Способность к большому чувству может быть таким же предметом зависти, как и все другие человеческие достоинства, красота, удачливость.

Томка увидела их случайно. Витюлька укладывал на заднее сиденье «Волги» ворох каких-то свертков, Валерия стояла у него за спиной и что-то говорила, положив руки ему на плечо.

«Что это они?» – удивилась Томка и бегом направилась к машине.

– Привет!

– А, это ты? – без особого интереса отозвался Витюлька и пошагал к магазину «Одежда». Озабоченность маленького Извольского рассмешила Томку, она хохотнула, но тут же осеклась, увидев зардевшееся лицо Валерии

– Чего это вы? Вроде муж с женой... – Томка посмотрела на талию подруги. – Расписались, что ли?

– А ты не знала? – вызывающе отозвалась Валерия.

Они давно не встречались. Заглянув как-то к Валерии, Томка столкнулась с красивой, но

неразговорчивой и не доброжелательной женщиной – матерью Валерии, которая сказала, что дочери нет дома. Не успела Томка спросить, когда будет, как дверь захлопнулась.

– А я гляжу – вместе, – не понимая, шутит Валерия или говорит правду, продолжала Томка, – Будет темнить-то! В самом деле расписались?

– Давно.

Подошел Извольский. Бесцеремонно оттеснив Томку, он открыл Валерии дверцу на переднее сиденье, сел за руль, и машина покатила.

«Глядеть не хочет!.. Муж!..» – усмехнулась Томка, вспомнив пополневшую талию Валерии.

Весь день, сидя с товарками в пошивочном цехе, Томка, сама не понимая почему, видела себя молоденькой, в том времени, когда доучивалась в девятом классе и уже знала, что дальше учиться не будет, а пойдет на курсы, и потому вела себя вольнее подружек, чаще стала бывать на танцах, на гуляньях в парке, где были качели, кино и другие забавы. И те ребята, которые могли предложить ей эти удовольствия, казались неспроста щедрыми, то есть влюбленными в нее. Она была уверена, что любить вот так, ни за что, ни про что могут только ребята, это их мужская особенность.

Она выросла в семье, где не могли похвастаться недостатками. Отец выпивал, мать работала «техничкой» в школе. и потому справиться кому-нибудь из дочерей пальто или ботинки значило именно справиться, а не купить. И обновку страшно было испачкать или порвать. И чем дороже была вещь, тем дольше родители напоминали о ней, как о выражении любви к дочерям, и непременно хотели видеть, что они это, понимают и ценят. В этом и состоял единственный доступный Томке смысл понятия «любить», то есть быть благодарной за добро.

Обновок Томка не любила и никогда не тяготилась своим внешним видом, не очень раздумывала, что на ней надето. Ходила в сбитых на сторону ботинках, в протертых на локтях школьных платьях, не очень любила умываться, причесываться, стричь ногти, и никто не мог убедить ее, что опрятность лучше неряшливости, как невозможно убедить сорняк, что он растет не там, где надо. Не по годам рослая, она одинаково чувствовала себя на своем месте и среди ровесников, и в окружении взрослых, дома и на улице. Все, что двигалось, шумело, пестрело, было ее стихией. Она охотно шла и на праздничную демонстрацию, и за похоронной процессией, всматривалась во всех, идущих за гробом, невозмутимо наблюдала, как опускали покойника в могилу, как дули в свои трубы музыканты. Со стороны могло показаться, что в эти минуты она сопереживает чужому горю, но это было обманчивое впечатление: лицо ее как-то само собой повторяло выражение лиц окружающих. Происходила ли на ее глазах смертная драка, пожар, свадьба, резали ли свиней во дворе дома, ничто не воспринималось ею иначе, как зрелище, ничто не озадачивало души, не мешало прыгать через скакалочку, крепко спать и пребывать в неизменном душевном равновесии. Мать считала ее хорошей помощницей. Томка была послушна, делала все, что наказывали, ходила, куда посылали.

– Айда, доча, батю упреждать, – говорила мать в день отцовской получки. И они шли на окраину города, к воротам деревообделочной фабрики, где работал отец. Впереди мать – маленькая, рано постаревшая, со скупыми движениями несмелого человека, позади дочь, прыгающая через скакалочку то на одной, то на другой ноге.

Когда подходили к воротам фабрики, мать садилась на скамью возле проходной, а дочь или прыгала, или искала что-нибудь в мусоре за углом высокого забора, или тупо смотрела на собачью свадьбу, не замечая ни автомобильного шума на улице, ни пыли, ни истошного чириканья воробьев, ни запаха керосиновой лавки, что стояла неподалеку.

Ничто из происходящего вокруг дома, во дворе, на улице, ничто из того, что попадалось ей на глаза, не казалось Томке чем-то, чего ей по малолетству не годится видеть и слышать; ей и в голову не приходило, что где-то в других домах, в других семьях живут иначе; это в ней было постоянно – неумение ни вообразить, ни желать ничего другого, кроме того, что было привычно. Ей не становилось «ни жарко, ни холодно», когда подвыпившие приятели отца отпускали различные замечания о ней:

– Девка что надо! Без женихов не останется. Гарантия!..

С Трефиловым ее познакомила соседка, предпочитавшая «летунов» всем другим ухажорам. Забравшись впервые в жизни в «Волгу», Томка словно поглупела от машины и от

внимания к себе. Это было так здорово – разъезжать, поглядывая по сторонам, покачиваясь на мягких сиденьях, хлопая дверцей, усаживаясь в машину, и чувствовать на себе завистливые взгляды девчонок! Она страшилась сделать что-нибудь не так, показаться неинтересной, скучной, неподходящей Трефилову. Оказавшись в его квартире, в полутьме богато убранной комнаты, Томка «незнамо как» боялась показаться неумехой, «несоответствующей» рядом с его машиной, с его золотыми часами, золотыми же запонками на белоснежной рубашке, рядом с разбросанными тут и там дорогими безделушками, красочными журналами, сплошь заполненными фотографиями нагих красавиц.

Она как-то не замечала, что Трефилов был не очень хорош собой – головастый, ходил все больше в темных очках. Разве в этом дело? Зато одевался «как никто», то есть богато и по моде. И не жалел денег. Оглядев ее как-то утром, он сказал:

– Девочка, у тебя белье, как у буфетчицы из вегетарианской столовой. На-ка, сбегай в промтоварник, обрядись во что-нибудь скромное. – И протянул сторублевую купюру, каких Томка сроду не видела.

Казалось, этому не будет конца – новым платьям, модным туфлям, разъездам в машине, хождениям по ресторанам, но Трефилов вдруг исчез не простившись. Томку это не удивило.

Несмотря на убеждение, что не жалевший денег Трефилов имеет неоспоримое право на ее любовь, Томка уже тогда понимала, что она относится к нему лучше, чем он к ней. Она готова была ради него на все, что было в ее силах. Бросала занятия на курсах, не ночевала дома, ругалась с матерью, чтобы составить ему компанию на пикнике, на вечеринках в квартирах его друзей и приятельниц. И какими бы ни были эти сборища, что бы на них не происходило, Томка никогда не забывала, что она вдвоем со «своим парнем», что их связывают особые отношения. А что это было совсем не так, Томка убедилась на одной из вечеринок за городом, когда Трефилов вдруг «достался» хозяйке дачи, заведующей универмагом, которая посулила достать покрывало для его «Волги».

Было обидно, срамно на душе. Зачем тратить деньги, покупать красивые вещи, если не ждать от нее ни привязанности, ни верности, если она может быть все равно какой?.. И так как ответа на этот вопрос она не находила, то вообще перестала понимать, что значит нравиться, за что любят.

С тех пор то, что называли любовью, для Томки имело разгульный, водочный привкус, недолгий собачий дурман. К тому времени, когда Томка встретила Витюльку, ни его веселый нрав, ни искреннее расположение к ней уже не могли изменить ее представлений; опыт в «этих делах» полностью овладел умом, который у нее был. Томку даже коробила незлобивость Извольского, его порядочность, уважительное отношение к ней не только на людях, но и наедине, словно Витюлька принуждал ее не верить своему опыту.

Встретив Лютрова в Крыму, она принялась заигрывать с ним в полной уверенности, что «все они одинаковые», и тут впервые с ней случилась стыдоба: вместо того, чтобы «хватать, что в руки просится», Лютров заговорил о Витюльке, о том, какой он славный парень и как хорошо к ней относится.

Из-за этой истории Томка долго не решалась показываться на глаза Лютрову, хотя Витюлька ни словом не укорил за ее «выступления» на юге, из чего можно было заключить, что или Лютров ничего плохого о ней не сказал, или Витюльке безразлично, как она ведет себя. Но, встречаясь с Лютровым, она будто съеживалась, чувствовала себя каким-то недоумком рядом с ним. И, когда он погиб, а Витюлька сказал, что у Лютрова нет родных, и попросил ее помочь на похоронах, Томка неожиданно почувствовала в себе настоятельную потребность отдать погибшему последний долг. Она была уверена, что это обязательно надо, что в этом и в самом деле ее долг. Хотя какой это был долг и почему она так решила, трудно сказать. Как-то само собой разумелось, что по отношению к Лютрову иначе нельзя. Она признавала за ним такие человеческие качества, каких ни у кого не видела. Вот и все. Все остальные, на ее взгляд, были одинаковые. Тот же Одинцов.

«И чего я с ним связалась?» – думала Томка, сидя в шумном зале ресторана.

Но вот молодой официант, с глупо-значительным лицом, с застывшим на нем выражением понимания и нежелания понимать взаимоотношения мужчин и женщин, которых он обслуживает, начал как бы выправлять настроение Томки, пронося мимо ее плеча и

устанавливая на стол го коньяк, то нарезанный лимон, то семгу. Затем последовали обложенные зеленью жареные цыплята, румяные и душистые. И вскоре все, что говорил Одинцов, стало понятно, лестно, занимательно. Томка пила, ела, курила, позволяла официанту подливать ей минеральной воды и заглядывать за вырез платья, снова курила и пила и, наливаясь румянцем, хохотала над остротами журналиста.

## 19

О том, что в городе объявилась Ирина, Долотов узнал от нее же – по телефону.

– За вами долг!

– Какие-нибудь «аспекты»?

– Нет, лошади! Забыли?

В компанию напросился Витюлька, и по пути на ипподром Долотов заехал к нему.

Поднимаясь в квартиру Извольских, он не мог бы сказать, не покривив душой, что ему не хочется увидеть Валерою, хотя он и не решился бы сделать это намеренно. Втайне ему хотелось убедиться в своих нелестных представлениях о ней – прибавить к тому, что он думал о ее замужестве, зримое впечатление от ее пребывания в роли супруги человека, которого она, конечно же, не любит; своими глазами удостовериться во всем том низменном и лживом, что она принесла с собой и что непременно должно сказаться на укладе жизни хорошо знакомой Долотову семьи.

Но из того, что он успел увидеть и понять, Долотов вынес впечатление иного рода. Квартира выглядела как-то необычно – это было первое, что бросилось ему в глаза едва он переступил порог. Казалось, с появлением Валерии на все лег отпечаток ее присутствия, отсвет ее блеклого, будто инеем подернутого голубого платья свободного покроя. Вещи, стены и самый воздух в квартире будто ожили – согрелись и помолодели. Захар Иванович глядел бодрячком и был очень вежлив и деликатен с невесткой, а Инна Филипповна трогательна в своем старении быть подле Валерии опорой и защитницей ее интересов.

Валерия взглянула на спутницу Долотова и от поездки на бега отказалась. Ирина ответила на этот взгляд молодой хозяйки простодушной улыбкой и оглядела ее с откровенным, хотя и необидным интересом.

Затянутая в тесный брючный костюм модного колера – ядовито-фиолетового с белесыми подпалинами – Ирина весь день была в каком-то возбужденно-приподнятом расположении духа, что объяснялось, как видно, публикацией ее очерка, а также полученным гонораром и скорыми каникулами.

Сидя в машине, она шумно вспоминала о прошлом пребывании в городе, о поездке на родину известного поэта, ерзала на сиденье, кидалась то вправо, то влево, щелкала зажигалкой, прикуривая сигареты для Долотова, и, наконец, уселась на его место за рулем. Здесь ее возбуждение немного улеглось, как бы вошло в русло движения, совпало со скоростью. Но путь до ипподрома был короток, и неугомонности москвички не убавилось. На трибуне ей не сиделось: то она убегала вниз, к барьеру, чтобы «заглянуть в лицо» фаворитке заезда, то вместе с соседями принималась освистывать наездника, то бегала в буфет и угощала мужчин мороженым.

– На Томку похожа! – смеясь, шепнул Извольский Долотову.

Вечером по пути в гостиницу, оставшись наедине с Долотовым, Ирина спросила:

– У них это первый ребенок?

– У кого?

– У вашего друга и его очаровательной жены... Не заметили? Но это видно невооруженным глазом!

Долотов почувствовал себя так, как если бы вдруг обнаружил, что относился к больному и немощному человеку, как к сильному и здоровому.

«Не идиот ли я?.. Если заметно, значит, отец ребенка Лютров?...»

Кажется, он прозевал зеленый свет поворота на перекрестке; сзади нетерпеливо засигналили, а милиционер погрозил ему полосатой палкой.

– Удивление вам не идет, – услышал он насмешливый голос Ирины. – Обременяет вашу

сущность,

- Да?.. А глупость не обременяет?
- Вы чего-то не поняли?
- Вот именно. – «Ни черта я не понял».
- Это хорошо или плохо?
- Лучшего и желать нельзя. Вы молодец.
- Как все Ирины?
- Верно. Что бы я без вас делал?

Вопросительно поглядев на него, Ирина помолчала. Ей показалось, что он поддразнивает ее, играет в поддавки, подсмеивается. Но, не обнаружив на его лице подтверждения этому, сказала:

- Не могу понять вашего настроения.
- Если я скажу, что проникся к вам особым чувством, вы не поверите...
- Поверю. Если скажете.
- Вы замечательная девушка. И мне хочется понравиться вам.
- Насколько я знаю, для меня это неопасно.
- Даже если я предложу вам еще раз бросить руль?
- Я уже бросала... Вам закурить сигарету?
- А?... Да, пожалуйста.

Минуту ехали молча. Она щелкала зажигалкой, а он думал о Валерии.

«Ты ей не судья... И никто не судья. Витюлька друг Лютрова. Ближе всех к нему. А значит, и к ней. И к ее будущему ребенку... Ребенок – вот что для нее главное. Так было во все времена. Во все времена истинное счастье человека, как и всего живого, несмотря ни на какие потери, будет в заботе о чьей-то другой, следующей жизни, той, что всегда важнее твоей. А истинное несчастье – в невозможности сделать это...»

- Держите!
- Спасибо.

Ирина сложила руки под грудью, плутовски улыбнулась и произнесла нараспев:

- Кажется, я знаю, почему вы удивились!
- Да, – сказал он, как бы наперед соглашаясь с ее догадкой.
- Вы повяли, о чем я хочу сказать?
- Нет. Но вы мне поможете?

У вас с ней... – Ирина сделала паузу, – особые отношения. С Витиной женой.

– Вы просто ясновидящая... От вашей прозорливости становится не по себе. – Кажется, он сказал это чересчур сухо.

- Извините. Я дура. – Веселость Ирины как рукой сняло.

Ему стало жаль ее.

- Не огорчайтесь. У меня куда больше оснований считать себя дураком.

– Я решила оправдать свое имя...

- Это необязательно. Я давно заметил ваши достоинства.

– Которые бросаются в глаза? – Она наклонилась к багажному ящичку, пряча лицо за опавшими волосами; ее собственная веселая дерзость вдруг показалась ей неуместной.

- И эти тоже.

– А других вы не знаете... – Она щелкнула крышкой ящичка и откинулась на сиденье. –

Но меня узнать нетрудно, а вот про вас этого не скажешь.

- Почему?

– Потому что... вас ничем не проймешь! – Заметив улыбку Долотова, она приободрилась. – До сих пор не знаю, что вы за человек? Что вам нравится, что нет?..

- В вас? – Долотов вспомнил жену соавтора на вечере у Игоря.

– Ой, нет! – испуганно отмахнулась она. – Вообще, из общепринятого.

- Вы уже знаете: люблю лошадей...

– А что не любите?

- Женский баскетбол.

– Почему? – недоуменно протянула она.

– Я старомоден. Мне нравятся женщины на картинах Боровиковского, в балете, с детьми на руках, а не когда они ошалело носятся между двумя корзинами, ожесточенно гримасничают или застывают в безобразных позах. Отсталые вкусы, а?

– Во всяком случае, на вас похоже... И нынешние женские моды, конечно, не нравятся?

– Да, когда женщины одеваются так, словно у них нет другого способа доказать, что они женщины.

А если нет времени на продолжительные доказательства?.. Теперь ведь все страшно заняты.

– Дело не в занятости. Мода восполняет издержки прикладного равноправия, как сказала одна хорошо воспитанная девушка.

– Не понимаю. Как это?

– Чем больше потеря, тем беспардоннее мода.

– А точка отсчета? Вы сравниваете с прошлым веком?

– А с чем сравнивать? С каменным веком?

Посмеявшись, Ирина заговорила неторопливо и так, словно сожалела, что ей приходится делать это.

– Странно, люди так охотно бегут от современности, и все равно куда: вперед, назад!.. Для одних все лучшее осталось в прошлом, для других – все в будущем. Может быть, наша жизнь и лишена многих очаровательных условностей, обычаев прошлого, но... Но ведь во все века были хорошие и дурные люди, добрые и злые, стыдливые и бесстыдные... А мода... все это игра.

Собственные слова навели ее на какие-то размышления. Продолжительно помолчав, она спросила:

– Наверное, одна работа делает вас счастливым? Да?

– Почему вы так решили?

– Ну, риск, возведенный в примету судьбы... Это обостряет вкус к простым радостям, освобождает душу от мелочей жизни. – Она посмотрела на него и негромко прибавила: – Обесценивает все сожаления?

– Никакой работе это не под силу. Она может быть удовольствием, прибежищем, защитой... – Долотов замолчал, подкатывая машину к подъезду гостиницы.

– А от нелюбви нет спасения, да? – услышал он.

Ожидая увидеть выражение насмешливости на ее лице, Долотов резко повернулся и на несколько мгновений застыл под ее взглядом...

«Есть! Есть спасение!.. – казалось, говорили ее глаза. – Неужели вы не видите?...»

Стараясь не обнаружить своего замешательства, Долотов полез за сигаретами и, заслонившись облаком дыма, сказал:

– Не забывайте, если вас занесет в наши края...

«Нужно было как-то по-другому с ней... Кто знает, может быть, она затем и приехала, чтобы повидать тебя. А это не так уж часто случается в твоей жизни...»

Но иначе он не мог. Ему нужно было приучить себя быть свободным от того чувства, которое весь день напоминало, что рядом с ним другая девушка.

## 20

Когда подошел экипаж – Долотов, Извольский, Козлевич, Костя Карауш, – Пал Петрович, назначенный бортиженером в этот рейс, стоял у тележки шасси, осматривал поношенные, вытертые до кордовой ткани колеса.

– Как думаешь, долетит это колесо до Казани? – услышал он за спиной.

Старый механик неприязненно оглянулся через плечо, но, увидев улыбающегося Костю, а главное, вспомнив, каким тот был на похоронах Лютрова, Пал Петрович улыбнулся, но не Костиной шутке, потому что Пал Петрович уже забыл, что тот сказал, а в извинение за свою невольную недоброжелательность к его словам. И по тому, как он улыбнулся, какой странной была эта улыбка на изможденном лице Пал Петровича, Костя признал в ней что-то близкое, родственное себе, и в ответ не очень весело подмигнул.



Перед взлетом Долотов взглянул на бортиженера и хотел было сказать, чтобы тот не стоял в проходе, а сел на свое место и пристегнулся, но промолчал. Во-первых, на борту был Старик, и затевать неприятный разговор было не ко времени, а во-вторых, взглянув в выпуклые, по-старчески красневшие прожилками глаза Пал Петровича, Долотов уловил в них серьезное и строгое выражение и почувствовал себя как бы приглашенным на временную работу к этому щедедушному, небрежно одетому человеку, словно самолет принадлежал ему. Впрочем, в какой-то мере так оно и было: если вычислить время, проведенное Пал Петровичем в хлопотах об этой колымаге, то получится, что Старик отдал самолету пять лет жизни, а он, Долотов, налетал на нем всего тридцать часов. И еще Долотов почувствовал, что есть на борту лайнера какие-то сложившиеся обычаи, которым нельзя противостоять, чтобы не выглядеть чужаком.

Пробежав две тысячи метров и отдымив «двигунами», как пренебрежительно называли мотористы двигатели С-404 за несоразмерную величине тягу, самолет забрался в небо и принялся добросовестно отсчитывать по восемьсот километров в час на высоте девять тысяч метров.

Полчаса спустя Долотов повернулся к Извольскому:

– Виктор Захарович? Работай.

– Понял!

То, что Долотов передал управление сразу же после взлета и набора высоты, в другое время заставило бы Извольского повнимательнее присмотреться к своему командиру: Долотов не имел привычки передавать штурвал второму летчику. Но на этот раз Извольский не удивился: за последнее время их взаимоотношения изменились настолько, что Витюльке казалось, будто они только теперь по-настоящему знают и понимают друг друга.

После очередного сеанса связи с землей Костя Карауш нарушил молчание в кабине.

– Витюль?

– Чего тебе?

– Я говорю, та здоровая – ничего?

– Великовата.

– Да, вымахала. Нынче бабы вообще в рост ударились. Иной раз поглядишь, всем хороша, а как подумаешь, что жена такая достанется!..

– С женой не в баскетбол играть, – заметил Козлевич.

– Во что ни играй, а в дураках останешься. Ты знаешь, о ком речь?

– Знаю. Инженерша из отдела высотного оборудования. – Козлевич посмотрел на Извольского и укоризненно прибавил: – Витенька! А посматривай, куда летим. Насчет баб потом поговорим. И вообще, это дело Карауша, а мы с тобой люди женатые.

Выправив полет, несколько уклонившийся от курса, Витюлька покосился на Долотова. Но тот не слышал штурмана, потому что сидел без наушников и не глядел на курсовые приборы.

– Долотов курил и, глядя в лобовое стекло, раздумчиво следил, как уплывает под самолет куполами вспененное белое поле облаков, не впервые любуясь ими, не впервые отмечая про себя удивительное свойство облачных скоплений предельно точно отображать объем самых разнообразных, самых причудливых своих форм. Ничто на земле: ни горы, ни леса, ни архитектура городов – даже на взгляд с птичьего полета – не в состоянии помериться с облаками этой их выразительностью.

«Интересно, случалось ли Лютрову думать об этом?»

И опять Долотов почувствовал удовлетворение оттого, что не сделал замечания Пал Петровичу,

...На борту С-404 было немного пассажиров.

В хвостовой части салона, рядом с зачехленной металлической этажеркой мотористы играли в домино. Они старались не шуметь, то и дело «оглядывая на зашторенный проход в передний отсек салона, где находился Главный. На два ряда кресел ближе к этому проходу, наклонившись к уложенной на колени толстой книге, скромно сидела маленькая женщина с пучком русых волос на затылке – медсестра, сопровождавшая Соколова во всех его дальних поездках. А рядом с перегородкой, справа по полету, на лучших местах устроилась Ивочка Белкин и Рита – молодая женщина из отдела высотного оборудования. Высокая, с сильной, по-спортивному ладной фигурой, она пребывала в постоянной заботе скрыть свой рост и свою

спортивность и только сидя с облегчением чувствовала, что не удручает своими размерами даже самого невысокого мужчину.

Высказывая различные предположения о том, что ждет их, представителей КБ, на заводе двигателей, Ивочка Белкин вносил в свои рассуждения большую долю сомнения в возможности каких-либо радикальных изменений «в сложившихся представлениях» о причине катастрофы С-224. Скорее всего все придет к окончательному выводу, что тумблер механизма закрылков Лютров просто перевел уже на земле.

– Для чего? – спрашивала Рита.

– Как вы не понимаете? Чтобы скрыть ошибку, – отвечал Белкин.

– Но он же разбился при падении!

– Да, но умер не сразу...

Заметив, что его собеседница шокирована услышанным, Белкин поторопился перевести разговор, спросил, будет ли она назначена в их бригаду на время целевых испытаний дублера осенью.

– Это, знаете, на юге. Так что – советую.

Рита стала рассказывать о каких-то своих знакомых на юге, но Ивочка не умел слушать то, что не представляло для него практического интереса.

В сущности, Белкину было все равно, о чем говорить, что слушать; весь этот разговор был для Ивочки лишь способом убить время. Его заботили вещи куда более важные. В настоящее время Данилов совмещал в своем лице две руководящие должности: начальника отдела летных испытаний и руководителя летного комплекса. И если до сих пор на одну из них не подобран человек, то все дело в бедах, которые валяются на КБ одна за другой. К Старику бояться подступиться, а без него решить вопрос невозможно. Сколько это будет продолжаться, бог знает, но ведь не бесконечно. Когда-нибудь Соколову предложат кандидата на вакантное место... Ивочка Белкин совсем не рассчитывал оказаться этим лицом, цель его была скромнее, но реальнее и связана с тем расчетом, что кандидатом будет Володя Руканов, находившийся в данную минуту в переднем салоне вместе со Стариком и Разумихиным. А поскольку Руканов пока являлся начальником бригады ведущих инженеров, в которую входил и Белкин, то в случае повышения Володя автоматически освобождал свою теперешнюю должность. Сюда-то и метил Ивочка. Ради этого места он предпринимал все с его точки зрения необходимое. И выступление на заседании аварийной комиссии, где Белкин говорил об ошибке Лютрова, как о вполне возможной причине катастрофы, он тоже посвятил этой своей цели. Был ли сам Белкин уверен в том, что говорил, дело второе. Он не слишком огорчится, если его предположение будет опровергнуто завтра на заводе, более того, будет только доволен этим. Для него было важным высказаться вслух потому, что в долгих беседах в комнате ведущих он пришел к заключению, что Володя Руканов склонен как раз таким образом оценивать поведение Лютрова на борту С-224.

А если Руканов тяготеет к такому мнению, то это, во-первых, может быть отзвуком мнения Соколова, во-вторых, – отличный случай заявить о своей солидарности с начальником бригады, у которого наверняка спросят, кого он пожелал бы рекомендовать вместо себя. Тут-то как раз ошибка и сыграет свою роль: одно дело оказаться правым вместе с будущим начальником летного комплекса, это как-то даже умаляет весомость правоты начальства, принижает ее; а совсем другое, если человек, слепо полагаясь на авторитет начальства, делит с ним заблуждение. Тут уж отпадают всякие подозрения в желании разжигать, ослабить правоту начальства своей правотой, а вместо того в глаза кидается туповатая ретивость подчиненного, свойство очень удобное в нем.

Единственным, кто мог помешать Белкину, был Иосиф Углин, инженер более опытный, старше возрастом и, главное, пользующийся несомненным авторитетом у летчиков. Но и тут для Белкина была одна тонкость, предоставлявшая ему некоторый шанс: непрезентабельный вид Углина и то, что он был равнодушен к карьере. По всему выходило, что Ивочка мог оказаться наиболее предпочтительной кандидатурой на место начальника бригады, К тому же Углин в настоящее время очень занят на С-441, а Белкину предстоит простой по крайней мере на месяц-два.

Рассеянно слушая свою соседку, которой казалось, что Ивочка углубленно размышляет о

том, что она говорит ему, Белкин то и дело поглядывал на зашторенный проход в переднюю часть салона, готовый многое отдать, только бы узнать, о чем там говорят.

...Справа по полету, через проход от Белкина и высокой женщины, так же друг против друга, молча сидели два начальника отделов КБ – высокий, седой, заметно сутулый руководитель отдела силовых установок Самсонов и гидравлик Журавлев, человек тихогоголосый, с лысой головой на негнущейся шее, с мокренькими, точно в желе купающимися светло-серыми глазами. От нечего делать Самсонов рассматривал потрепанный иллюстрированный журнал. Вытянув руки, он как-то искоса, с подозрительным прищуром всматривался в картинки, пытаясь понять, почему на листе так много изображений одного и того же артиста. Человек решительный, в свои пятьдесят семь лет не боявшийся ни начальства, ни уличных хулиганов, относящийся с нескрываемым презрением к людям слабым, ленивым и приспособляющимся, Самсонов решил, что и мужчина, которого он рассматривал, относится к этой же публике.

Журавлеву было не до картинок. Он вообще не умел развлекать себя чем-либо, кроме как делом. И теперь пытался представить, каким образом неисправная работа форсажной камеры одного из двигателей (о чем сообщили с завода) могла разрушить гидравлическую систему С-224. До сих пор Журавлев был уверен, что первым камешком, который повлек за собой обвал, была внезапно образовавшаяся течь на том участке магистрали, который он показывал Долотову. Правда, усталостная трещина так и не появилась на снятом с дублера и испытанном на стендах наконечнике шланга, как и на нескольких других, взятых для проверки, точно таких же наконечниках. И все-таки до самого последнего времени Журавлев был убежден, что трещина и течь – наиболее вероятная причина катастрофы. Но сообщение с завода заставило гидравлика усомниться и подсказало другой, не менее убедительный вариант. Когда Самсонов ознакомил его с этим сообщением, где говорилось об имевшей место неисправности в работе форсажной камеры одного из двигателей, Журавлев спросил:

– Левого?

– Да, левого двигателя. Как догадался?

– Машинки гидропривода стабилизатора ближе к левому, и если форсажная камера прогорела в воздухе, все могло быть; и если застопорило стабилизатор...

«Чудес на свете не бывает, – думал теперь Журавлев. – И завтра все тайное станет явным».

Соколов и Разумихин занимали места в передней части салона, слева по полету. Руканов в одиночестве сидел справа. Попав перед вылетом на глаза начальству и ответив на какой-то вопрос, он остался рядом как бы с намерением оказаться под рукой в случае надобности. Листая прихваченный в дорогу том Британского авиационного ежегодника Володя не только не встревал в разговор начальства, но всячески делал вид, что его присутствие рядом – случайная привилегия, которой он не собирается злоупотреблять. Он почти не вчитывался в английский текст книги, ограничиваясь рассматриванием отлично выполненных фотографий. Это позволяло быть начеку, и когда он ловил движение слева, то без особой поспешности, однако сразу же поворачивался к начальству, и, не обнаружив надобности в своих услугах, делал вид, что разминает затекшие шейные мышцы, с каждым часом все более подозревая, что суровое немногословие Старика связано или с положением дел на фирме, или с отношением к нему в тех сферах, коим он подотчетен, или же таит в себе гневное недовольство руководителями завода, куда они летели.

А Старик если и был теперь кем недоволен, то разве что новым, не в меру ретивым заместителем по хозяйственной части.

Вернувшись из отпуска и войдя к себе в кабинет, Соколов в первую минуту остолбенел. Все, что можно было переделать, переиначить на ультрасовременный лад, было переделано. Вместо его любимого кресла с высокой резной спинкой стояло что-то округлое, гладкое, бесстыдное. Такими же креслами, только меньших размеров, были заменены родственные прежнему креслу строгие высокие стулья, а вместо старинного письменного стола редкой работы, совсем недавно волшебным образом обновленного дедом-краснодеревщиком из модельного цеха, стоял, идиотски поблескивая боками и брезгливо касаясь пола тонкими ножками, какой-то прямоугольный урод. Даже панель карельской березы, придававшая стенам благородную

опрятность и теплоту, была содрана, а вместо нее наклеено что-то до омерзения неопределенное, какой-то импортный пластик, окантованный кадмированным алюминием. Не переступив порога, Соколов приказал немедленно выбросить «всю эту гадость» и не вернулся в кабинет, пока ему не сказали, что все восстановлено в прежнем виде. И теперь еще не угасла обида в душе Старика. «Экая бестолочь! – думал он, вспоминая оправдания заместителя. – Он, видите ли, считает, если его «шеф» руководит учреждением, где создаются летательные аппараты, «воплощающие материальный облик времени», то и мебель должна напоминать абстракции с дырками! А того не поймет, балбес, что вещи должны вызывать уважение к себе, быть друзьями, а не лакейски-услужливыми «седалищами».

Ничего этого Руканов не знал, и, когда бездеятельное присутствие на глазах Главного начинало его томить, он вставал и шел в кабину, вынуждая сидевшего в проходе Костю Карауша подниматься со своего места, чтобы дать Руканову пройти к летчикам.

Расспросив Извольского, где они пролетают, хороша ли погода на маршруте и сколько им еще осталось лететь до места, Руканов возвращался в салон и когда Соколов невольно поднимал глаза на входящего, коротко сообщал ему обо всем, что узнал. Соколов кивал, а Руканов, довольный тем, что напомнил о себе, садился на свое место и раскрывал ежегодник. Проходил час, и он снова шел к летчикам.

Косте Караушу надоело всякий раз подниматься.

– Так где мы находимся? – спросил Руканов, в очередной раз наклонившись к Извольскому.

– В самолете. Пить надо меньше, – огрызнулся Костя.

Он сказал это по СПУ<sup>3</sup>, Руканов не мог расслышать его за полетным шумом в кабине. Зато слышал весь экипаж: Козлевич беззвучно смеялся, подрагивая животом, Витюлька едва сдерживался, чтобы не прыснуть смехом.

Долотов спросил:

– Ты о чем, Костя?

– Все о том... У нас что, проходной двор? – добавил он, прижимая ногой кнопку СПУ.

Долотов посмотрел через плечо и увидел Руканова. Он стоял за креслом второго летчика, отеснив в сторону Пал Петровича, наскоро перекусывающего вкусно пахнущим соленым огурцом и хлебом.

– Бортинженер! – громко сказал Долотов.

– Я слушаю! – встрепенулся Пал Петрович, поспешно дожевывая и вытирая губы.

– Почему в кабине посторонние?

Отвечавший Руканову Извольский оборвал себя на полуслове. Володя заметно побледнел. Мускулы лица замерли, придав ему надменность.

– Вы имеете в виду меня? – со значением спросил он.

– А что, с вами еще кто-нибудь?

– Уходи, Володя, – сказал Пал Петрович, не глядя на Руканова. – Непорядок.

Все в кабине уткнулись в свои дела, на каждого повеяло тем Долотовым, которого они хорошо знали.

Володя вернулся в салон с красными пятнами на лице и был рад, что Главный на этот раз не обратил на него внимания.

Руканов впервые летел на пассажирском самолете, который вел Долотов, и впервые его, как мальчишку, выгнали из кабины. Теперь об этом станут говорить во всех углах летной базы... Он чувствовал себя так, словно публично получил пощечину. И это была не просто пощечина. День за днем, месяц за месяцем, год за годом он воспитывал в окружающих нужный ему взгляд на себя, заставляя всерьез считаться с собой, сживаться с несомненностью своего авторитета, со своей пригодностью для ожидавших его в будущем высоких должностей. И вот... Пальцы его, листавшие книгу, дрожали, и если бы среди приборов перед глазами Долотова был и такой, который высветил бы ток крови в жилах сухощавого человека в ограненных очках, то можно было бы увидеть, как вместе с кровью к сердцу его проникает и

---

<sup>3</sup> Самолетное переговорное устройство.

тихо оседает темной накипью бессильная злоба.

Чутье не обмануло Руканова – это сработал тот самый, постоянно чувствуемый им потенциал враждебного в Долотове.

...Полет подходил к концу. Под самолетом давно уже было чисто, земля хорошо просматривалась со всеми своими черными, серыми, желтыми и зелеными прямоугольниками лесов и полей. Видно было, что тепло – настоящее, летнее – давно уже утвердилось в этих краях, и все на борту повеселели в предвкушении свидания с этим теплом.

На подходе к аэродрому Карауш долго слушал, без конца переспрашивая, неясные и очень слабые голоса земли и наконец сказал, повернувшись к Долотову:

- Командир!
- Да, слушаю.
- Дохлое дело.
- Что такое?
- Говорят о сильном боковом ветре. Неясно. Связь плохая. Снижайся до высоты захода.
- Сколько до полосы, штурман?
- Подходим к дальнему приводу. Скоро а-бубенчики услышим.

Но «бубенчиков», то есть звонков маркера в кабине, оповещающего о проходе приводных маяков, они так и не услышали.

Обеспокоенный Козлевич все чаще поглядывал вперед сквозь плоское каплевидное стекло с нанесенной на нем осью симметрии самолета: впереди по курсу все яснее просматривалась покрывавшая землю серо-коричневая суеть, как раз там, где, по его расчетам, должен быть аэродром.

– Пыль какая-то, Борис Михайлович, – сказал Извольский.

Долотов и сам пытался понять, что за облако ползет от земли к небесам.

На высоте двух тысяч метров самолет обволокло коричневой мутью, связь с землей совсем прекратилась, перестали работать и радиопривода, как если бы самолет вошел в экранированный коридор.

Долотов некоторое время ждал, что они минуют пыльное облако, но скоро стало ясно, что это произойдет, когда они проскочат полосу. «А не уйти ли на запасной аэродром?» – подумал он.

- Бортинженер, сколько горючего?
- Нет горючего... Пятый час гоношимся. Садиться надо.

Пал Петрович, все так же стоя позади летчиков, положил руку на красную скобу, предохраняющую тумблер противопожарной системы от случайного включения; бортинженер готовился к худшему.

– Снижайся до предела, командир! – крикнул Козлевич. – Не то промажем! Проскочим полосу! Тем же курсом, но ближе к земле. Полоса где-то рядом!

Но чем ближе прижимал Долотов самолет к земле, тем сильнее чувствовал, будто по всей машине ударяли чем-то тугим и тяжелым, заставляя ее вздрагивать, вскидывать то правое, то левое крыло. Ураганный ветер вот-вот, казалось, одолеет и скорость, и тяжесть, и летучесть старого самолета.

Люди в салонах затаились, смолкли разговоры. В самолете стало сумеречно.

Стрелка высотомера приближалась к отметке 50.

– Вижу! – крикнул Козлевич. – Земля, командир!

А-так держи, не уходи с курса, Боренька!

– Есть ориентиры? – спросил Долотов.

– А-пока война в Крыму, все в дыму, – ответил Козлевич и тут же крикнул обрадовано: – Есть! Тропа! Овечья тропа! Вспомнил! Она идет к полосе! Возьми чуть правее, на ветер!

Тем временем Пал Петрович, не убирая пальцев с красной скобы, следил за руками Долотова. Топлива оставалось немного, и старый механик боялся пожара.

– Не вздумай уходить, – сердито сказал Пал Петрович на ухо Долотову. – Топлива мало, садиться надо.

- А двигатели? – не поворачивая головы, крикнул Долотов. – Песок, встанут!
- Выдюжат, не бойсь.

– Громче!

– Булыжники, говорю, не летают, а эту муть заглонут!

«Уходить, уходить надо, – стучало в голове Долотова. – Старик на борту!.. Но куда? Без горячего!..»

И вдруг Долотова пронизала испугавшая его мысль.

– Бортрадист! – крикнул он.

– Слушаю, командир!

– Старик! Сходи, пусть пристегнется!

– Понял.

Костя бросил на откидной столик ненужные теперь наушники и вышел из кабины. Сидевшие в полутемном салоне Соколов, Разумихин и уже пристегнувшийся Руканов смотрели каждый в свой иллюминатор, пытаясь разглядеть землю.

Костя встал рядом с креслом Главного.

– Николай Сергеевич, командир приказал пристегнуться. – Костя покраснел, ожидая, что Старик прогонит его.

– Что, худо?

– Не видать ни хрена. Ни земли, ни неба, – сказал Костя, вдруг осмелев. – Пыль, сильный боковик, метров двадцать пять.

Соколов с трудом нашел под собой один конец ремня, покрутил его в пальцах и посмотрел на Костю.

– Что стоишь? Помоги, коли приказано.

Костя быстро отыскал второй конец ремня и подал его в руку Главному. Тот подержал оба конца, глядя попеременно то на один, то на другой, и снова посмотрел на Костю.

– Ну, а дальше чего?

Карауш понял, что Старик никогда не пользовался привязными ремнями, быстро распустил запас на ремне и туго стянул его вокруг рыхлого стана Соколова.

– Полегче... Взнуздal! – Главный сердито махнул рукой.

...Между тем дело принимало зловещий оборот, и все люди в самолете, со всеми их надеждами, заботами, планами, со всем тем, что привязывало их к жизни, убеждало в важности существования и непроглядной отдаленности смерти, даже различимость ее для себя почитавшие за страшную несправедливость, теперь все эти люди, находящиеся внутри несущегося рядом с землей самолета, невольно проникались холодящим сердце предчувствием того, что ждало их с минуты на минуту, было близко, рядом, неслоь вместе с ними, падало!.. Полутьма в салонах, угрожающее колыхание крыльев и подрагивание самолета, чувство близости земли при этом подрагивании и колыхании, в этой полутьме – все казалось началом того, чему так просто удавалось противиться на земле и что теперь подступало к сердцу каждого, наваливалось на них, бессильных даже попытаться защитить себя.

Единственной надеждой всех в самолете был человек за штурвалом.

Держа книгу ребром на колене, Руканов спокойно улыбался, как человек, в меру заинтересованный происходящим, стараясь при этом повернуться так, чтобы Соколову можно было заметить эту его улыбку умеющего владеть собой человека. Володя разумно рассудил, что, случись беда, все они станут бесперспективными жертвами независимо от занимаемой должности, но если все обойдется, умение держать себя в руках произведет благоприятное впечатление. Нет, Володя не мог позволить себе распуститься на глазах у Соколова. Это могло означать ту же катастрофу, если не худшую; трусов не любят даже трусы, может быть, в большей степени, чем храбрецы.

Разумихин был возбужден и по обыкновению не скрывал этого. Он нервно жевал губами, оторопело глядел в иллюминатор, то и дело произнося что-нибудь вроде:

– Прилетели, черт его дери!..

...Вслед за недолгим недоумением – неужто сегодня, сейчас, так-то вот? – Соколова охватила тягучая истома от сознания своей неспособности сделать что-либо, кроме как, сцепив руки на животе, смиренно ждать, чем все это кончится. Но в этом смирении не было отчаяния: он многое успел за свою жизнь. Он был не только и не столько конструктором, сколько работником, с нечеловеческим упорством создававшим из ничего (начав с сарая на задворках

города, у Гнилой речки) то огромное, людное, что теперь называли КБ Н. С. Соколова. Он умел с одинаковым упорством строить истребители и новую котельную, создавать пассажирские лайнеры и добиваться у города места для нового инженерного корпуса.

Говорили, он нетерпим к тем, в ком видел своих соперников, что имярек внес больше труда в такой-то самолет, а машину назвали именем Соколова; что такой-то талантливее его, известен трудами по математике; такой-то видный аэродинамик, но все они «работают на Соколова», а те, кто проявляет строптивость, вынуждены уходить из КБ... Да, он не терпел тех, кто пытался потеснить его. Не потому, однако, что был честолюбив, а потому, что верил в себя, душой радел о деле, и передать вожжи тем, кто этого домогался, значило для него отдать собственное детище в чужие руки. Рискнуть на это Соколов не мог... разве что, если бы поверил в кого-то, как в себя. Такие были, но как раз они-то и не домогались его места, их пугала ответственность, они, как черт ладана, боялись руководить не только КБ, но даже отделом и склонялись перед Соколовым за его непугливую натуру хозяина дела. За его спиной они чувствовали себя в надежной безопасности в самые тяжелые годы. Говорили, что эти люди создали Соколову имя, но такое может прийти в голову разве что недоумкам. Давал им работу и принимал ее он, Соколов. Машины, которые прославили КБ, рождались у него в голове. Каждую новую модель он начинал с того, что ночами просиживал с художником над общим видом самолета. И только когда был готов рисунок, даны определяющие размеры, созданы чертежи общего вида, вот тогда он поручал произвести расчеты тем, кто это мог сделать лучше него, потому что они ничем другим не занимались. Им не нужно было выколачивать станки для опытного завода, оборудовать мастерские, цехи, добиваться от поставщиков нужных материалов, строить дома для рабочих, «пробивать» в министерстве достойную зарплату тем, кто «работал на Соколова»... И когда почему-либо машина не получалась, вся вина за неудачу падала на Соколова, никто не говорил, что не справились те, которые «работают на него». Начинались тихие разговоры о том, что Соколов не учел того-то, не понял этого, «не использовал достижений...». Они были правы, эти умники, но им было невдомек, что ошибки Соколова им видны с той башни, которую возводил он.

...Самсонов вдруг вспомнил, и совсем не к месту, журнальные фотографии артиста, в лицах перечислявшего, каких людей он изображал за свою жизнь, и, вспомнив, что все изображаемые люди имели одну и ту же плоскую физиономию актера, Самсонов почувствовал неприязнь к занятию упитанного человека. Сквозь мрачный восторг от ясно вообразимого образа своей смерти, презрев собственный страх, как он презирал слабость в других людях, Самсонов неожиданно подумал об артисте: «Господи, какой идиот!..»

Сидевший рядом Журавлев давно привык к преддверию собственного конца: сердечные приступы, тяжелые и продолжительные, приучили его к пребыванию на грани жизни и смерти, и потому происходящее теперь он воспринимал как очередное недомогание, разве что теперь смерть представлялась ему несправедливой, потому что заглянула совсем не вовремя. «Ну, хоть моя девочка теперь здорова», – в утешение подумал он.

...Игравшие в домино мотористы расселись в кресла и пристегнулись, вроде бы нехотя подчиняясь обстоятельствам. Это были молодые ребята, они часто летали и не так легко могли поверить, что этот полет будет чем-либо отличаться от других. Они переговаривались спокойно и даже чуть ернически.

- Ну и пылища!
- Ни черта ни видать.
- Трудно заходить.
- Ну, Долотов!..

...Медсестра, сидевшая неподалеку от мотористов и близоруко читавшая книгу, теперь замерла и съежилась, конфузясь своего страха, от которого стало как-то пусто в животе. «Это от кефира, – пыталась она убедить себя, вспомнив свой завтрак в буфете лётно-испытательной базы – Может быть, съесть кусочек лимона?» Она огляделась, увидела беседующих как ни в чем не бывало мотористов и, встретившись своим униженно вопрошающим взглядом с одним из них, прочитала в его глазах сердитое осуждение своего немого вопроса. Не вдруг же все пройдет, говорили ей глаза моториста: и пыль, и ветер, и тряска – повремените. И пожилая женщина почувствовала, что ей стало проще со своим страхом. Она вспомнила летчика,

который прошел перед отлетом мимо нее, легко вообразила теперь его стремительную фигуру и прониклась уверенностью, что все совсем не так, как ей вдруг показалось, что все это «у них» в порядке вещей. Она заставила себя отыскать недочитанную страницу, изо всех сил стараясь не думать ни о страхе, ни о слабости, но, читая, ничего не могла понять.

...У Белкина заняла грывжа. Вначале он еще пытался убедить себя, что коли на борту Старик, ничего неприятного произойти не может, все будет сделано как можно лучше, словно он находился не в самолете, влетевшем в облако пыльной бури, а сидел с Главным в его ЗИЛе, который остановил милиционер. Но когда ему удалось превозмочь эту спасительную глупость и понять, что он запросто может угробиться, несмотря на присутствие Главного и даже вместе с ним. Ивочка с таким выражением лица уставился своими желтыми глазами на Риту, словно пытался и никак не мог крикнуть: «Что же вы ничего не делаете?! Разве не видите, что мне это совсем не нужно?»

А та, бледная, с отвращением глядя на опавший подбородок Белкина, вспомнила, как он говорил, что Лютров умышленно перевел тумблер, и вдруг всей душой поняла, что у сидящего напротив человека дрянная душонка и что в своем бутылочном костюме он похож на зеленую пивку. «Посмотри на себя, – хотелось ей сказать. – «Смог бы ты сейчас найти этот самый тумблер?» Она отвернулась к окну, и лицо ее то ли от негодования, то ли от смущения пошло красными пятнами. Она вдруг вспомнила, в какое отчаяние приводил ее Долотов еще полгода назад, когда на С-224 испытывалось высотное оборудование: его самодовлеющий вид, неумение слушать иначе, как только глядя в землю, словно ему говорят бог весть какую ерунду, – все это обидно волновало Риту, как если бы сводило к пустякам все то, чему она отдавала столько привязанности, предусмотрительности, старания. И вот теперь, вспомнив все, что говорил ей Ивочка, она поняла, какое настоящее было скрыто в Долотове, и ей до слез стало обидно, что он никогда не замечал ее.

...Иногда всем в кабине казалось, что командир теряет власть над самолетом, что старая машина не выдержит тяжести ударов ветра, качнется, зацепит крылом землю, не устоит перед беспорядочными порывами урагана.

Но с первых сигналов опасности Долотов пребывал в том воодушевленном напряжении, которое только и отличает людей, способных броситься в самую мучительную схватку, от тех, кто «теряет сердце» перед осознанной бедой. Соппротивление урагану заставляло все чувствовать, видеть, понимать. Сердце билось так, словно было рождено пережить вот это вдохновение борьбы. Охватившее Долотова напряжение удесятряло ловкость, неистовость внимания, придавало зоркости, воображение с легкостью постигало существо бури, память мгновенно запечатлевала ее силу, пределы опасности самых сильных порывов и немедленно подсказывала, как противостоять им.

В самолете были пассажиры, и потому никакой другой полет не имел для Долотова большего значения, никогда раньше он не проникался ни такой ответственностью, ни сознанием достоинства своего места за штурвалом.

В глубине души Извольский был рад, что сидит справа, а не слева. Он лучше других мог оценить, с каким непостижимым чутьем отзывался Долотов на все то, что вытворял с самолетом ураган; так лошади идут в темноте по горным тропинкам, безошибочно угадывая, куда следует поставить ногу.

Иногда Долотов как будто позволял ветру заваливать самолет, никак не реагируя на крен, а то вдруг угадывал гибельную особенность порыва, и тогда руки его едва приметно перемещали рога штурвала, заставляя самолет принимать то единственно вернее положение, которое позволяло держаться в воздухе.

В кабине молчали, как молчат ассистенты оперирующего профессора. Не отрывавший глаз от земли Козлевич уловил на секунду, как овечья тропа метнулась влево, словно перед препятствием, и тут же, как он и ожидал, под самолет юркнула кромка бетона.

– Боря! – крикнул он. – Убирай газы! Полоса под нами! Видишь?

– Нет.

– Боренька, внимательней!.. Убирай газы! Смотри!..

И Долотов наконец увидел – на присыпанной песком полосе промелькнули участки с белой пунктирной линией.



– Боря, гляди!.. Видишь?

– Да, да!..

Чтобы выдержать направление по оси бетонной полосы, Долотову нужно было вести самолет под углом вправо, С-404 летел как бы чуть боком, одолевая давление ветра, и все ближе опускаясь к земле.

Предстояло самое трудное – управиться с машиной в момент посадки. Когда самолет опустится на две основные тележки шасси и скорость упадет, ветер может развернуть его, как флюгер, ударом в киль, обращенный всей площадью под ураган, тогда – катастрофа. Чтобы избежать ее, нужно до предела сбавить обороты левого двигателя и как можно быстрее опустить машину на переднюю ногу: чем скорее вес самолета ляжет на все стойки шасси, тем больше шансов удержаться если не на полосе, то хотя бы на колесах.

«Быстрее гасить скорость на пробеге! Быстрее гасить скорость!» – как заклинание повторял Долотов, ожидая первого прикосновения колес к земле.

И, почувствовав это касание раньше всех, тут же перевел штурвал от себя и вправо, одновременно снимая обороты правого двигателя.

Посадка была грубой, с завышенной перегрузкой на шасси. Всех ненадолго придавило к сиденьям, а затем, как ни старался Долотов удержать самолет рулем направления и тормозами, он все-таки свернул с полосы. Прочертив кривой след по песчаным свеям, С-404 сорвался с бетона и, неистово раскачиваясь, каждую секунду грозя падением, покатил в степь.

И теперь еще по-настоящему отчетливо видел землю один Козлевич. На мгновение ему показалось, что они врезаются в плотный завал крупного серого булыжника. Штурман прикрыл глаза, ожидая треска, удара... но самолет без видимых помех, однако все медленнее раскачиваясь с крыла на крыло, пронесся сквозь эту серую массу, и тогда Козлевич понял, что они таранили сбившуюся отару овец.

Наконец самолет встал. В кабине летчиков минуту молчали. Было слышно, как сечет по обшивке беснующийся песок.

Серый от пережитого напряжения, Долотов медленно откинулся на спинку кресла.

– А баранину уважаешь, командир? – спросил Козлевич, нервно потирая грудь ладонью.

– Что? – спросил Долотов и ощутил противную сухоту в горле.

– Овец подавили. Уголовное дело.

– Брось! – изумился Карауш, вставший рядом с Пал Петровичем.

– Выйди погляди.

– Как же мы не кувыркнулись?

– Соображать надо, одессит. Если бы не эти благородные а-библейские животные, мы бы сейчас во-он там были... Чуете? Это, братцы, арык. Километра полтора по целине отмахали.

Костя Карауш принялся доказывать, что за урон вычтут с Козлевича, как со штурмана. В кабине смеялись, а Долотов сидел, опустив руки, вдруг ощутив страшную усталость, не понимая, чего ему недостает, чего хочется. Такого состояния он не помнил с того времени, когда опытная С-14 валилась на речной обрыв. Но тогда на борту не было Главного.

«Чуть Старика не угробил... Ни за понюх табаку».

«Да, курить охота», – понял наконец Долотов и полез за сигаретами.

...В заднем салоне кто-то из мотористов попробовал было открыть дверь, но в лицо ему хлынула такая густая лавина песка, что чехлы на этажерке и даже кресла тут же припудрило. Моторист придавил дверь плечом и долго протирал запорошенные глаза.

Главный понял, что боковой ураганный ветер сорвал машину с полосы. Разглядывая землю, которая то просматривалась, то как дымом застилалась облаками песка, он заметил тот самый арык, о котором говорил Козлевич. Привязной ремень по-прежнему был застегнут на нем, и, когда в салоне показалась озабоченная физиономия Кости, Соколов ворчливо сказал:

– Рассупонь. Намертво привязал... Куда прикатили? спросил он, облегченно отдуваясь.

– На шашлык.

– Чего?

– Точно, Николай Сергеевич. Баранов передавили.

– Дела!.. Позови Долотова.

Костя быстро прошел в кабину летчиков.

– Командир, Старик тобою интересуется.

Долотов торопливо погасил сигарету и поднялся. Не зная, что его ждет, он почувствовал всегдашнюю свою растерянность перед Соколовым.

– Спрашивали, Николай Сергеевич?

– Да. Садись. Куда прикатил? – повторил свой вопрос Главный, когда Долотов присел в кресло рядом с Разумихиным.

– Ветер... – пробормотал Долотов, взглядом ища поддержки у Разумихина. – Сорвало с полосы. Разве удержишь?

Самолет качнуло порывом ветра.

– Ты летал на большие углы? – вдруг спросил Соколов.

– Да. – Долотов слегка запнулся от неожиданного вопроса.

– Сделал один полет да едва не развалил машину, – Разумихин сказал это Соколову, качнув головой в сторону Долотова.

– Мне нездоровилось, и вообще...

– Что вообще? – Соколов спросил таким тоном, словно знал, почему Долотов это сделал: не хитри, мол.

– Не годится сажать одного вместо другого, – Долотов сглотнул сухой комок в горле. – Ничего путного не выходит.

– Как так?

– Так, Николай Сергеевич... Чернорай сколько отлетал, и все было в порядке, а тут я, словно ему не доверяют.

– Кто сказал, не доверяют? – Соколов вопросительно посмотрел на Разумихина.

– Об этом и речи не было, – сказал Разумихин.

– Речи не было, а так вышло... – Долотов нервничал, боясь каким-нибудь неосторожным словом рассердить Старика.

Но Соколов был далек от того, чтобы теперь, после трудной посадки, с которой так здорово справился этот парень, говорить ему неприятные слова. Хотя... С каких это пор летчики вмешиваются в распоряжения руководителей КБ? Впрочем, тут же решил Соколов, парню подвернулся случай защитить товарища, так что дело вовсе не в недовольстве распоряжениями начальства. И к тому же в его словах что-то есть... Очень может быть, что эта несостоявшаяся замена как раз тот случай, когда кажется, что делаешь для пользы, а выходит во вред.

Явно стараясь поскорее замять разговор, который сам же и начал, Разумихин стал расспрашивать Долотова, как ему удалось отыскать полосу при такой видимости.

Кося в их сторону, Руканов делал вид, что его не интересует беседа начальства с Долотовым, и, лишь на секунду подняв глаза на Разумихина, усмехнулся, как бы говоря, что это мальчишество – думать, будто от Долотова что-то зависело во время посадки; в лучшем случае, им повезло. Однако Разумихина не так просто было переубедить в том, что он находил очевидным.

– На газах сажал? – спрашивал он.

– Да... На правом держал. Ветер боковой, иначе нельзя.

Когда Долотов ушел, Руканов, не давая остыть разговору, поторопился прислониться к нему и своим словом.

– Больше нужно нашим летчикам летать в сложных условиях.

Главный ничего не сказал на это, а Разумихин решил, что он чего-то не понял в замечаниях Руканова.

Пропустив Долотова к его месту, Костя Карауш хотел было спросить, зачем вызывал Главный, но, поглядев в лицо командиру, промолчал. «Все равно ничего не скажет».

– Костя! – позвал Козлевич. – Чего так сидеть? Травани чего-нибудь... Слышь, одессит!

Но Карауша в кабине уже не было. Он сидел в салоне рядом с Ритой и, не обращая внимания на Ивочку, не без успеха развлекал ее.

– У моей сестры парень – на вас похож! – весело говорила она.

– Плохая примета.

– Почему?

– Дети будут.

Женщина смеялась тем удивительным смехом, который выражал не просто веселость ее, а всю целиком, искренне и безоглядно отдавшуюся радости посмеяться.

...Час спустя буря поутихла, степь стала просматриваться. К самолету одна за другой подъехали несколько машин, из которых выходили и глядели на иллюминаторы озабоченные люди в плащах с капюшонами.

Затем привезли стремянку и, когда механики открыли заднюю дверь, с земли донеслось:

– Братцы, как Николай Сергеевич?

– В порядке. У вас что, всегда так?

– Бывает!..

Люди внизу повеселели, живее задвигались, слышались веселые команды. Подъехал МАЗ с металлическим кузовом – буксировать самолет.

Через полчаса всех увезли на окраину заводского поселка, состоявшего из финских домиков с окнами в бескрайнюю степь. И только Пал Петрович с двумя мотористами остался у машины. Он велел молодым людям обмести шарнирные узлы стоек шасси веником, протереть от следов бараньей шерсти и крови.

– Давай! – махнул он шоферу тягача.

Рослый таджик-шофер вначале посмеивался, глядя на маленького распорядительного старика – бортинженера, но, получив от него весьма увесистое «ценное указание», быстро посерьезнел и поставил двигатель на фиксированные обороты, чтобы ровнее двигался буксируемый самолет.

## 21

Со стороны казалось, что Главный более всего занят слушанием того, о чем говорили заводские конструкторы, и они старались быть возможно доказательнее в своих рассуждениях, тщательно обосновывая каждый свой вывод, справедливо полагая, что, чем яснее изложат свое понимание возможных обстоятельств поломки двигателя, тем более убедят Главного как в своей осведомленности, так и в невозможности считать найденные неполадки причиной катастрофы. Как видно, это была их главная забота.

И после первых же выступлений Соколову стало ясно: чувство непричастности к трагедии было общим для всех. Все начинали с анализа повреждений, очерчивали указкой зону разрушения и под конец заключали, что неисправность, какой она предстала после реставрации форсажной камеры двигателя, никак не могла вызвать катастрофических последствий. Уяснив, что, сколько бы ни говорилось в этом роде, ничего нового он не услышит, Соколов как бы отстранился от слушания, перестал вникать в произносимые слова, а пытался выяснить, кто, что за люди занимались исследованием, угадать, с каким настроением они искали и как восприняли огрех в работе двигателей. Чувство вины и то, какое место она занимала в его душе, определяло отношение Соколова ко всем тем, кто появлялся у доски с развешанными общими видами двигателей С-224. И чем яснее становилось, что никто из выступающих не чувствует за собою вины, тем более суровел Старик, тем неприязненнее глядел на выходявших к доске инженеров.

Особенно неприятны ему были те, кто выступал по обязанности, согласившись «принять участие». Люди эти говорили небрежно, коротко, ни на чем высказанном до них не останавливаясь, сводя свои размышления к простой формуле: я, мол, не вижу причин, из-за которых меня потревожили, но если вам интересно знать мое мнение, то вот в каком направлении только и можно рассуждать, хотя, как вы сами видите, и в этом случае выводы не изменятся. Таких ораторов Старик не только не слушал, но и не смотрел на них. А если поворачивал к ним свои льдистые колючие глаза, то очень хмурился, невольно подтверждая самые нелестные рассказы о нетерпимости своей натуры и грубости своего поведения. Но Соколов, всегда с отвращением относившийся ко всяческой суете, теперь, после пережитого во время посадки С-404, едва сдерживал гневливое возбуждение. Директор завода уже выискивал минуту поудобнее, чтобы завершить разговор, понимая, что для проделанного Соколовым пути, который чуть не закончился аварией, совещание выглядит той самой игрой, которая не стоит

свеч. И когда к доске вышел молодой инженер из отдела топливных систем, директор решил, что это выступление будет последним.

Инженер глядел себе под ноги, нервно потирая длинные вялые пальцы рук, переступал с ноги на ногу.

– Николай Сергеевич – обратился он к Соколову, глядя, однако, себе под ноги. – Прошу вас, взгляните на эти фотографии.

«Да он с ума сошел! – подумал директор. – С Соколовым, как с приятелем!...»

Главный, лицо которого стало строго и спокойно, поднялся и подошел к столу, на котором молодой человек разложил свои снимки. В кабинете насторожились. Привычное течение совещания было нарушено.

– Вот, посмотрите. Это снимок прогоревшей форсажной камеры двигателя, который стоял на самолете. Видите отломанную в зоне пайки трубку, подающую топливо в форсажную камеру? Она оторвалась в воздухе, во время работы, это установлено экспертизой. После разрыва трубки горящая струя прожгла не только саму камеру, но часть перегородки между двигателями. Пайка не выдержала вибрационных нагрузок. Сначала разрыв, потом действие реактивной струи и температуры – трубка искривилась и образовала своеобразный огнемет с высоким давлением пламени... Здесь говорили, что неисправность в форсажной камере не могла послужить причиной взрыва. Тем не менее, связь можно проследить. И я попробую это сделать.

Соколов посмотрел, как от напряжения покрылась капельками пота верхняя губа молодого человека, как он то и дело приглаживает реденькие светлые волосы на макушке, и сказал по-отечески ласково, поощрительно:

– Ну-ка, ну-ка!.. Только не торопись, сынок.

Главный вернулся на свое место и приготовился слушать.

Воодушевленный вниманием Соколова, инженер продолжал уже более спокойно, обстоятельно.

– После обнаружения неисправности все мы рассуждали примерно так. Летчику достаточно было остановить двигатель, включить противопожарную систему (а в этой зоне пламегасящее устройство очень эффективно), чтобы затем без труда добраться до аэродрома на одном двигателе. Коль скоро он этого не сделал, значит, был занят чем-то другим, какой-то другой, не связанной с двигателями, но очень важной неисправностью: отказом управления или тому подобным. Так ли это? С самого начала меня не оставляла мысль, что неисправность в форсажной камере и то, что помешало летчику даже включить противопожарную систему, произошло одновременно, то есть очень быстро одно за другим.

– Верно, юноша, – невольно вырвалось у Журавлева.

Недолгое оживление в комнате подтвердило, с каким вниманием все слушали.

Парень передохнул, взял указку и, подойдя к плакатам, некоторое время смотрел себе под ноги.

– Бесспорно установлено, что камера и перегородка между двигателями прогорели в воздухе, во время полета. Как же мог летчик не заметить красное табло, указывающее на опасное повышение температуры выхлопных газов? Что помешало ему действовать затем, как положено? Вот тут и напрашивается подозрение, что огненная струя, пробив форсажную камеру, вывела из строя или гидравлическую магистраль, или исполнительный агрегат поворотного устройства стабилизатора, а значит, одну из главных систем жизнеобеспечения полета, которая первой, в случае неисправности, завладевает вниманием летчика. Как разворачивались события дальше, мне трудно представить. Скорее всего, он успел остановить неисправный двигатель, включил форсаж второго, пытался разобраться в отказе управления... – Парень замолчал с видом человека, извиняющегося за некомпетентность.

– Понял? – Главный повернулся к Долотову; Старику нужно было знать, верит ли летчик, что причина катастрофы найдена.

– Да, Николай Сергеевич.

– А ты освети, как представляешь. Пусть здешние умельцы послушают, им не вредно.

Долотов подошел к столу.

– Молодой человек подтвердил наши предположения. Мы гршили на слабое место в

гидравлической арматуре, установленной в зоне гидроприводов стабилизатора, но не могли понять, что разрушилось? И как это случилось?..

Долотов говорил о развитии событий в воздухе, как разбирал чертеж, где разного рода линии условной связью друг с другом дают доказательное изображение предложенной идеи. На большее этот технический язык не способен, на нем не объяснишь, что происходит с человеком, когда до предела усложненная реализованными идеями машина выходит из-под контроля.

– У Лютрова была одна возможность удержаться на лету – увеличить скорость. Ему нужно было выиграть время, чтобы разобраться в происходящем. Но скорость, которая могла бы удержать самолет в полете в сложившихся обстоятельствах, была больше той, которую могли выдержать крылья. Вот и все.

...На состоявшемся после совещания разговоре главный конструктор завода сообщил Соколову, что слабое место у двигателя доработали, проверили на всевозможных режимах в продолжение всего энергетического ресурса. Топливная система работает безотказно, но, как известно, стендовые испытания двигателей, даже с имитацией скоростного потока, далеко не равнозначны испытаниям в полетных условиях. И потому было решено до разумного предела укоротить рабочий ресурс двигателей. На этой позиции очень настаивал Самсонов. Решили также послать на время испытаний дублера одного или двух представителей завода для постоянного наблюдения за двигателями совместно с работниками отдела, которым руководит Самсонов. Была вчерне определена и дополнительная программа стендовых испытаний двигателей, о ходе которых завод будет регулярно осведомлять отдел силовых установок КБ. На том разошлись.

На С-404 решено было заменить двигатели, проверить шасси – словом, привести машину в порядок после трудной посадки. За Главным и всеми остальными прислали новенький С-414. В экипаже – Гай-Самари, Чернорай и двое молодых ребят.

Отыскав глазами Долотова, Гай взял его под руку.

– Ну, рассказывай.

Они долго прогуливались вдоль кромки рулежной полосы под нестерпимо палящим солнцем, говорили о Лютрове и о том, что на его месте никто бы ничего не понял.

– Хоть какая-то ясность, а, Боря?.. Хоть что-то кончилось.

Он помолчал и раздумчиво произнес, окидывая взглядом полыхающую невидимым огнем степь:

– Что-то кончилось, что-то началось. Что-то ждет своего начала или завершения... Из этого и состоит жизнь людей. Да и вообще жизнь.

За разговором не заметили, как добрались до места, где рулежная полоса сворачивала к старту. А слева на пустыре, как это нередко бывает на заводских аэродромах, стояли старые самолеты. И отдельно от других, задорно вскинув нос, стоял истребитель военных лет. Не сговариваясь, Гай и Долотов подошли к самолету. С облупившейся краской, с потемневшими стеклами кабины, с колесами, заросшими травой, он, казалось, глядел в небо с неослабной надеждой.

– Як-третий, – сказал Гай, поглаживая рукой по крылу, горячему от полуденного солнца.

– Як-третий, – кивнул Долотов.

Гай щурил свои коричневые глаза, на лице у него было такое выражение, с каким он при встрече глядел на Долотова.

– Хороший был самолет. Грустно, когда у хорошего самолета колеса зарастают травой. А, Боря?

...Он вспомнил эти слова ночью накануне отлета, вспомнил заросшие травой колеса.

«Да, Гай, грустно, когда так случается, и все-таки старая машина – ненужный хлам, от которого надо избавиться. Так уж заведено: самолетам, которым нет места в небе, нет его и на земле».

В комнате было нестерпимо душно. Знойный день будто и не кончался, его одуряющая теплота лишь потемнела и стихла, только и всего.

Витюлька спал, а Долотов, пролежав без сна до полуночи, встал, включил настольную лампу и открыл дверь, выходящую прямо во двор.

Вытянутый прямоугольник света легко продавил мягкую темноту жаркой ночи, обнажил кремнистую землю, четко высветив камешки у порога и совсем слабо – искривленное дерево, желтое от света и пыли.

Неистребимо пахло полынью, солончаками, пустыней. За три дня запах этот осел во рту, как горькая пыль. Вот и теперь запах пустыни вплывал в комнату, откуда медленно истекал, огибая притолоку, табачный дым. Опираясь на косяк, Долотов взглянул на усыпанное звездами небо.

Ночь казалась наряднее дня – так пусто глазам на рассвете в этом краю. От вида выжженной солнцем, нищей жизнью земли сжимается сердце, становится так же пусто и одиноко на душе. И никак не назовешь эту землю «матушкой», как ту, что кормит человека.

Но отчего степь так трогает душу, вызывает желание уподобить царство степного безлюдья затаенному в тебе?

Любую неисправность в машине рано или поздно найдут, загадка перестанет быть загадкой, и пытливая страсть человека будет утлена, чего бы это ни стоило. И только твои собственные надежды так и остались никак не воплощенные, ничем не утоленные.

А может быть, неутоленность это и есть неизбывная энергия жизни, ее вдохновение?

Вспомни старый самолет. И теперь, всеми забытый, он неотрывно смотрит в тускло сияющее, царственно великолепное ночное небо, готовый в любую минуту покинуть земную твердь ради вот этой неохватной, неизбывно манящей небесной пустыни...

Твоя надежды могут быть столь же тщетны, но, пока ты жив – и ночное небо, и утренняя степь, и любимая женщина неизменно будут заставлять тебя тосковать, восхищаться.

– Мы восхищены вами, Борис Михайлович, – с какой-то не по возрасту застенчивой улыбкой сказал Журавлев, когда Долотов с Гаем пришли обедать в заводскую столовую и оказались за одним столом с гидравликом.

Сначала говорили о бустерах, насосах, о том, что «гидравлика – это жизнь летчика», о молодых девушках, у которых вдруг обнаруживается болезнь вестибулярного аппарата, и наконец о посадке и о том, какое впечатление она произвела на пассажиров. «Вы проявили редкое сочетание способностей: совершенное владение техникой и самим собой».

– Слышь, Гай? – говорил Долотов. – Сподобился, а?

Гай хлопал Долотова по плечу и молчал.

И все-таки похвала Журавлева была приятна, как напоминание о хорошо сделанной работе – первой хорошо сделанной работе после возвращения из Лубаносова.

## 22

Самолет, на котором летают, непохож на те, что стоят на «приколе». Самолет, на котором летают изо дня в день, вызывает уважение, как и всякий, кто умеет работать. Именно таким предстал перед глазами Долотова дублер, подготовленный к первому вылету после установки опытных двигателей. К этому времени Долотов «подтвердил класс» – разделался с внеочередной проверкой его профессиональной состоятельности. Первым инспектировал Гай-Самари.

– Ох и покуражусь я над тобой, боярин! – говорил он, делая зверское лицо.

– Чем не потрафил, ваше степенство?

– А кто меня надесь уделал, а?

– Выходит, за непочтение к начальству?

– А как же! Блюсти амбицию для начальства – первое дело!

– Авторитет, Гай.

– Это уж кто как понимает, в размер души.

Но если к полетам с Гаем Долотов относился как к необходимой формальности, то рядом с Боровским держал ухо востро. «Корифей» проверял Долотова «с методическим уклоном» и, сидя в правом кресле С-14, ни единым жестом не обнаруживал, какое впечатление производит на него работа Долотова, – до тех пор, пока эти полеты не были закончены и Боровский не сделал соответствующую запись в летной книжке проверяемого. Оценки были такими, что лучшего и не желать.

– А он не вредный мужик, Боря? – заметил Гай-Самари.

«Чего кое о ком не скажешь», – подумал Долотов, вспоминая свое недавнее отношение к Боровскому.

– И это все? – Долотов прочитал задание в полетном листе и посмотрел на Ивочку.

– Борис Михайлович, ради бога! – взмолился Белкин, приложив руку к сердцу. – На более того, что обозначено! Взлет, набор высоты, опробование работы двигателей и управления. И все! Ограничения по скорости, по двигателям остаются прежними. Торопиться здесь, как правильно сказал товарищ Разумихин, все равно что подталкивать маятник часов: занятие доступное, результаты сомнительны!

На обратном пути из Средней Азии Белкин заикнулся было Руканову, что они с ним ошиблись в предположениях о причине катастрофы; Володя с недоумением поглядел на Ивочку.

– Это вы ошиблись, – сказал Руканов, делая ударение на «вы».

Уловив это ударение, Белкин понял, что среди проигравших не бывает согласия, и теперь занимался дублером с таким рвением, что удивлял не только Долотова, но и Пал Петровича.

– Лиха беда начало! – то и дело повторял Ивочка, провожая Долотова на самолет. – Лиха беда начало...

Лиха беда... Два года испытаний, несколько сотен полетов, бесконечные претензии к конструкторам, длинные перечни доработок, стремление сделать все, что «просит» самолет, и вот не только у Белкина, но едва ли не у всех на базе такое впечатление, будто все нужно начинать заново.

Небо было нарядным. Солнце укрывалось за ярко-белыми кучевыми облаками, и из-за этих раскинувшихся по всему небу светящихся облаков пространство над землей казалось осязательно прозрачным, приветливым.

Обрядившись у стремянки в защитный шлем, Долотов забрался в кабину и пристегнулся. Отрегулировал натяжение ремней, шевельнул плечами, подвигал руками. Педали подогнаны как раз впору. «Это Пал Петрович. Запомнил, как мне надо...»

Теперь опустить крышку кабины, иначе едва начнешь предполетные включения, как на табло загорится сигнал: «Не готов к взлету!»

Так. Здесь все. Займемся автоматами защиты сети (АЗС), подключающими самолетные системы к источникам тока. Их тумблеры на одном щитке и связаны планками, так что можно включать целыми пакетами.

Теперь все остальное.

Белкин как-то сказал: «Зачем вы включаете даже то, что вам не нужно в этом полете?» Логично... Но если бы он со своей логикой посидел на моем месте, он бы помалкивал. Он бы понял, что, если я включаю все, мне ничего не стоит заметить, когда что-нибудь отключится. Я сразу увижу, если вырубит какой-нибудь АЗС, потому что все рычажки тумблеров наклонены в одну сторону. А когда один вниз, другой вверх – поди разберись, что отключилось.

Все, кажется... Теперь запустим двигатели, проверим работу всего того, что можно проверить. Пал Петрович, Наверное, занимался самолетом... Ну, да береженого бог бережет.

Сначала включим подкачивающие топливные насосы, иначе с тобой случится то же, что с тем парнем, который бросил С-04, решив, что двигатели заглохли сами, а у него просто не были включены насосы, которые перекачивают – топливо из крыльев баков. С тех пор и установили сигнал: «Включи насосы!»

Долотов протянул было руку, чтобы включить ВСУ, но вспомнил, что не запросил разрешения на запуск двигателей.

– Вас понял, запуск разрешаю! – тут же отозвались с КДП.

Засвистела ВСУ, затем дохнул дымом и заревел левый двигатель. Вместе с ним встрепенулось и сосредоточенно зачестило сердце.

Так. Ладно. Начнем с гидравлики. Управление на первой системе... После смещения ручки давление падает – жидкость перемещается из емкости, где расположены датчики приборов, в исполнительные агрегаты. Затем давление резво восстанавливается. Значит, в порядке. Теперь – вторую. Работает.

На табло предупреждений горит лампочка – недостаточное давление в

гидроаккумуляторах, которые обеспечивают аварийное торможение: нужно довести давление до двухсот атмосфер.

Так. Здесь все... Еще раз проверим бустера – гидроусилители.

На дублере они необратимые. Если обратимые снимают часть усилий на ручке управления, то необратимые – все усилия. Однако человеку свойственно воспринимать эволюции самолета как следствие приложения собственных сил, необходима связь между напряжением мышц и поведением машины. Человек должен не только управлять ею, но и ощущать управление. Иначе оборвется весьма действенное убеждение в его власти над машиной. А чувство власти – состояние повелительное, невозможное без уверенности, что машина подчинена не твоей должности, а твоему умению. Вот почему конструкторы в любом случае заставляют ручку перемещаться с определенным усилием.

Табло предупреждений... Здесь все в порядке. Кроме сигнала: «К взлету не готов». Он загорается, если не закрыта кабина, если выпуск закрылков не доведен до установленных для взлета 30 градусов, если поворот переднего колеса не ограничен предвзлетным диапазоном перемещения: на рулежке его включаешь на разворот до 60 градусов, а на разбеге перед взлетом – до 8... И, если вздумаешь стартовать, не сделав все как надо, сигнал не погаснет, мало того; в кабине завоет сирена.

Аварийное табло. В средней его части, прямо на середине пульта – большое мигающее очко. Загораясь, он бьет в глаза надписью: «Смотри табло!» И горит, пока не отыщешь, где неполадка.

Ну вот, теперь можно трогаться.

Прежде чем запросить разрешение на выруливание. Долотов решил минуту повременить. Поднял голову и взглянул сначала прямо перед собой, на площадку, где стоял паренек-стартер с белым и красным флажками в опущенных руках, потом повернул голову в сторону раскрытых настежь огромных ворот ангара.

Внутри, занимая чуть не все помещение от стены до стены, стоял поднятый на гидроподъемники лайнер. Как всегда, когда опытный самолет из-за каких-то важных неполадок закатывался в ангар, инженеры КБ старались использовать это время, чтобы успеть что-то исправить, доработать, сменить аппаратуру, то есть сделать работы, на которые специального времени не дадут. И теперь у шасси, на крыльях, в кабине пилотов, в пассажирском салоне и у грузовых отсеков сновали люди в белых халатах рядом с озабоченными инженерами стояли, ничего понимая в этой суете, ясноглазые Аленушки в коротких платьях, вчерашние школьницы, провалившиеся в институты, чьи-то дочери, которых непременно нужно было «устроить». Их за чем-то посылают, они что-то носят из бригады в бригаду, что-то пишут, что-то считают, сидя на стульях с подушечками, и при этом у них такие лица, будто они отбывают бессрочное наказание.

Долотов перевел глаза в сторону места для курения. Там стоял, засунувши руки в карманы широких брюк, Ивочка Белкин, рядом – несколько мотористов.

Повернув голову, Долотов посмотрел через плечо на окончание крыльев, крепко прошитых ровными строчками заклепок. Чуть желтеют от лакового покрытия. Матово взблескивают. Ждут.

Приглушенный гул двигателей нагнетает нетерпение, всегда так. Завел мотор – трогайся, потому что ты уже в другом качестве, ты – в движении. Мысленно разбежался и взлетел. Разбежался и взлетел...

Человек – чудо перевоплощения. Его побуждения к действию – всегда от тайного приобщения к цели. Так и должно быть. А если ты не в состоянии перевоплотиться в победителя перед атакой, уступи свое место, ты ни черта не сделаешь.

Долотов вывел оба двигателя на максимальные обороты. Не сбавляя, подержал малость, громоподобным ревом подавляя нетерпение в себе, и сбросил обороты. Гул за спиной упрощенно стих.

Затем снова слегка прибавил оборотов, стронул машину и опять прибрал газ. Дублер легко покатыл и встал, точно споткнулся – Долотов проверил тормоза – затем снова покатыл, развернулся и, дыша в сторону ангара закопченными дырами выхлопных отверстий, покинул стоянку.



А все те Аленушки в коротких платьицах, в глаженных мамами блузах, с очень одинаковыми прическами теперь сгрудились у выхода из ангара, настороженно переговаривались и, округлив глаза, глядели вслед дублеру.

Но Долотов уже не видел этого.

Не видел он и Пал Петровича, который пристально следил, как разбегается дублер, и напряженно вслушивался в срывающийся на оглушительный треск рев спаренных двигателей, будто силился услышать в нем подтверждение их исправной работы.

Он смотрел в сторону взлета и тогда, когда волнообразно затихающий звук самолета совсем пропал в небе и на востоке стало тихо и пусто.